

КАМЧАТСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

В основе представленной ниже книги лежат путевые заметки участника поисковой партии, организованной в 1865 г. американской компанией «Western Union Extension Company». Её целью было изучение маршрута предполагавшейся межконтинентальной телеграфной линии из США в Европу, часть которой намеревались проложить по территории Камчатки. Впоследствии автор опубликовал их как журнальные статьи, а затем в виде отдельной книги, быстро обретшей, несмотря на научную легковесность, большую популярность и многократно переиздававшейся. На русский язык эта книга была переведена и впервые выпущена в 1870-х гг. Публикуемый нами текст воспроизводится по изданию 1896 г. книгопродавца И. И. Иванова, хранящемуся в фондах Камчатского краевого объединённого музея. В ходе подготовки к печати опущены некоторые фрагменты с пространными описаниями личных переживаний и рассуждениями автора, не имеющие краеведческой ценности, а также отдельные описания природы. Здесь мы руководствовались авторским замечанием «мне приходится с грустью сознаться в своей неспособности изобразить, как бы следовало...» Изъятия помечены символами <...>

Джордж КЕННАН

КОЧЕВАЯ ЖИЗНЬ В СИБИРИ

Приключения среди коряков и других инородцев

Кеннан Джордж (George Kennan), американский журналист и путешественник. Родился 16 февраля 1845 г. в г. Норуолк, штат Огайо, США. В 1865—1867 гг. участвовал в экспедиции для выяснения вопроса о возможности проведения телеграфа в Европу через Аляску, Берингов пролив и Сибирь. В 1870 г. опубликовал о своём путешествии книгу «Кочевая жизнь в Сибири». Посетил Россию ещё несколько раз. В 1870—1871 гг. объехал Юго-Восточную Россию как корреспондент американского журнала «Century Magazine». В 1885—1886 гг. вместе с художником Джорджем Фростом побывал в Сибири, где обследовал каторжные тюрьмы и места ссылки революционеров, знакомился с экономикой и жизнью населения, природой. По пути выполнил ряд конспиративных поручений политических преступников. Результатом этого путешествия

стала книга «Сибирь и ссылка», вышедшая в 1890 г., переведённая на многие европейские языки и многократно переизданная, но запрещённая в России. Здесь она впервые была напечатана в 1906 г. Опубликовал ряд статей, критиковавших правительство России и прославлявших революционеров. На волне распространившихся в США критического отношения к России в 1891 г. в Бостоне возникло «Общество друзей русской свободы», создававшее отрицательный облик нашей страны. Во время русско-японской войны был американским корреспондентом в японской армии, занимался противоправительственной агитацией среди русских пленных в Японии. Скончался 10 мая 1924 г. в г. Медине, Саудовская Аравия. Его именем назван институт центра Вудро Вильсона в Вашингтоне, США.

Предисловие переводчика

Сибирь всегда имела в жизни русского народа и государства одно из самых важных значений сравнительно с прочими областями нашей обширной территории. Ныне же, когда одно из величайших созданий нашего века, сооружение Великой Сибирской железной дороги, уже близится к окончанию, значение этой огромной страны получает даже первенствующее место.

Огромная полоса земли между Уральским хребтом и Тихим океаном, то есть то, что мы привыкли понимать под именем Сибири, представляет собою столь громадное пространство на земном шаре, что другие страны, как Европейская Россия, Китай, Бразилия, Северо-Американские Соединённые Штаты и т. п., могут каждая свободно поместиться в Сибири и ещё останется достаточно места для полудюжины других государств. Действительно, Сибирь занимает пространство никак не менее двухсот тысяч квадратных миль, следовательно, она почти в пять раз больше Пруссии и в двадцать два раза больше Франции. Но население здесь распространено столь ничтожно и так непропорционально пространству, что даже крохотная Бельгия, имеющая всего пятьсот пятьдесят квадратных миль территории, превосходит нашу Сибирь количеством своего населения. Поэтому-то Сибирь, столь славная своими колоссальными богатствами, страдает всё-таки серьёзным недугом — недостатком рабочих рук. На юге Сибири тысячи квадратных миль земли признаны способными к возделыванию хлебов, так как рожь, ячмень и картофель очень хорошо рождаются до шестидесятого градуса северной широты, не говоря уже о весьма вероятной возможности разводить эти злаки и несколько далее на север. Скотоводство во многих местностях обширной Сибири, само собою

разумеется, могло бы сделаться во сто раз более значительным, чем в переживаемое нами время, когда эта отрасль культурной деятельности находится в Сибири на столь низкой ступени своего развития, что нет другой страны в цивилизованном мире, которая не превосходила бы в значительной степени Сибирь в этом отношении; да и самый климат, о котором мы с детства слышим столько ужасов, стал бы много сноснее, если бы упорный и рациональный труд культурного земледельца обуздал бы эту дикую сибирскую природу.

Таким образом, понятно то значение, которое приобретает для нас Сибирь при настоящем положении дела, а, следовательно, и тот интерес, с которым встречает русское общество всё, что может служить к разъяснению этого вопроса, к созданию правильных взглядов и представлений об этой обширной стране, тем более, что мы так мало знаем и даже так мало имеем возможности знать что-либо обстоятельное и достоверное в столь важном для нас деле.

Не всякий знает даже и то, что есть Сибирь культурная, то есть мало-мальски благоустроенная по образцу цивилизованных стран, от которых позаимствованы здесь хоть внешние формы культуры, и есть Сибирь дикая, — обширное пространство земли, где уже нет и намёка на какую бы то ни было культуру, где только едва установлены, даже, вернее сказать, только намечены русским правительством кое-какие абрисы благоустройства, что единственно отличает эту область от первобытных стран, и где жизнь полна такой оригинальности быта, о которой не имеет ясного представления житель цивилизованных стран. Действительно, жители Сибири, как русские, так и инородцы, как ссыльнопоселенцы, так и свободные граждане, селятся преимущественно на юге и на западе этой обширной области и по ея рекам, вдоль главных путей сообщения и вблизи торговых и промышленных пунктов, находящихся на этих путях, ведущих из одного речного бассейна в другой. На севере же и востоке большинство населения размещено лишь ничтожными группами на устьях рек, а большая часть лесной области, не говоря уже о тундре и восточных горных краях, — всё это и представляет собою ту дикую Сибирь, о которой мы говорим.

Эта дикая Сибирь имеет в настоящее время ещё более важное значение, чем культурная часть «страны холода и ссылки», так как ей предстоит более деятельное будущее — ей нужно много более шагнуть по лестнице прогресса, когда открытие Великой Сибирской железной дороги приблизит её к культурному миру.

Но в наши дни пока что это всё ещё дикая страна, где возможна только та «кочевая жизнь», о которой так увлекательно и живо рассказывает автор предлагаемой нами в переводе книги. По этому сочинению, быть может, многие из наших читателей впервые ознакомятся в этом интересном и остроумном рассказе с оригинальностью, климатическими, этнографическими и национальными особенностями столь любопытных для нас стран, лежащих в обширном районе неудавшагося Российско-Американского телеграфа. Некультурность населения, занимающего эту значительную площадь Сибири, отсутствие дорог, неприступность местности и суровость климата, стремление, самое искреннее, к созданию телеграфа, составляющему одну из важнейших попыток нашего просвещённого века, истинное участие в судьбах своих товарищей, разбросанных по обширному пространству этой дикой и суровой страны и зачастую попадающих в самое критическое положение, — вот главнейшие основы рассказа почтенного автора, приправленные достойною внимания наблюдательностью чисто американского свойства, задушевым юмором и блестящим остроумием, так оживляющим этот рассказ и придающим ему полную увлекательность.

Для нас, русских, как мы уже выяснили, предлагаемая в переводе книга г. Кеннана представляет собою не только увлекательный рассказ, который с живейшим интересом прочтётся, что называется, «и старым, и малым» и обогатит читателя обстоятельными сведениями об этой любопытной в высшей степени стране, о нравах, обычаях и образе жизни её оригинальных обитателей. Для нас эта книга представляет и прямое утилитарное значение, так как страна, о которой идёт речь, давно уже вошла в состав нашего обширного отечества и потому, волею судеб, нам предстоит завидная роль культурного просветления этой страны, которое явится одной из важнейших отраслей русской деятельности в самом близком будущем.

Правда, у нас до сих пор ещё не искоренилось внушённое с детства представление о Сибири, как о стране, полной великих ужасов и едва ли способной к культурной жизни. Но ведь перед культурою всё уступает, не уступит только разве та суровость сибирского климата, которая выработала в нас представление об этой области, как о «стране холода». Между тем и здесь приходится вспомнить известное изречение, запечатлённое народною мудростью и гласящее, что «не так страшен чёрт, как его малюют», и согласиться, что сибирские холода вовсе уже не так ужасны, как мы

привыкли воображать. Свидетельством этому может служить и предлагаемая книга и многия другия. Так, Эрман говорит, что в остякском зимнем платье из двойной шкуры севернаго оленя можно спокойно спать ночью в открытых санях, когда мёрзнет ртуть, и в такой одежде можно даже без вреда для здоровья спать на снегу, в тонкой полотняной палатке при минус двадцати восьми градусах по Реомюру (один градус Реомюра равен 1,25 градусам Цельсия. — *Ред.*). Поистине замечательная акклиматизационная способность человека даёт ему возможность приспособливаться и даже при отсутствии культурных средств победоносно выходить из борьбы с сибирскими холодами. Необыкновенно быстро, в несколько дней, уже тело приспособляется развивать тем более теплоты, чем более усиливается холод. Человек вдыхает более кислорода, внутренний процесс горения идёт быстрее, усиливающийся аппетит доставляет больше материала и поддерживает внутреннее тепло. Справедливость этого подтверждается не только теоретическими соображениями, основными на новейших воззрениях науки, но и свидетельством многих лиц, испытавших это на деле, как, например, Миддендорфа. Поэтому-то не только коренные сибиряки, но и путешественники скоро привыкают переносить без вреда для здоровья сибирские холода.

Следовательно, возможность культурнаго просветления «дикой» Сибири несомненна, и предлагаемая книга, в увлекательном рассказе знакомящая нас с первым опытом культурной деятельности в этой стране, помимо своего непосредственного интереса, сослужит нам свою службу, когда паровоз Великой Сибирской дороги пронзительным свистом возвестит нам, что области, ещё так недавно редко посещаемыя диким тунгузом и коряком, где проезжал он на собаках в своих первобытных санях, соединены с умственными и промышленными центрами России и Европы и приблизились на ничтожное расстояние к культурной Сибири, где есть множество низших и средних учебных заведений, свой университет, технологический институт, где, словом, культура уже дала свой полный разцвет.

Предисловие автора

Попытка Российско-американскаго телеграфнаго общества соединить телеграфною проволокою Европу с Америкой через Аляску, Берингов пролив и Сибирь является во многих отношениях одним из самых грандиозных предприятий текущаго столетия. Смелость

мысли и грандиозность цели приковала к себе на долгое время внимание всего цивилизованного мира. Ещё никогда не было прежде, чтобы американские капиталисты принимали участие в таком выдающемся из ряда вон предприятии. Но, как и все неудавшиеся попытки в наш век прогресса, всё это также было скоро забыто, а блестящий успех атлантического кабеля совершенно даже изгладил его из памяти людей. Некоторые факты из истории этого предприятия, быть может, и известны читателям, но очень немногие даже из основателей этого предприятия знают, какую деятельность умов это возбудило в Британской Колумбии, Аляске и Сибири, сколько пришлось преодолеть препятствий исполнителям этого предприятия, сколько побороть трудностей, сколько перенести опасностей и, наконец, сколько драгоценных данных были внесены в науку. В течение каких-нибудь двух лет было исследовано более шести тысяч английских миль самой дикой пустыни, вдоль американского берега, начиная от острова Ванкувер до Берингова пролива, а в Азии от Берингова пролива до китайской границы. В самых диких горных ущельях Камчатки, в обширных тундрах Северо-Восточной Сибири и в дремучих еловых лесах Аляски и Британской Колумбией были видны следы лагерей исследователей. Эти неустрашимые люди переходили по самым ужасным крутизнам гор Северной Сибири верхом на оленях, вверялись волнам северных рек в лодках из тюленьей шкуры, спали под дымными пологами чукчей и располагались лагерем в сибирских пустынях при морозе от пятидесяти до шестидесяти градусов (по Цельсию. — *Ред.*). Словом сказать, эти люди не щадили ни своего здоровья, ни своей жизни для успеха цивилизации. Оторванные от цивилизованного мира, среди диких пустынь и невежественных племён, эти пионеры были преданы и душой и телом своему делу. И что же осталось от всех их трудов и перенесённых ими опасностей? На этот вопрос можно ответить лаконически: ничего! Да, действительно, ничего не осталось! Разве только несколько сотен телеграфных столбов, несколько домов, сооружённых ими в дикой пустыне — вот и всё. Это единственные воспоминания о трёхлетнем неусыпном труде исследователей, о всех перенесённых ими опасностях ради грандиозного предприятия, которое было прервано на половине дороги и не доведено до конца.

Я вовсе не имел в виду писать в настоящей книге полную историю Российско-американского телеграфного общества. Подобная книга не могла бы привлечь внимание публики, которая не

любит неудачников, а жаждет только знать о том, что имело громадный успех, что приобрело славу, о чём говорит целый мир, между тем как это общество только напрасно потратило деньги и не приобрело ничего существенного. Его соперник, атлантический кабель, и его собственные неудачи лишили это общество всякого интереса. Но все жё нельзя не согласиться с тем, что все исследования, сделанные агентами и служащими этого общества, уже сами по себе имеют большое значение, не говоря даже о грандиозной цели предприятия. Местность, на которой производились эти исследования, очень мало известна, а ея кочующее население почти не имеет сношения с цивилизованным миром. В эту дикую, отдалённую страну приезжали только ищущие приключений и наживы купцы и охотники за пушными зверями, но вряд ли кто-либо из просвещённых и образованных людей проникал туда. Кроме того, эта страна не представляет никаких особенностей, ради которых путешественник решился бы перенести все трудности и опасности неминуемых переходов через горы и громадные тундры, встречающиеся ему на пути. Здесь для глаз цивилизованная человека не представляется ни чудных ландшафтов Швейцарии, Италии, Испании и южной части Северной Америки, заливаемых яркими лучами полуденного солнца, ни шумящих водопадов, ни чудной теплоты ароматного воздуха. Тут всё мрачно, дико и пустынно, хотя, конечно, и здесь попадаются ландшафты, величественные и в своей пустынной дикости, но тут следует принять во внимание суровость климата и продолжительность зимы, во время которой вся местность покрывается снегом, как белою пеленою. Притом, вряд ли кому вздумается любоваться местностью и красивыми ландшафтами, когда температура упорно держится целые недели на пятьдесят градусов ниже нуля.

Двое из лиц, служивших в Российско-американском телеграфном обществе, а именно — мистер Уимпер и Доль, уже издали в свет свои записки о путешествиях, совершенных ими по Британской Колумбии и по Аляске. Я полагаю, что исследования упомянутого общества по ту сторону Берингова пролива могут иметь больший интерес для читателей, и в предлагаемой мною книге я изложил все те факты и приключения, которые достойны внимания и очевидцем которых мне довелось быть во время моего двухлетнего путешествия по Северо-Восточной Сибири. В своём рассказе я не имею ни малейшего притязания на научную точность или на глубину исследований какого-бы то ни было рода. Я хочу только дать ясное представление о жителях, их нравах и обычаях той

страны, которая, по моему мнению, очень мало известна, и я передаю здесь только мои собственные впечатления во время моего пребывания в Сибири и в Камчатке. Надеюсь, что моя книга заслужит одобрение читателей, скорее, благодаря новизне предмета, о котором в ней говорится, чем по каким-либо научным достоинствам и по своему изложению.

Глава 1

Российско-Американский телеграф. Бриг «Ольга» отправляется из Сан-Франциско в Камчатку и на Амур

Компания российско-американского телеграфа, или, как её обыкновенно называли, «Western Union Extension Company», была основана в Нью-Йорке в 1864 г. Мысль телеграфной линии из Америки в Европу через Берингов пролив явилась гораздо ранее и впервые была предложена Перри Коллинсом, эсквайром, ещё в 1857 г., после его путешествия по Северной Азии. Однако на неё обратили внимание после неудачи, постигшей первый атлантический кабель, когда явилась необходимость в сухопутной линии между обоими материками. План Коллинса, представленный «Западной Нью-Йоркской компании телеграфов» ещё в 1863 г., казался удобоисполнимее всех прочих составленных по этому случаю проектов. В нём предлагалось соединить телеграфные системы Америки и России линией, проходящей через Британскую Колумбию, российско-американские владения и Северо-Восточную Сибирь до соединения с русскими линиями у устьев Амура на азиатском берегу.

Таким образом получился бы один непрерывный проволочный пояс вокруг почти всего земного шара. Этот план имел много очевидных преимуществ: он не требовал длинных кабелей, в нём предлагалась линия, которая проходила бы везде сухим путём, кроме Берингова пролива, и которую легко было бы исправить в случае какого-либо повреждения от внешних причин. Также имелось в виду продолжить эту линию вдоль азиатского берега к Пекину и таким образом завязать выгодные сношения с Китаем.

Все эти соображения расположили в пользу этого плана капиталистов и опытных в этом деле людей, и он был окончательно принят «Западной компанией телеграфов» в 1863 г. Некоторые говорили, что второй атлантический кабель может удался и что эта удача будет иметь вредное и даже гибельное влияние на существование предполагаемой сухопутной линии, но событие

это казалось столь невероятным, что общество рискнуло приступить к делу.

С русским правительством был заключён контракт о проведении телеграфной линии через Сибирь к устьям Амура, предоставивший компании некоторые исключительные привилегии на русской территории. Подобные же гарантии были испрашены и у британского правительства. В 1864 г. Конгресс Северо-Американских Штатов также обещал своё содействие, и «Western Union Extension Company» была организована с номинальным капиталом в десять миллионов фунтов. Акции были скоро разобраны преимущественно акционерами главного общества, и немедленно был сделан дополнительный взнос по пять процентов с целью образовать фонд для успешного продолжения дела. Так велика была в то время вера в успех этого предприятия, что акции его продавались через два месяца по пятнадцать долларов за штуку, хотя первоначальный взнос на каждую составлял только пять долларов. В августе 1864 г. полковник С. Бёлькли, бывший начальник военных телеграфов в округе заливов, был назначен главным инженером предполагаемой линии и в декабре отправился из Нью-Йорка в Сан-Франциско, чтобы организовать несколько партий охотников для предстоящих изысканий и открытия работ.

Руководимый желанием принять участие в таком новом и важном предприятии, а также и по врождённой склонности к путешествиям и связанным с ними приключениям, страсть, которую до сих пор мне не удавалось удовлетворить, я предложил мои услуги компании вскоре после проектирования этой линии. Моё предложение было принято охотно, и 13 декабря я отправился главным инженером в Сан-Франциско, где должно было находиться управление общества. Немедленно после своего приезда полковник Бёлькли открыл контору в Монгомери-Стрит и занялся организацией партий исследователей для разведки пути местностей Британской Колумбии, Русской Америки и Сибири. Контора компании переполнилась искателями всевозможных должностей. Отважные землекопы, давно уже ждавшие пристроиться к какому-нибудь делу, разорённые искатели золота, надеявшиеся поправить своё состояние на новых золотых россыпях, которых они предполагали открыть на севере, люди, жаждавшие новых впечатлений, — все спешили предложить свои услуги как пионеры великого дела. Был большой спрос на опытных и искусных инженеров, но вместе с ними являлось неограниченное число людей, у которых недостаток опытности заменяется избытком рвения.

Георгъ Кеннанъ.

КОЧЕВАЯ ЖИЗНЬ ВЪ СИБИРИ

(TENTLIFE)

Приключенія среди коряковъ и другихъ инородцевъ.

Переводъ съ англійскаго.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе книгопродавца И. И. Иванова.

1896.

Титульный лист книги Дж. Кеннана

Несколько месяцев прошло в хлопотах по организации и снаряжению различных партий, пока, наконец, не было объявлено в июле 1865 г., что суда компании готовы к отплытию.

Первоначальный план действий был следующий: одна партия должна была высадиться в Британской Колумбии у устьев реки Фрэзера, другая — в российско-американских владениях у пролива Нортонова, и третья — на азиатском берегу Берингова пролива у устья Анадыри. Эти партии под начальством Попа, Кепникотта и Макри должны были углубиться внутрь материка, следуя, насколько возможно, течению рек, у устьев которых они были высажены, собрать сведения относительно климата, почвы, произведений и обитателей посещаемых ими стран, и в общих чертах наметить линию предполагаемого телеграфа.

Обе американские партии располагали сравнительно большими удобствами для своих операций, чем сибирская партия, посланная на азиатский берег. Последняя должна была высадиться возле Берингова пролива на границе бесплодной пустынной страны, на расстоянии почти тысячи вёрст от европейских поселений. Безопасность этой партии не была ничем обеспечена и предоставлена самой себе среди кочующих племён враждебных туземцев, без всяких средств к внутреннему сообщению, кроме лодок. Многие сторонники этого предприятия утверждали, что оставить людей в таком положении и при таких обстоятельствах было бы равносильно обрекать их почти на верную смерть, советовали не высаживать партии на азиатском берегу северной части Тихого океана, а послать её в один из русских портов Охотского моря, где она могла бы найти поддержку, собрать сведения о внутренности страны и достать лошадей или сани, запряжённые собаками, для сухопутных изысканий в каком угодно направлении. Хотя благоразумие этого совета было для всех очевидно, но, к сожалению, у главного инженера не было судна для доставления партии в Охотское море, и если в это лето партия и могла быть отправлена на азиатский берег, то только к Берингову проливу.

Наконец, в последних числах июня узнали, что небольшое русское купеческое судно «Ольга» готовилось к отплытию из Сан-Франциско в Камчатку, на юго-западный берег Охотского моря. Полковнику Бёлькли удалось уговорить владельцев судна взять четырёх человек из его команды и высадить их в Николаевске у устья реки Амура. Хотя на северном берегу моря находились более удобные пункты для начатия наших операций, но, во всяком случае, Николаевск был лучше, чем поселения у Берингова пролива.

В скором времени организовалась партия к отплытию на «Ольге» к устью Амура. Эта партия состояла из русского майора Абазы, который был назначен начальником работ, Джемса Мэгуда, инженера, пользующегося большой известностью в Калифорнии, Р. Дж. Бёша, только что возвратившагося после трёхлетних экскурсий в обеих Каролинах, и меня, небогатого опытностью, но полного надежды и доверия к собственным силам и энтузиазма.

28 июня нам объявили, что бриг «Ольга» окончательно нагружен и готов к *отплытию*. Как мы узнали впоследствии, это означало только, что бриг отправится в море в продолжении лета, но мы по неопытности вообразили, что он действительно готов сняться с якоря, и это повергло нас всех в большое волнение. Мы поспешно стали готовиться к отъезду. Верхнее платье, полотняные рубашки и щегольские сапоги были розданы и уничтожены. Одежда, толстая, тяжёлая обувь и фланелевые рубашки были закуплены в значительном числе. Карабины, револьверы и ножи огромных размеров придавали нашей комнате вид беспорядочного арсенала, склянки с мышьяком, кувшины с алкоголем, сетки для бабочек, сачки для ловли улиток, коробки с разными снадобьями и дюжина других учёных снарядов, о которых мы не имели ни малейшего понятия, были вручены нам нашими восторженными натуралистами и уложены в большие ящики. Путешествие Врангеля, ботаника Грея и несколько других научных сочинений увеличили нашу маленькую библиотеку, и к вечеру мы были совершенно вооружены и снаряжены, готовые на всякое предприятие, начиная с отыскивания нового вида клопов и до покорения Камчатки.

Не желая отстать от общего обычая осматривать корабль прежде отъезда, мы отправились с Бёшем на пристань, где судно стояло на якоре. Капитан, толстый американский немец, встретил нас и провёл по всему маленькому бригу. Наша ограниченная опытность в морском деле не позволяла нам судить о качествах какого бы то ни было судна, но Бёш с замечательным искусством вступил в учёные разсуждения с капитаном насчёт красоты каких-то «линей» на его корабле, парусах, конструкции судна, оспаривал сравнительные преимущества одиночных и двойных марселей, говорил о нокталях и риф-талях, одним словом, выказал такие познания, что окончательно поразил меня и даже изумил капитана.

Я сильно подозревал, что Бёш приобрел большую часть своих навигаторских познаний при помощи чтения книги Баудитча «Мореплаватель», которую я видел на его письменном столе, и внутренне решил достать полное собрание морских романов Марриэта

и при первой же возможности поразить его таким обилием морских терминов, что он в смущении должен будет замолчать. Я вспомнил, что читал где-то в романах Купера о каких-то юферсах и кранбалках и, не желая прослыть невеждой, начал осматривать снасти и сделал несколько замечаний насчёт юферсов и лиссель-спиртов. Но тут капитан в свою очередь озадачил меня каким-то вопросом, на который я не знал, что ответить, и был вынужден со стыдом ретироваться и сойти вниз для осмотра кладовой. Здесь я почувствовал себя свободнее. Большие груды разной провизии, запасы говядины, молока, пироги с фруктами и маленький бочоночек с заманчивой надписью вскоре успокоили мои нервы и окончательно убедили меня, что «Ольга» была вполне удобна и отлично приспособлена для далекого плавания.

Я снова поднялся на палубу и объявил Бёшу, что подробно осмотрел нижнюю часть корабля и нашёл судно вполне для нас удобным. Я умолчал о причинах, на которых было основано моё заключение, но он, по счастью, не стал меня расспрашивать, и мы вернулись в нашу контору с самым лестным отзывом на счёт устройства, прочности и удобства корабля.

Наконец, 1 июля последний груз был принят на борт судна, и «Ольга» вышла в открытое море.

Наши прощальные письма были поспешно написаны, последние сборы окончены, мы все собрались на пристань, где находился буксирный пароход, долженствовавший доставить нас на бриг.

Много друзей собралось провожать нас, пристань, пестревшая туалетами дам и синими мундирами мужчин, освещённая солнечными лучами тёплого калифорнского утра, имела праздничный вид.

Полковник Бёлькли снабдил нас последними инструкциями, с сердечным пожеланием нам успеха. Шутя, мы звали к себе в гости тех из наших товарищей, которые оставались на берегу. Просьбы о доставлении сведений о полярной природе и северных сияниях вместе с указаниями, как сберегать птиц и собирать насекомых, сыпались со всех сторон. И среди этого хаоса поздравлений, пожеланий, предостережений, шуток и трогательных прощаний раздался последний свист на пароходе. Долль, вечно верный своей любимой науке, пожал мне дружески руку, сказав: «Прощайте, Джорж! Да хранит вас Бог! Не забудьте обратить внимание на сухопутных улиток и на черепа диких животных!» Мисс Б. сказала умоляющим голосом: «Берегите моего милого брата!» И когда я обещал заботиться о нём, как о собственном брате, я вспомнил о далёкой сестре, которая, если б была здесь, также, вероятно,

повторила бы ту же просьбу обо мне. Махая платками, мы медленно оставили пристань и, описав полукруг, подошли к «Ольге», и были высажены на маленький бриг, который должен был в продолжение двух месяцев служить нам жилищем.

Бриг стоял на якоре у входа в Гольден Гейт, и пароход, обогнув его на возвратном пути, ещё раз прошёл мимо нас. Друзья наши стояли тесной группой на палубе с полковником Бёлькли во главе и простились с нами троекратным «Ура!» в честь «Первой сибирской партии исследователей». Мы отвечали им тем же. Это было наше последнее прощание цивилизации, и мы молча следили глазами за уменьшающимися очертаниями парохода, пока совершенно не исчез белый платок, привязанный Арнольдом к бакштагу, а мы одиноко понеслись по волнам Тихого океана.

Глава 2

Плавание по Тихому океану

На море, 700 миль на северо-запад от Сан-Франциско. Среда, 12 июля 1865 г. <...> С тех пор, как мы оставили порт Сан-Франциско, наша жизнь на море не имела и тени поэзии. В продолжение почти недели мы все испытали невыразимые страдания морской болезни, целые дни мы лежали на наших узких койках, слишком слабые, чтобы читать, и даже неспособные говорить. <...>

Наше плавание было до сих пор настолько однообразно, что не представляло ни одного замечательного события. Погода стояла холодная, туманная, сырая, с небольшим ветром и сильным морским волнением. Мы помещались в задней каюте, в которой могло поместиться от семи до десяти человек, и её спёртая атмосфера, пропитанная запахом вонючей воды, лампового масла и табачного дыма, имела скверное влияние на наше расположение духа.

Впрочем, сегодня, по счастью, все мы на ногах, хотя чувствуем некоторую слабость, так что даже воодушевляющие звуки марша из Фауста, наигрываемого капитаном на старом разстроенном аккордеоне, не в состоянии оживить унылые лица сидящих у стола в каюте. Впрочем, Мэгуд уверяет, что он совершенно здоров и играет с капитаном, сохраняя наружное спокойствие, близкое к героизму, но мы замечаем, что он по временам неожиданно и внезапно убегает на палубу и возвращается каждый раз с более истощённым и плачевным видом. Когда его спрашивают о причине этих периодических путешествий на палубу, он отвечает с напускною весёлостью, что ходит только «поглядеть на компас и спра-

виться, в каком он положении». Я недоумеваю, почему это «наблюдение за компасом» сопровождается таким болезненным и печальным изменением в его лице при возвращении, но Мэгуд исполняет возложенную на себя обязанность с непоколебимой твёрдостью и избавляет нас до некоторой степени от забот насчёт безопасности корабля. Капитан, кажется, пренебрегает этим и иногда в продолжение целого дня не справляется с компасом, но зато Мэгуд наблюдает за ним с неусыпною бдительностью.

Бриг «Ольга», 800 миль на северо-запад от Сан-Франциско. Воскресенье, 16 июля 1865 г. Скучное однообразие нашего плавания было нарушено в предпоследнюю ночь, и болезненное состояние наше усилилось вследствие сильного северо-западного ветра, заставившего нас в продолжение двадцати часов пролежать в дрейфе под грот-марселем.

Буря началась после полудня, а в девять часов вечера ветер усилился. Море сильно волновалось. Волны ударялись о борта корабля, подобно гигантскому молоту, ветер бушевал в снастях, а протяжное, меланхолическое завывание бури между блоками наполняло нашу душу каким-то зловещим предчувствием и не давало возможности сомкнуть глаза. Утро забрежжилось, наконец, как-то пасмурно и неохотно, и его первые сероватые лучи, борясь с темнотою нашей каюты, осветили комическую сцену смятения и беспорядка.

Бриг тяжело покачивался, и сундук Мэгуда, сорвавшись с того места, где был укреплён, катался взад и вперёд по полу каюты. Толстая пеньковая трубка Бёша в обществе огромной губки заняла временную квартиру в тулье моей лучшей шляпы, а ящик с сигарами майора переселялся периодически из угла в угол, таща за собой чью-то грязную рубашку. Книжки, бумаги, сигары, щётки, грязные воротнички, чулки, пустые бутылки, туфли, платья, старые сапоги — катались по полу во всех направлениях, и огромный ящик с телеграфными принадлежностями угрожал ежеминутно сорваться с крючков и раздавить нас всех при своём падении.

Майор, проявивший первые признаки жизни, приподнялся локтями на своей постели, пристально посмотрел на двигающиеся и катающиеся предметы и, покачав задумчиво головою, произнёс: «Удивительно, очень удивительно!» — точно разбросанные сигарные ящики и сапоги представляли какия-то особенности природы. В это время корабль покачнулся от внезапного толчка, что придало этому монологу ещё более глубокое впечатление и без всякого сомнения подкрепило в нём мнение об испорченности

материи вообще, а Тихаго океана в особенности, и майор снова опустил голову на подушку.

При таких необыкновенных обстоятельствах требовалась некоторая решимость, чтобы встать с постели. Однако Бём, покряхтев и зевнув несколько раз, приподнялся с постели и попробовал одеться. Улучив удобную минуту, когда корабль покачнулся под ветром, он поспешно схватил сапоги одной рукой, а другою панталоны и с удивительною ловкостью стал скакать по каюте, но постоянно спотыкался. Ему пришлось перепрыгивать через сундуки и катающиеся на полу бутылки. В то же время он делал всевозможные усилия, чтобы всунуть в сапог поочередно то одну ногу, то другую. Но во время таких усердных усилий почувствовал наклонение корабля в противную сторону и стремительно полетел на неповинный ни в чём умывальник, но при таком быстром падении он спотыкнулся о катившуюся по каюте бутылку и грохнулся на пол.

Майор разразился громким смехом и снова воскликнул: «Повторяю вам, что это удивительная качка!» — «Да, — ответил Бёш, вне себя от досады, — встаньте и убедитесь сами, какая качка!» Но для майора совершенно достаточно посмотреть на Бёша и от души посмеяться над ним. Однако этот последний, несмотря на все препятствия, окончил-таки свой туалет, и я порешил после некотораго колебания последовать его примеру. Споткнувшись раза два на сундук, упав на колена, и после некоторых других подобных подвигов, я успел надеть мою куртку наизнанку, правый сапог на левую ногу, а левый — на правую и поплёлся на палубу.

Шторм ещё не стихал, и на бриге не было поставлено никакого другого паруса, кроме грот-марселя. Огромные, синеватые массы воды набегали друг на друга, почти соединяясь с нависшими дождевыми тучами. Белые гребни пенящихся валов поднимались на десять фут выше квартердека и разсыпались облаком ослепительнейших брызг. Хотя всё это не совсем соответствовало моим понятиям о буре, но я всё-таки должен был сознаться, что во многом мои представления были сходны с действительностью. Классический вой ветра в снастях существовал на самом деле, волнение на море было ужасное, и корабль так подбрасывало и качало из стороны в сторону, что самый строгий критик должен был бы удовлетвориться.

Но величественное впечатление, о котором я мечтал, уступило почти совершенно место ощущению личных неприятностей. Человек, только что подброшенный или сбитый с ног внезапными колебаниями корабля или промоченный до костей облаком брызг, не

в состоянии созерцать величие природы. После таких разнообразных и утомительных испытаний все его романические мечты о красоте и величии океана значительно изменятся и вылетят из его головы. Дурная погода имеет мало общего с поэзией. «Влажное покрывало» и «безпредельное море» поэта лишаются всякой поэзии, когда мы находим «влажную простыню» на нашей собственной постели и «безпредельное море» на полу каюты, и на опыте испытываем не столько величие моря, сколько неприятности и неудобства морских путешествий.

Бриг «Ольга» на море. 27 июля 1865 г. Я часто недоумевал, живя в Сан-Франциско, откуда берётся холодный туман, который с приближением ночи собирается вокруг уединённой горы и Гольден Гейта. Теперь я открыл его лабораторию. В течение последних двух недель плавания мы находились всё время в густом, сыром облаке тумана, по временам достигавшего такой плотности, что брансеньга скрывалась из наших глаз, и такого пронизывающего свойства, что он проникал даже в нашу маленькую заднюю каюту и осаждался крупными каплями на нашей одежде. Он происходит, вероятно, от тёплого течения Великого океана, Гольфстрима, чрез который мы теперь проходим и испарения которого сгущаются в туманы холодными северо-восточными ветрами Сибири. Эта самая неприятная принадлежность нашего плавания.

Наша жизнь сложилась, наконец, в спокойное, однообразное препровождение времени, состоящее из еды, куренья, наблюдения за барометром и двенадцати часов сна в сутки. Буря, ниспосланная нам две недели тому назад, на время возбудила нас приятным образом и дала обильный материал для разговора, но все мы согласились, наконец, с майором, что эта была «странная вещь» и напряжённо ожидали какого-нибудь другого происшествия. Один холодный, дождливый, туманный день сменяется другим, с той только разницей, что сильный ветер иногда заменяется лёгким ветерком и снегом. Время тянется очень медленно.

Каждое утро нас будит в половине седьмого младший помощник капитана, забавный флегматический голландец, торопит нас вставать и посмотреть воображаемого кита, который ему аккуратно представляется перед завтраком и который, подобно таинственному призраку, также постоянно исчезает прежде, чем мы успеем добраться до палубы. Кит, впрочем, исчезает только на время и превращается вскоре в такого же таинственного морского змея, удивительную наружность которого он описывает ломаным английским языком, тщетно надеясь, что мы выйдем посмотреть

на него, несмотря на сырую, туманную погоду. Однако мы никогда не оправдываем его ожиданий. Бёш открывает глаза, зевает и бросает заспанный взгляд на чайный стол, находящийся в передней каюте капитана. С моей койки этот стол не виден, и потому я наблюдаю за движениями Бёша.

Мы слышим прихрамывающую походку баталера на палубе над нашими головами, и вслед за тем с полдюжины горячих картофелин скатываются, постукивая, по трапу в каюту. Это предвестники завтрака. Бёш наблюдает за столом, я же, в свою очередь, наблюдаю за Бёшем, пока баталер вносит кушанья, и, по выражению лица Бёша, решаю, стоит ли вставать или нет. Если он вздыхает и отворачивается лицом к стенке, это служит признаком, что завтрак состоит только из рубленого мяса. Я вторю его вздоху и следую его примеру, но если он улыбается и начинает вставать, я делаю то же самое в полной уверенности, что нас ожидают котлеты из свежей баранины и курица с рисом.

После завтрака майор выкуривает сигару и задумчиво смотрит на барометр. Капитан берёт свой аккордеон и играет русский национальный гимн, а Бёш и я поднимаемся на палубу, чтобы подышать свежим утренним туманом и подтрунить над младшим штурманом и над его морским змеем. Затем мы занимаемся чтением, потом играем в шашки, если же погода позволяет, то упражняемся в фехтованьи. Так проходит день за днём, и ещё много пройдёт таких дней, пока мы не увидим землю. <...>

Глава 3

Продолжение плавания. Петропавловск

Бриг «Ольга», на море, 200 миль от Камчатки. 17 августа 1865 г. Наше путешествие приближается к концу. После семи долгих недель плавания в холодную и дождливую погоду, наконец, мы увидим землю, и ея вид никогда ещё так не радовал утомлённых моряков, как обрадовал нас. Даже в ту минуту, как я пишу эти строки, слышны чистка и скобление на палубе, что служит предвестником нашего приближения к твёрдой земле. Корабль наряжают, приготовляя его явиться в общество. В эту ночь мы находимся в двухсот пятидесяти пяти милях от Петропавловского порта на берегу Камчатки. Если попутный ветер будет нам благоприятствовать, мы надеемся достигнуть его завтра в полдень. Сегодня утром наступил почти полный штиль, так что мы едва ли придём ранее субботы.

На море, близ берега Камчатки. Пятница, 18 августа 1865 г.
Всё утро дует попутный ветерок и бриг подаётся вперёд среди густого тумана, сквозь который даже брамсель можно различить с трудом. Если ветер не утихнет и туман рассеется, мы сможем увидеть землю сегодня вечером.

11 часов утра. Только что слез с салинга, где я в продолжение трёх часов находился в самом неловком положении, уцепившись за бакштаг, в надежде увидеть землю, раскачиваясь взад и вперёд и описывая полукруг при каждом покачивании корабля на волнах. На расстоянии нескольких сажен нельзя было различать предметы, хотя небо совершенно безоблачно. Чайки и морския ласточки стаями выются вокруг корабля, и море кишит медузами.

Полдень. Полчаса тому назад туман стал подниматься, и в одиннадцать часов сорок минут капитан, не спускавший подзорной трубы с горизонта, закричал весело: «Земля! Земля! Ура!», и крик этот повторился, как эхо, по всему кораблю: с носа на корму и от камбуза до брам-стенги. Бёш, Мэгуд и майор бросились на полубак; маленький, хромой баталер, как сумасшедший, выбежал из камбуза с руками, выпачканными в тесте, и вскарабкался на какой-то ящик. Матросы побежали к вантам, и только стоящий у штурвала боцман сохранил полное самообладание. Впереди нас обрисовывались на горизонте в бледном свете два высоких конуса на таком расстоянии, что виднелся только белый снег в их глубоких оврагах. Очертания их были так неясны, что их едва можно было отличить от голубого неба. Это были Велесинския (Вилючинская сопка. — *Ред.*) горы и Авача на камчатском берегу, на расстоянии более сотни миль от нас. Майор долго и пристально смотрел на них в зрительную трубу и, гордо протянув руку в их направлении, обратился к нам со словами: «Вы видите перед собою моё отечество — великую Российскую Империю!», и, когда корабль снова погрузился в туман, он разом прервал свою витиеватую речь и вскричал с недовольным видом: «Чёрт знает, что это такое — странная вещь! Туман, туман и только один туман!»

Через пять минут исчезли последние следы «обширной Российской Империи», и мы сошли обедать в таком весёлом, возбуждённом состоянии, которое может себе представить только тот, кому довелось провести сорок шесть дней на море.

4 часа пополудни. Мы опять были обрадованы зрелищем недалекой от нас земли. Полчаса тому назад я был на салинге и видел оттуда, что утренний туман стал проходить, поднимаясь, подобно огромной серой занавеси. Уже стало видно и море, и тёмно-голубое

небо. Синевая последняя окрашивалась розовыми лучами заходящего солнца, что представляло нашим взорам чудную картину. Береговая линия Камчатки на протяжении ста пятидесяти миль с севера на юг уже была у нас перед глазами. Крутые уступы, возвышавшиеся над синевой моря, казались окрашенными в яркий пурпуровый цвет. Там и сям виднелись облачки и клочья тумана, скрывавшиеся затем в блестящей белизне снега, покрывавшего вершины гор. Два действующих вулкана в десять и шестнадцать тысяч фут высоты поднимались над многочисленными зубчатыми рядами менее высоких гор, резко выделявшихся на лазурном небе своими остроконечными вершинами, покрытыми вечными снегами, тогда как их подошвы были окутаны вечернею тенью. Эта чудная картина так и возстала перед нашими глазами, а вследствие ясной и чистой атмосферы казалось, что до берега не более пятнадцати миль. Но не прошло и пяти минут, как снова опустился туманный занавес, и дивная картина, подобно миражу, снова скрылась от наших взоров. Со всех сторон мы были окружены густым влажным туманом.

Петропавловск, Камчатка. 19 августа 1865 г. Вчера при наступлении сумерек мы полагали, что находимся на расстоянии не более пятнадцати миль от Поворотного мыса, но по случаю густого окружающего нас тумана капитан не решался идти вперёд. Таким образом мы простояли всю ночь в ожидании восхода солнца, надеясь, что туман разойдётся, и тогда уже можно будет совершенно безопасно подойти к берегу. Я поднялся на палубу в пять часов утра, но погода стояла туманная и холодная: верхушки волн, подгоняемые юго-восточным ветром, неслись к нам навстречу. Около шести часов утра стало несколько светлее, погода прояснилась. Бриг был окончательно снаряжён и стал медленно подвигаться вперёд.

Капитан со зрительною трубою в руке озабоченно похаживал по квартердеку. Время от времени он посматривал то на горизонт, то в ту сторону, откуда дул ветер, ожидая улучшения погоды. Несколько раз он хотел было повернуть корабль назад, опасаясь при таком тумане выскочить на подветренный берег. Но вот стало ещё светлее, и уже линия горизонта совершенно ясно очертилась перед нашими глазами, туман окончательно исчез. Но, к нашему великому изумлению, нигде не было видно ни одной пяди суши ни в каком направлении! Длинный ряд синеватых гор, казавшийся нам ещё накануне в таком близком расстоянии, теперь совершенно исчез. Не видно было ни их грандиозных, покрытых снегом

вершин, ни прибрежных уступов — словом, всё это исчезло неизвестно куда, точно было поглощено морской пучиной!

Ничто не указывало на близость суши, только множество самых разнообразных птиц вились и шумели около нашего судна, и некоторые из них подлетали даже очень близко к нему, но потом вдруг поднимали крик и шум и отлетали дальше. Относительно такого быстрого исчезновения берега были высказаны всевозможные предположения. Капитан находил, что сильное течение отнесло нас ночью к юго-востоку. Бёш же утверждал, что ночью мы пронеслись мимо берега, сами того не заметив, а помощник капитана, вероятно, в это время заснул, но последний оправдывался, говоря, что виденные нами накануне горы были не более, как мираж, а в действительности тут вовсе и не было никакой земли. Майор находил всё это «у-ди-ви-тельным» и не решался вставить ни одного слова.

Но вот с юго-востока подул благоприятный ветер, и мы летели с быстротою семи узлов. Пробыло восемь часов... девять... десять, но земли не было видно, хотя после разсвета мы прошли тридцать миль. В одиннадцать часов, впрочем, на горизонте стало делаться всё темнее, и вдруг высокий берег, оканчивающийся крутым утёсом, выступил перед нами из прозрачного тумана в четырёх милях от нас. Настало всеобщее волнение. Брамсели были взяты на штовы, чтобы замедлить ход корабля, и он был направлен так, чтобы описать кривую линию на расстоянии почти трёх миль от берега. Вершины гор, по которым мы могли бы определить наше место, были скрыты от нас облаками и туманом, так что не по чему было определить, где именно мы находились.

Налево, в тумане, неясно виднелись два или три высоких, голубоватых мыса, но что это было и где мог находиться Петропавловский порт — этого никто не знал. Капитан принёс свои морские карты, компасы и разные инструменты на палубу, разложил их ближе к свету и начал измерять расстояние различных мысов, между тем как мы внимательно рассматривали берег в зрительные трубы и давали волю различным мнениям относительно нашего положения. Русская карта этого берега, которую капитан имел перед собою, вполне верная, отчего он скоро определил наше положение и название мысов, видимых нами. Мы находились на севере мыса Поворотного около девяти миль южнее входа в Авачинскую губу. Реи были поставлены поперёк корабля, и мы поворотили на другую сторону под сильным юго-восточным ветром.

Меньше чем через час мы увидели высокие уединённые утёсы, известные под именем «Трёх Братьев», миновали утёсистый остров,

над которым вились стаи крикливых чаек и диких уток, и около двух часов достигли берега Авачинской губы, на котором расположено селение Петропавловск. Вид, представившийся нам при входе в губу, превзошёл все наши ожидания. Зеленеющая долина, поросшая сочной травой, начинались у самого берега и терялись в отдалённых горах, на возвышенностях росли берёзы, группы тёмно-зелёных кустов, долины, усеянные цветами, виднелись на защищённых склонах холмов; и когда мы проходили мимо маяка, Бёш вскричал радостно: «Ура! Здесь есть клевер». — «Клевер? — заметил капитан недоверчиво. — В северных странах вовсе нет клевера!» — «Почему вы это знаете, если вы никогда здесь не были?» — возразил Бёш насмешливо. — «Это похоже на клевер», — и, глядя в зрительную трубу, крикнул: «Это, действительно, клевер!» И лицо его просияло, как будто открытие клевера облегчило его ум от большой части опасений насчёт суровости камчатского климата. Это был как бы растительный указатель температуры, и из маленького стебелька клевера воображение Бёша развило целую роскошную флору умеренных поясов.

С именем Камчатки у нас соединялось представление о чём-то пустынном и негостеприимном. Мы не подозревали даже, что страна эта может представлять разнообразие животных пород и роскошную растительность. Мы не ожидали встретить здесь ничего другого, кроме мхов, лишайев и скудной травы, которыми живые существа должны поддерживать неравную борьбу за существование в этом ледяном климате. Можно представить себе, с каким удивлением и восторгом мы глядели на зелёные холмы, покрытые деревьями и кустарниками, на долины, белеющая клевером и маленькими рощами берёз с серебристыми стволами. Даже на утёсы, украшенные шиповником и акациями, которые пустили корни в их трещинах, как будто природа старалась скрыть под цветочным покровом следы прошедших потрясений.

Ровно в три часа дня мы увидели селение Петропавловск. Небольшая группа бревенчатых домов с красными тесовыми или соломенными крышами, православная церковь странной архитектуры с зелёным куполом, узкая набережная, полуразрушенная верфь, два китоловные судна и обнажённый остов до половины потопленного корабля — вот всё, что представлялось нашим глазам.

Высокие холмы окружали зелёным полукругом это небольшое селение и почти скрывали маленькую бухту, образованную Авачинской губой, на которой оно расположено. Мы тихо вошли под сень окружающих холмов в защищённую почти со всех сторон

бухту и в нескольких саженьях от ближайшего дома паруса были взяты на штовы, корабль содрогнулся, цепь загремела, и якорь вонзился в почву Азии.

Глава 4

Петропавловск

<...> Прибытие корабля в этой отдалённой и малопосещаемой местности составляет большое событие, имеющее важное значение для жителей этого края. Бряцанье нашей якорной цепи в клюзах привело всё население деревни в сильное волнение. Дети выбежали из домов, пристально смотрели на нас несколько минут и затем убегали обратно домой, чтобы привести сюда и остальных членов семьи. Черноволосые туземцы и русские крестьяне в синих рубашках и кожаных панталонах собрались на берегу; кроме того, тут скопилось до полусотни собак, которых страшным воем приветствовали наш приезд.

Хотя было уже довольно поздно, но мы никак не могли побороть нашего нетерпения — вступить скорее на твёрдую землю. Лишь только шлюбка капитана была спущена на воду, как Бёш, Мэгуд и я отправились осматривать город.

Петропавловск распланирован очень неправильно, и, кроме того, самый его вид вовсе не отличается живописностью. Как первые поселенцы, так и их потомки, вероятно, не имели ни малейшего понятия об училищах. Узкие тропинки вились совершенно без всякой цели около разбросанных домов. Ни в одном направлении нельзя было пройти и ста шагов, чтобы не наткнуться на боковую стену какого-либо дома или не зайти на чёрный двор. Ночью же безпрестанно натыкаешься на какую-нибудь спящую корову.

В других отношениях это хорошенькое селение, окружённое высокими зелёными холмами и представляющее живописный вид на прекрасную, снеговую вершину Авачи, которая поднимается на одиннадцать тысяч фут за городом.

Г. Флюгер, немецкий купец в Петропавловске, который перевёз нас в маленькой лодочке на ту сторону бухты, взялся быть нашим проводником и после небольшой прогулки по селению пригласил нас к себе в дом, где мы просидели довольно долго, курая прекрасные сигары и разговаривая о последних событиях американской войны и о разных происшествиях, интересующих камчатское общество, пока, наконец, не смерклось совершенно. Я заметил между другими книгами, лежащими на столе г. Флюгера,

«Мысли о жизни Бюгера» и «Семейство Шенберг-Котта» и удивился, что эти книги успели проникнуть на отдалённый берег Камчатки.

Наша первая обязанность, как вновь прибывших, была представиться русским властям, и вот, в сопровождении г. Флюгера и Бальмана мы явились к капитану Сутковому, начальнику порта. Его дом с прекрасной железной крышей скрывался почти совершенно за большой дубовой рощей, через которую протекал, образуя маленькие водопады, горный ручеек. Мы вошли в ворота, пошли по широкой, утрамбованной камнем дорожке под тенью сплетшихся ветвей и вошли в дом. Капитан Сутковой встретил нас очень радушно, и, несмотря на нашу неспособность говорить на каком бы то ни было языке, кроме отечественного, мы скоро почувствовали себя совершенно как дома. Беседа наша, впрочем, скоро прервалась, так как каждое слово должно было быть переведено на два языка, прежде чем быть понято тем, кому оно адресовалось. Разговор длился с полчаса и скоро утратил всю свою свежесть, прошедши через русский, немецкий и английский языки, прежде чем дойти до нас.

Я был удивлён, встретив следы изящного вкуса и культуры в этом отдалённом уголке мира, где я ожидал найти только предметы первой необходимости и самого необходимого комфорта. Хорошее фортепиано занимало один угол комнаты, а большой выбор нот русских, немецких и американских композиторов свидетельствовал о музыкальном вкусе их владельца. Несколько избранных картин и литографий украшали стены, на столе стоял прекрасный стереоскоп с большой коллекцией фотографических видов. Тут же находилась неоконченная партия в шахматы, за которой капитан Сутковой сидел с женою, когда мы вошли в его дом. Мы не заметили, как прошёл целый час, и при прощании нас пригласили обедать на следующий день.

Ещё не было решено, будем ли мы продолжать наше путешествие вверх по Амуру или останемся в Петропавловске и оттуда уже отправимся прямо на север, так что бриг по-прежнему служил нам жилищем. Мы каждый вечер возвращались в нашу маленькую каюту. Первая же ночь, проведённая в порте, поразила нас своей тишиной и спокойствием, до того мы привыкли к скрипу и качке корабля, к плеску воды и завыванию ветра. Было совершенно тихо, и поверхность маленькой бухты походила на тёмное зеркало, в котором мрачно отражались окружающие её высокие холмы. Редкие огоньки из селения бросали длинные дрожащая

полосы света на тёмную воду, а с правого берега раздавался по временам слабый одинокий звук колокольчика или протяжный, унылый вой собаки. Я напрасно старался уснуть. Новизна всего окружающего, мысль, что мы наконец в Азии, тысяча планов и предположений насчёт наших дальнейших предприятий долго не давали мне заснуть.

Петропавловск, хотя не очень обширное, но самое важное из поселений на Камчатском полуострове, имеет всего только несколько жителей, состоящих из туземцев, русских и немногих немецких и американских купцов, ведущих торговлю соболями. Петропавловск нельзя считать типическим представителем камчатских городов, так как он подвергся в значительной степени цивилизирующему влиянию сношений с иностранцами, и в образе жизни и понятиях его жителей проглядывают следы новейшей культуры. Поселение это существует с начала восемнадцатого столетия и имело достаточно времени, чтобы выработать собственную цивилизацию, но годы для сибирских городов не могут служить мерилем развития, и Петропавловск до сих пор ещё не может быть назван вполне цивилизованным городом. Почему он назван Петропавловском, то есть селением Св. Петра и Павла, я не мог узнать. Единственное заключение, к которому мы пришли, это то, что жители, не отличаясь апостольскими добродетелями и чувствуя необходимость в их святом заступничестве, назвали своё селение в честь св. Петра и Павла, не принимая во внимание их личных заслуг.

Я не могу утверждать, чтобы именно в этом и заключалась мысль первых основателей Петропавловска, но скажу, что почти все сибирские поселенцы отличаются верою только на словах, но не на деле.

Согласно словам туристов, Петропавловск не может похвастаться живописными видами. В городе воздвигнуты два памятника в честь знаменитых мореплавателей Беринга и Лаперуза; на холмах же остались следы воздвигнутых во время Крымской кампании укреплений для отражения нападения союзных эскадр: французской и английской. За исключением этого, в городе нет более никаких исторических достопримечательностей. Но так как мы провели два месяца в душной каюте, а, выйдя на палубу, видели только небо да воду, то всё же этот город представлял некоторый интерес. На следующий же день рано утром мы отправились на берег, чтобы побродить по лесистому полуострову, отделяющему гавань от Авачинской губы.

Небо было безоблачно, но густой туман окутывал вершины холмов и скрывал от взоров соседняя горы. Вся местность кругом зеленела, как изумруд, и блестела каплями росы; луч солнца, случайно пробившийся через сырое облако тумана, разсыпал потоки света по влажным склонам. Земля всюду была усеяна цветами. В траве там и здесь синели болотные фиалки, красные колокольчики вились по серому мху утёсов, дикие розы цвели в чаще кустов и усыпали землю вокруг себя своими нежно-розовыми лепестками.

Карабкаясь по склону крутого холма между портом и бухтою, стяхивая капли росы с каждого куста по дороге и топча ногами сотни влажных цветов, мы внезапно очутились перед памятником Лаперуза. Надеюсь, что его соотечественники, французы, почтили бы его память более изящным и прочным знаком своего уважения к нему. Это просто деревянный столб, обшитый железом и выкрашенный в чёрную краску. На нём нет ни числа, ни надписи, и он скорее похож на надгробный памятник преступника, чем на монумент, воздвигнутый в честь великаго мореплавателя.

Бёш уселся на маленьком бугре и начал срисовывать вид окружающей местности, а я отправился с Мэгудом на верх холма к бывшим русским батареям. Оне довольно многочисленны, расположены вдоль горнаго хребта, отделяющаго внутреннюю часть залива от внешней, и защищают город с западной стороны. Теперь оне совсем поросли травой и цветами, и только следы бойниц отличают их от горнаго ската. Предоставляя Мэгуду осматривать укрепление, — занятие, более подходящее к его наклонностям, чем к моим, — я поднялся выше, на край утёса, с котораго шедшия на приступ войска союзников были поражены русскими стрелками. Теперь не осталось и следов той кровавой борьбы, которая происходила на краю этого обрыва. Мох покрывает зелёным ковром землю, изрытую в предсмертных судорогах умирающими, и колокольчики, наклоняясь от свежаго морского ветерка, не расскажут нам о последних, отчаянных усилиях, о рукопашном бое, о воплях побеждённых, когда они были сброшены русскими штыками с утёса вниз, с высоты ста футов.

Мне кажется, что со стороны союзников было напрасной жестокостью бомбардировать этот незначительный и уединённый пункт, удалённый на несколько тысяч вёрст от настоящаго центра борьбы. Если б взятие его могло уменьшить могущество русскаго правительства или отвлечь его внимание от Крыма, то поступок этот ещё мог бы найти оправдание, но он никаким образом

не мог иметь ни прямого, ни даже косвенного влияния на результат войны и принёс только горе нескольким безвредным поселенцам, которые, вероятно, получили первое известие о войне, услышав гром неприятельских пушек и встретив град пуль у своих дверей. Нападение союзного флота было, впрочем, отражено на всех пунктах, и адмирал, поражённый тем, что усилия его были уничтожены горстью казаков и крестьян, лишил себя жизни. В годовщину этой битвы жители со всем духовенством во главе при пении благодарственных молитв совершают крестный ход вокруг города и на холм, с которого был отражён неприятельский приступ.

Скоро я возвратился к Бёшу, который кончил свой рисунок, и мы вместе вернулись в селение усталые и промокшие. Наше появление на берегу всегда производило некоторое оживление между жителями. Русские крестьяне и туземцы, встречающиеся на дороге, снимали шляпы и держали их почтительно в руке, пока мы проходили мимо, в окнах домов появлялись любопытные, желающие взглянуть на «американских чиновников»; даже собаки начинали неистово лаять и выть при нашем приближении. Бёш заявил, что никогда ещё в продолжение своей жизни он не был таким важным лицом и не привлекал такого общего внимания, как в настоящее время, приписывая это остроумию и высокому интеллекту камчатского общества: оно способно быстро и совершенно инстинктивно признать настоящего гения. Он крайне сожалел, что такая характерная черта не встречалась ему у других народов, которых он посещал.

Глава 5

Русский язык. Отплытие партии на Амур

Один из главных предметов, на которые путешественник невольно обращает внимание в чужой земле, это — язык, на котором объясняются природные жители страны; последний особенно замечателен в Камчатке, Сибири и, вообще, повсеместно в великой Российской Империи. Решительно не понимаю, за какой проступок во время вавилонского столпотворения русские были наказаны таким сложным, спутанным, совершенно непонятным для иностранцев языком. Мне иногда приходило в голову, что они, вероятно, выстроили свою часть башни выше других племён и были наказаны за своё греховное трудолюбие массой непонятных звуков, которых никто не мог бы надеяться изучить, пока не состарел и не ослабнет настолько, что уже не будет в состоянии

приняться за сооружение новой башни. Как бы то ни было, но русский язык — настоящий камень преткновения для всех путешественников по Российской Империи.

За несколько недель до приезда в Камчатку я хотел выучить несколько обыкновенных выражений, необходимых для первоначального сношения с туземцами, и, между прочим, простейшую фразу: «Дайте мне есть». Я считал, что это будет первая насущная потребность, для удовлетворения которой мне придётся обратиться к жителям. Я решился заучить её настолько твёрдо, чтобы не подвергнуться опасности умереть с голода вследствие моего незнания. С этою целью я попросил майора сказать мне соответствующее выражение по-русски. Он, улыбаясь, ответил мне, что если я захочу спросить что-либо покушать и притом повкуснее, то должен начать так: «Ваше высокоблагородие, высокопревосходительство и т. д.».

Никогда в жизни я не испытывал такого почтительного удивления к талантам человека, какое почувствовал к майору, когда он бегло и легко произнёс эту бесконечную и странную фразу. Моё воображение напрасно старалось представить себе много лет терпеливых усилий, которые предшествовали его первой просьбе о еде, и изумился той неутомимой настойчивости, которая помогла ему усвоить подобную тарабарщину. Таким образом, если простая просьба о еде представляла такая непреодолимая трудности в выговоре, то что же должно было быть, когда речь заходила об отвлечённых вопросах теологических и метафизических наук? Я терялся в догадках!

Я откровенно попросил майора велеть напечатать это ужасное изречение на бумаге и повесить ко мне на шею, но выучить его я не имел гражданского мужества. Впоследствии я узнал, что он воспользовался моею неопытностью и сказал мне самые трудные и длинные слова своего варварского языка, уверяя, что они означали просьбу о еде. Напрасно он старался выбирать для этого особенно мудрёные слова, так как и настоящий перевод этой фразы был бы для меня достаточно затруднителен. Во всё время нашего пребывания в Петропавловске мы не выучились произносить ни одного слова по-русски кроме «да», «нет» и «как ваше здоровье?» Впрочем, мы были довольны и этим успехом в столь трудной науке.

Приём, сделанный нам в Петропавловске русскими и американцами, был самый радушный и искренний. Первые три-четыре дня после нашего приезда прошли в постоянных визитах и обедах. В четверг мы отправились верхом в маленькое селение по имени

Авача, отстоящее на десять или пятнадцать вёрст от берега, и возвратились довольные местоположением, климатом и растительностью этого полуострова. Дорога шла между зелёными холмами, поросшими деревьями и травой, над зеркальной поверхностью залива, открывая вид на крутые, остроконечные скалы, служащая как бы воротами для выхода в море. Нашему взору представлялся по временам между рощами серебристых берёз длинный ряд живописных гор, покрытых вечными снегами, которые тянулись по западному берегу до одинокой вершины Вилючинской на расстоянии тридцати или сорока миль. Растительность всюду можно было бы назвать почти тропической по ея роскоши. Мы срывали целые пучки цветов, едва наклоняясь с седла, и высокая трава, по которой мы ехали, доставала нам в иных местах до пояса. Обрадованные тем, что встретили климат Италии там, где ожидали найти суровое ненастье местности, мы огласили холмы американскими песнями, кричали, аукались и перегонялись на маленьких казацких лошадаках до тех пор, пока заходящее солнце не напомнило нам о возвращении домой.

Собрав нужные сведения в Петропавловске, майор Абаза составил следующий план действий на зиму. Мэгуд и Бёш должны были отправиться на бриге «Ольга» к устьям Амура на китайскую границу и, основав здесь свою главную квартиру, исследовать дикую, гористую местность, лежащую на западе от Охотского моря и на юг от русского порта Охотска. В то же время майор и я должны отправиться на север с партией туземцев вдоль Камчатского полуострова и пометить предполагаемую телеграфную линию до половины пути между Охотским и Беринговым проливом. Здесь снова один из нас должен был идти на запад, чтобы соединиться в Охотске с Бёшем и Мэгудом, а другой — на север к Анадырску, русскому промышленному поселению, находящемуся около четырёхсот миль на запад от пролива. Таким образом мы могли исследовать всю местность для предполагаемой линии, исключая пустынного пространства между Анадырским и Беринговым проливом, которое наш начальник предполагал оставить пока неизследованным. Принимая во внимание ограниченные средства, этот план был одним из лучших, который можно было придумать, но майору и мне пришлось таким образом путешествовать всю зиму одним, без других спутников, кроме извожиков-туземцев.

Так как я не говорил по-русски, и мне необходим был переводчик, то майор пригласил для этой цели молодого американского пушного торговца по имени Додд, который провёл семь лет в Петропавловске,

умел говорить по-русски и был знаком с обычаями и образом жизни туземцев. Таким образом, силы наши состояли из пяти человек и должны были разделиться на три партии. Первая, назначавшаяся на западный берег Охотского моря, вторая — на северный, и третья — для исследования местности между этим морем и полярным кругом. Забота о необходимых средствах продовольствия и перевозки предоставлялись на усмотрение самих партий. Мы должны были жить на открытом воздухе, путешествовать с туземцами и довольствоваться теми средствами перевозки и продовольствия, которые предоставляла нам страна. Русские власти в Петропавловске снабдили нас всевозможными справками и пособиями, но предупредили нас, что пять человек не будут в состоянии исследовать тысячу восемьсот миль бесплодного, почти необитаемого пространства между Амуром и Беринговым проливом. Все считали маловероятным, чтобы майор мог пройти Камчатский полуостров тем путём, каким он предполагал, но если бы даже это ему и удалось, то далее он, конечно, не мог бы проникнуть в обширные пустынные степи, обитаемые только кочующими племенами чукчей и коряков. Майор отвечал на это, что он покажет им, что мы можем сделать, и продолжал свои приготовления.

В субботу утром, 26 августа, бриг «Ольга» отправился с Мэгудом и Бёшем на Амур, оставив майора, Додда и меня в Петропавловске готовиться к путешествию на север Камчатки. Утро было ясное и солнечное. Я нанял лодку и туземную команду, чтобы проводить Бёша и Мэгуда на корабль.

С берега дул свежий, попутный ветерок, я налил себе стакан вина и выпил на прощанье за успех «Амурской партии исследователей», пожал руку капитану, похвалив при этом его голландскую историю, и простился с его помощниками и командой. Младший помощник был в страшном волнении при мысли об опасностях, которым я подвергнусь в этой варварской стране, и вскричал на своём ломаном языке: «О! Мистер Киней! (Он не мог никогда выговорить Кеннан.) Кто вам будет готовить кушанья? Где вы достанете картофель?» Как будто бы отсутствие повара и картофеля было верхом земных лишений. Я уверял его, полшутя, что мы будем сами готовить кушанья и питаться кореньями, но он печально покачал головой, точно предвидя, до какого жалкого положения доведут нас сибирские коренья и наше собственное поварское искусство.

Бёш рассказывал мне потом, что во время плавания он часто замечал, как младший помощник стоял в глубоком и печальном

раздумье, и когда он спрашивал его о предмете его размышлений, он отвечал, грустно качая головой: «Бедный мистер Киней! Бедный мистер Киней!» Несмотря на недоверие, с которым я относился к его морскому змею, я получил местечко в его чёрством сердце, рядом с Томми, его любимым котом, и его свиньями.

Когда «Ольга» поставила свой брамсель, повернула более на восток и медленно скользила между утёсами, я последний раз взглянул на Бёша, стоявшего на четвердеке возле штурвала и делавшего мне какие-то непонятные знаки рукой. Я махнул ему шляпой в ответ и, обернувшись лицом к берегу, приказал моей команде ехать назад. Когда «Ольга» исчезла из виду, мне казалось, что последняя нить, связывающая нас с образованным миром, порвалась в эту минуту.

Глава 6

Камчатская свадьба. Отъезд на север

После отхода «Ольги» мы занялись приготовлениями к путешествию на север Камчатки. Во вторник Додд сказал мне, что в церкви будет свадьба, и предложил пойти посмотреть на церемонию венчания. Обедня только что кончилась, когда мы пришли в церковь. Нетрудно было отличить между народом счастливую чету, судьба которой должна была соединиться священными узами брака. Их наружное равнодушие и спокойствие изобличали их тайну. Жених был молодой круглолицый казак лет двадцати, одетый в чёрный кафтан, который в талии был опоясан красным вышитым кушаком. Ради торжественного случая на нём был надет высокий белый стоячий воротник, который доходил у него до ушей. Вероятно по недоразумению, между его башмаками и нанковыми панталонами, последние по крайней мере на шесть дюймов не доходили до первых. Он не позаботился скрыть этого недостатка. Невеста была сравнительно с женихом совсем старуха, по крайней мере, на двадцать лет старше его, и к тому же вдова. <...>

На невесте было надето ситцевое платье с яркими узорами без всяких украшений. О покрое платья я не берусь судить, так как ремесло портнихи всегда было для меня такою же тёмной наукой, как и магия. Голова невесты была покрыта красным шёлковым платком, приколотым спереди маленькой вызолоченной булавкой.

По окончании обедни налой был выдвинут на середину и священник пригласил чету подойти поближе. Вручив жениху и невесте по зажжённой свече, обвязанной голубой лентой, он начал

читать внятным голосом молитвы по обряду православного вероисповедания. Брачная чета стояла молча, но дьячок, смотревший рассеянно в окно у противоположной стены, прерывал его по временам протяжным пением.

По окончании молитв все набожно перекрестились несколько раз, а священник, спросив чету о ее взаимном согласии на брак, дал им по серебряному кольцу, которых они тут же надели. Прерванная на минуту служба снова началась, после которой священник дал им выпить вина из ковшика. Чтение и пение начались снова и продолжались довольно долго; жених и невеста безпрестанно крестились и кланялись, а дьячок заканчивал возгласы, повторяя с поразительной быстротой пятнадцать раз кряду «Господи, помилуй!» После этого он принёс два вызолоченных венца, украшенных образами, и священник надел их на головы жениха и невесты.

Венец оказался слишком широким для молодого казака и падал ему на глаза, поддерживаемый только ушами. Прическа же невесты не позволяла венцу держаться плотно на ее голове, и потому один из присутствующих держал его над головою невесты. Священник соединил тогда руки четы, сам взял жениха и невесту за руки повёл их вокруг наложия, и затем обряд венчания был окончен. Жених и невеста почтительно поцеловали венцы, снятые с их головы, и пошли по церкви, крестясь, кланяясь до земли и прикладываясь последовательно ко всем образам, которыми украшены были стены церкви. После этого начались обычные поздравления родными и знакомыми.

Все ожидали, что «знаменитые американцы», об учтивости и изяществе манер которых было столько говорено, подойдут поздравить невесту по случаю этого счастливого события, но ни один из этих «знаменитых», но злополучных американцев не знал, как это исполнить. Мои познания в русском языке ограничивались словами «да», «нет» и «как ваше здоровье?», и ни одно из этих выражений не было вполне прилично данному случаю. Желая, впрочем, поддержать национальную славу американцев и в то же время оказать внимание невесте, я избрал последнюю фразу, как самую удобную при этих обстоятельствах, подошёл торжественно и, кажется, довольно неуклюже к новобрачной и спросил её с низким поклоном и очень дурным русским выговором о состоянии ее здоровья. Она любезно ответила: «Чрезвычайно хорошо, покорнейше благодарю», и знаменитый американец удалился с гордым сознанием, что исполнил свой долг. Я, признаюсь, не получил

больших сведений о здоровье молодой, но, судя по лёгкости, с которой она произнесла свой ответ, мы заключили, что оно должно быть удовлетворительно. Мы поспешили с Доддом удалиться из церкви и возвратились на наши квартиры. Майор говорил мне впоследствии, что обряд венчания в православной церкви, совершённый при богатой обстановке, очень торжественен.

С той самой минуты, как майор решился на сухопутное путешествие по Камчатке, он посвятил все своё время и всю энергию на приготовления к отъезду. Вьючные седла, обтянутые тюленьей шкурой, были заготовлены для перевозки съестных припасов; палатки, медвежьей шкуры и дорожное платье были упакованы в искусно придуманные тюки. Одним словом, всё, что только могла изобрести туземная опытность для уменьшения неудобств жизни в сибирском климате, было сделано в достаточном количестве для двухмесячного путешествия. Лошади были заготовлены в ближайших селениях. Нарочный был послан вперёд по пути нашего следования, чтобы предупредить жителей о нашем прибытии и предложить им оставаться дома со своими лошадьми до приезда нашей партии. Когда все эти распоряжения были окончены, мы отправились в путь 4 сентября.

Камчатка, с которой нам предстояло познакомиться — полуостров неправильных очертаний, лежащий на восток от Охотского моря, между 51° и 62° северной широты, и имеющий около семисот миль в длину. Он почти весь вулканического происхождения; ряд гор, проходящий вдоль его, заключает до сих пор ещё пять или шесть вулканов, находящихся в постоянной деятельности. Этот огромный горный хребет, не имеющий ещё никакого названия, тянется от 51° до 60° северной широты сплошной цепью и круто обрывается у Охотского моря, оставляя на севере высокую плоскую возвышенность, известную под именем Дола, или пустыни, обитаемой кочующими коряками.

Средняя и южная части полуострова перерезываются отрогами главной горной цепи, образуют глубокия долины дикаго и живописнаго характера и представляют такие виды, которых по величественной красоте нет во всей Северной Азии. Климат везде, исключая далекаго севера, сравнительно умеренный, растительность отличается почти тропическою свежестью и роскошью, которая совершенно противоречат общим понятиям о Камчатке.

Население Камчатки после тщательнаго изследования я могу определить в пять тысяч человек. Оно состоит из племён: русских, камчадалов, или туземцев, и кочующих коряков. Камчадалы —

самое многочисленное племя — живут в маленьких селеньях в бревенчатых избах по всему полуострову, преимущественно у устьев речек, вытекающих из центральной цепи гор и впадающих в Охотское море или Тихий океан. Главные занятия их состоят из рыбной ловли, пушного промысла и возделывания репы, капусты и картофеля, которые произрастают до 58° северной широты.

Главные поселения находятся в плодородной долине реки Камчатки, между Петропавловском и Ключевкой. Русских сравнительно немного, и они разсеяны между селениями камчадалов и занимаются преимущественно скупкою мехов у туземцев и северных племён. Кочующие коряки самые дикие, самые могущественные и самые независимые из инородцев, редко спускаются южнее 58° северной широты, разве только для вышеупомянутой торговли. Их любимым местопребыванием служат обширные пустынные степи на востоке от Пенжинского залива, где они постоянно перекочевывают со своими семьями с места на место, живя в просторных палатках из звериных кож. Всё их богатство состоит из многочисленных стад прирученных северных оленей.

Все жители Камчатки находятся под ведением исправника, назначаемого русским правительством, который решает все недоразумения, возникающие между отдельными личностями или целыми племенами, и собирает ежегодный «ассак», или дань мехами с каждого жителя мужского пола в подвластном ему округе. Исправник живёт в Петропавловске и вследствие обширности управляемой им страны и неудобства сообщения редко выезжает из города, в котором находится его канцелярия.

Единственными средствами к сообщению между разбросанными селениями Камчатки служат вьючные лошади, лодки и сани, запряжённые собаками. На всём полуострове вы ничего не найдёте похожего на дорогу. Поэтому, если я когда-нибудь впоследствии и употреблю слова «дорога», то оно должно быть понимаемо в смысле «пути», по которому мы должны ехать, пути, не обладающего никакими признаками, свойственными этому названию. Мы отправились путешествовать по этим диким, скудно населённым местностям, нанимая туземцев по пути, чтобы они перевозили нас на своих лошадях из одного селения в другое до тех пор, пока не достигнем территории, занятой кочующими коряками. Далее к северу нельзя было рассчитывать на правильный способ переездов, и мы вынуждены доверчиво положиться на удачу и на великодушие туземных кочевников.

Глава 7

Путешествие верхом по Камчатке. Горы. Растительность. Селения. Жители

Никогда ещё в продолжение всей моей жизни мне не приходилось совершать поездку, которая доставила бы столько удовольствия или о которой я сохранил бы более приятное воспоминание, чем о нашем путешествии верхом по цветущим холмам и зелёным долинам Южной Камчатки. Мы находились в самой дикой и в то же время самой живописной местности всей Северной Азии, испытывали в первый раз новизну и возбуждение кочевой жизни. Наслаждаясь неизвестным для нас ощущением свободы и совершенной независимости, мы без сожаления отвернулись от цивилизации и весело приветствовали дикую пустыню песнями и криками.

Наша партия, кроме извозчиков и проводников, состояла из четырёх человек: майора, главнокомандующего наших сил и начальника азиатской экспедиции, Додда — молодого американца, которого мы захватили с собой в Петропавловске, Вьюшина и меня. Язвительная насмешка, обращенная Митридатом к армии Лукулла, — что как послов их слишком много, как солдат слишком мало — могла бы также верно относиться и к нам. Но сила не всегда зависит от численности, и потому мы не сомневались, что будем в состоянии превозмогать все препятствия на нашем пути. Мы были уверены, что не пропадём и там, где более многочисленная партия могла бы погибнуть.

В воскресенье, 3 сентября, наши лошади были навьючены и высланы в маленькое селение на противоположный берег бухты, через которую мы намеривались переправиться на китоловном судне. В понедельник 4-го мы сделали прощальные визиты русским властям, выпили много шампанского за наше собственное здоровье и за успех нашего предприятия и, напутствуемые благими пожеланиями, отправились на двух китоловных лодках в Авачу в сопровождении всего американского населения Петропавловска. Бухту мы переехали при резком юго-восточном ветре, вошли в устье реки Авачи и высадились на берег, чтобы подкрепить свои силы и проститься с нашими американскими друзьями Пирсом, Гентеном и Фронфильдом. Здесь снова начались обильные возлияния в честь камчатских исследователей и после троекратного задушевного ура, мы, отвалив от берега, медленно поплыли вверх по реке с помощью багров и вёсел к камчатскому поселению Окуте.

Наша туземная команда, также принявшая участие в общей попойке, сопровождавшей наш отъезд, и не привыкшая к такому пьянству, представляла самое жалкое зрелище. С бессмысленным выражением удовольствия на лицах люди пели свои горловые камчатские песни и один за другим падали за борт, затрудняя успешное движение нашего тяжёлого китоловного судна. Вьюшин, впрочем, со свойственной ему энергией вытаскивал несчастных утопающих за волосы, колотил их по голове, чтобы привести в чувство, искусно направлял лодку между песчаными мелями, работал баграми и вёслами, прыгал в воду, кричал, ругался и не терял присутствия бодрости ни при какой случайности.

Мы оставили Петропавловск после полдня, и благодаря несостоятельности нашей команды и множеству песчаных мелей, ночь застигла нас посреди реки, несколько ниже Окуты. Избрав место, где берег был суше и удобнее для привала, мы пристали к нему и приготовились к первому биваку под открытым небом. Утоптав высокую сырую траву, Вьюшин раскинул нашу маленькую палатку из бумажной материи, устлал её тёплыми сухими медвежьими шкурами, импровизировал стол из пустого ящика от свеч и скатерть из чистого полотенца, развёл огонь и заварил чай. Чрез каких-нибудь двадцать минут перед нами стоял горячий ужин, который бы сделал честь любому повару.

После ужина мы расположились у огня, куря и разговаривая, пока последняя полоса света не исчезла на западе. Потом, завернувшись в толстые одеяла, мы улеглись на медвежьих шкурах, прислушиваясь к слабому кряканью утки в осоке и одинокому крику ночных птиц на реке, пока, наконец, не заснули богатырским сном.

Когда я проснулся, день только что занимался. Туман, окутававший серым покрывалом горы, исчез, и первый предмет, представившийся моим глазам в открытое отверстие палатки, был громадный белый Вилегинский конус, сиявший всеми цветами радуги в сероватом свете утра. Зареву востока становилось всё ярче и ярче, и вся природа оживилась. Утки и гуси гоготали всюду в осоке, стройный, похож на стон, крик морской чайки слышался с соседняго берега, и из прозрачной синевы неба долетал на землю мелодический голос диких лебедей, летевших вглубь материка за кормом. Я умылся свежей холодной речной водой и разбудил Додда, чтобы он посмотрел на горы. Прямо за нашей палаткой в своём снеговом покрове возвышалась на десять с половиной тысяч футов над поверхностью моря колоссальная верши-

на Коряцкой горы. Ея белая остроконечная верхушка алела в лучах восходящего солнца, между тем как утренняя звезда всё ещё мерцала дрожащим светом над ея восточным склоном. Немного правее возвышалась Авачинская сопка, из трёх кратеров которой выходили тёмные пары. Много далее, на расстоянии тридцати миль, была видна остроконечная Вилегинская гора, освещённая утренним блеском, а за нею синеватые очертания береговой линии. Туман лежал клочьями на склонах гор и исчезал подобно лучезарным призракам, возносившимся с земли на небо. Розоватый свет восходящего солнца мало помалу освещал покрытые снегом склоны гор. Скоро яркий поток света разлился по долине, осветив нашу белую палатку нежно-розовым светом, причём каждая капля росы блестела, как алмаз. <...>

Около полудня лай собак известил нас о близости жилья, и после крутого изгиба реки мы очутились перед камчатским поселением Окутой. Камчатския селения настолько отличаются от европейских и американских пограничных поселений, что нельзя обойти молчанием первые. Такое селение бывает обыкновенно расположено на небольшом возвышении у берега реки или потока, окружено группами тополей и берёз и защищено высокими холмами от холодных северных ветров. Низенькия домики, скученные в беспорядке у берега, построены из брёвен и проконопачены сухим мхом. Крыши покрыты сухой осокой и лубочными полосами, которыя свешиваются по сторонам и образуют большие навесы. Вместо стёкол в оконных рамах часто бывают натянуты прозрачные рыбки пузыри, сшитые вместо ниток сухими жилами севернаго оленя. Двери всегда почти квадратны, а трубы состоят из нескольких прямых жердей, составленных так, что образуют высокую, длинную трубку, обмазанную толстым слоем глины. Здесь же можно встретить строения особенной архитектуры, называемыя «балаганами», которыя служат кладовыми для запасов рыбы. Это простыя конические постройки из брёвен на четырёх высоких столбах для охранения находящихся в них запасов от собак. Возле каждого дома на горизонтально расположенных жердях висят тысячи сушёных лососей, и характерный рыбный запах, наполняющий атмосферу, свидетельствует о занятии камчадалов и об их пище.

Несколько лодок лежат, опрокинутыя, на песчаном берегу, покрытыя большими, искусно сплетёнными неводами, узкия сани приклонены к каждому дому, и стая больших волкоподобных собак с торчащими ушами, привязанных на некоторое расстояние к длинным тяжёлым шестам, лежит, греясь на солнце и злобно

лова мух и комаров, которые нарушают её покой. В центре селения возвышается во всём величии камчатско-византийской архитектуры православная церковь, выкрашенная красной краской, с блестящими куполами, и составляет странную противоположность с грубыми бревенчатыми домами и коническими «балаганами», которые она осеняет своим сияющим золотым крестом. Церковь построена из отёсанных брёвен, выкрашенных густой красной краской, и покрыта железной крышей зелёного цвета. Над нею возвышаются два купола из жести, выкрашенные в небесно-голубой цвет и усеянные золотыми звёздами.

Жители туземных поселений в Южной Камчатке имеют смуглый цвет кожи. Они значительно ниже ростом других сибирских народов, а характером резко отличаются от кочующих племён коряков и чукчей, живущих далее на север. Вследствие того, что они вели жизнь оседлую, а не кочевую, они скорее подпали под русское владычество, чем их кочующие соседи, и на них отразилось в более значительной степени цивилизующее влияние образованных завоевателей. Камчадалы почти все приняли веру, нравы и обычаи своих завоевателей. Их собственный, в высшей степени странный, язык почти совсем выходит из употребления. Я нигде не встречал такого великодушия, гостеприимства и добродушия, такого великодушия во всех отношениях, как между ними.

Как племя они, без сомнения, вырождаются. С 1780 г. их убавилось более чем наполовину, а частые эпидемии и голод скоро сделают из них весьма слабое и незначительное племя, которое, наконец, будет поглощено возрастающим русским населением полуострова. Большую часть своих обычаев и поверий они уже утратили, только случайное приношение собаки в жертву какому-нибудь злему духу даёт современному путешественнику слабое понятие об их первобытных языческих обрядах. Они питаются преимущественно лососью, которая каждое лето заходит в эти северные реки метать икру. Её ловят тысячами с помощью багров, неводов и разными другими приспособлениями. Эта рыба, высушенная на открытом воздухе без соли, составляет едва ли не единственную пищу камчадалов и их собак во время долгих холодных северных зим. Летом их пища более разнообразна. Климат и почва речных низменностей в Южной Камчатке позволяет возделывать рожь, садить овощи — картофель и репу. Кроме того, весь полуостров изобилует животной жизнью.

Северные олени, чёрные и белые медведи бродят по поросшим мхом равнинам, в горах нередко встречаются дикие бараны, а мил-

лионы уток, гусей и лебедей всевозможных разновидностей кишат у рек, озёр и болот по всей стране. Эти водяные птицы ловятся в огромном количестве, во время их линянья, нарочно организованными партиями от пятидесяти до семидесяти пяти человек, которые на лодках загоняют птиц большой стаей в какой-нибудь узкий ручей, на конце которого поставлена огромная сеть, куда они все и попадают. Там их бьют дубинами, ощипывают и солят на зиму.

Обычай пить чай введён русскими и установился довольно твёрдо. Хлеб пекут теперь из ржи, которую камчадалы сеют и мелют для собственного употребления, но прежде занятия этой земли русскими, единственный туземный образец хлеба был род печёного теста, состоящего исключительно из превращённых в муку шишек красной камчатской лилии. Единственные плоды, свойственные этой стране, — ягоды и дикие вишни. Из ягод, которых, впрочем, родится от пятнадцати до двадцати различных сортов, самые употребительные — черника, морошка и брусника. Эту последнюю туземцы собирают поздней осенью и замораживают для зимы. Коров держат почти во всех камчатских селениях, и молока можно всегда найти в изобилии. Оригинальное туземное кушанье, состоящее из кислого молока, творога и сливок, посыпанное мелким сахаром и корицей, могло бы с честью быть подано на стол в любом европейском семейном доме.

Из всего сказанного мною видно, что жизнь в камчатских поселениях, по крайней мере, с гастрономической точки зрения, вовсе не так дурна, как мы предполагали ранее. Я видел туземцев, живущих в долине Камчатки также удобно и пользующихся таким же комфортом и почти такую же роскошью, как девять десятых поселенцев на границе западных штатов Америки.

Глава 8

Иерусалим. Жилища. Камчатский ужин. Молитва. Утомительная езда

В Окуте, где давно ожидали нашего прибытия, мы наскоро пообедали в маленьком туземном домике и затем, бодро вскочив на лошадей, потянулись неправильной вереницей через лес. Додд и я ехали впереди и пели «Bonnie Dundee». Мы всё время держались около горной цепи, которая утром представляла такой живописный вид, теперь же растущая у подножия берёзовых и рябиновых рощи скрывали от нас снежные вершины гор.

Перед закатом солнца мы приехали в другую туземную деревеньку, мудрое название которой я не в состоянии был ни выговорить, ни написать. Додд терпеливо повторил мне это название пятнадцать или шестнадцать раз, но с каждым разом оно казалось мне всё труднее и неразборчивее. Я кончил тем, что назвал её Иерусалимом. <...>

Утомлённый непривычной верховой ездой, я вошёл пешком в деревню и, бросив уздечку одному камчадалу в голубой нанковой рубашке и в панталонах из оленьей кожи, который приветствовал меня почтительным поклоном, я вошёл, усталый, в дом указанный мне Вьюшиным, где, по маршруту, мы должны были остановиться.

Помещение, приготовленное для нашего приёма, состояло из низкой комнаты, стены, потолок и пол которой из некрашенных досок были так чисты, что сделали бы честь чистоplotным хозяевам известного голландского города Браука. Огромная, сделанная из глины печь, выкрашенная старательно в красный цвет, занимала одну сторону комнаты; скамья, три или четыре стула грубой работы и стол были разставлены в строгом порядке с другой стороны. Окна со стёклами, украшенные пёстрыми ситцевыми занавесками, пропускали тёплые лучи солнца, несколько грубых американских литографий висели там и здесь на стенах. При виде этой безукоризненной чистоты нам стало вдруг совестно за наши грязные сапоги и простой наряд. Для постройки этого дома и всех его принадлежностей не было употреблено других орудий, кроме топора и ножа, но эти некрашенные доски были до того тщательно вымыты водой и песком, что белизна их вполне вознаграждала за грубость работы.

Главное неудобство этого жилого помещения, как и всех домов в Южной Камчатке, заключается в чересчур низких дверях. Надобно долгой практикой приобрести необыкновенную гибкость спинного хребта, чтобы не чувствовать утомления при входах и выходах из таких дверей. Вьюшин и Додд, уже прежде путешествовавшие по Камчатке, принаравливались без труда к этой особенности туземной архитектуры, но у майора и у меня в продолжении первых двух недель путешествия постоянно были шишки на лбу. <...>

Казак, посланный вперёд, чтобы предупредить туземцев о нашем прибытии, вероятно, так преувеличил наше значение и власть, что жители сделали самые тщательные приготовления для нашего приёма. Дома, предназначенные для нашего пребывания, были старательно выскоблены, вымыты и украшены. Женщины

оделись в самые пестрые ситцевые платья и повязались самыми яркими шёлковыми платками, большая часть детских личиков была заботливо вымыта. Со всей деревни собрано было необходимое количество тарелок, чашек и ложек для нашего ужина, а добровольные приношения в виде уток, оленьих языков, брусники, топлёных сливок и тому подобных продуктов местного производства приносились нам в таком изобилии, которое свидетельствовало как о готовности и гостеприимстве жителей, так и об их сочувствии к нуждам усталых путешественников.

Свежий горный воздух возбудил наш аппетит, и через час мы сидели за великолепным ужином, состоящим из холодной жареной утки, варёного оленьего языка, чёрного хлеба и свежего масла, брусники, сливок, превосходного варенья из лепестков дикой розы, перетёртых с сахаром. Мы ехали в Камчатку, героически готовясь к постоянной диете, ограничивающейся ворванью, свежим салом и тресковым жиром. Представьте же себе наше изумление и радость, когда вместо невольного поста нас приветливо угощали такую роскошью, как брусника, сливки и варенье. <...>

Тотчас же после ужина я растянулся на полу под столом, который заменял мне балдахин над кроватью, подложил под голову свою маленькую резиновую подушку, завернулся, подобно мумии, в одеяло и заснул. Майор, привыкший вставать всегда рано, проснулся на следующее утро с разсветом. Между тем Додд и я придерживались иного мнения и смотрели на раннее вставанье как на остаток варварства, котораго, не унижая себя, не должен придерживаться американец XIX столетия. Поэтому мы с Доддом спокойно спали до тех пор, пока «караван», по непочтительному выражению моего спутника-товарища, не будет готов двинуться в путь, или, по крайней мере, покуда нас не позовут завтракать. На этот раз вскоре после разсвета меня разбудил страшный шум, и, смутно вообразив, что я присутствую при оживлённом митинге, я вскочил, ударился сильно головой о ножку стола, открыл глаза и дико посмотрел вокруг себя.

Майор, полуодетый, яростно кричал и проклинал наших испуганных извозчиков классическими «русскими словами» за то, что все лошади ночью сорвались и ушли, чёрт знает куда, как он объяснял с выразительной простотой. Это было неудачное начало для нашего путешествия; однако в продолжение двух часов почти все наши заблудившие лошади были найдены, навьючены, и после них к чему не ведущей перебранки извозчиков мы повернулись спиной к Иерусалиму и медленно двинулись в путь. <...>

Максимов, глава наших извозчиков, по окружающей его темноте и спокойствию, вероятно, вообразил, что сегодня воскресенье, и потому ехал медленно между рассеянными группами серебристых берёз и пел громким, звучным голосом молитву из православного богослужения. Иногда он прерывал это благочестивое занятие такими выразительными ругательствами, обращёнными к своей лошади, что они возбудили бы изумление и зависть в самом нечестивом солдате фландрской армии.

Но, по-видимому, он не сознавал несовместимости пения молитв с нечестивыми восклицаниями, которыми он сопровождал её, и если бы даже он и сознавал это вполне, то, по всей вероятности, счёл бы своё пение искуплением за свою нечестивость и продолжал бы с невозмутимым равнодушием, вполне убеждённый, что если каждое проклятие он будет сопровождать пением священного стиха, то это будет зачтено ему на небесах.

Дорога, или, лучше сказать, тропинка, из Иерусалима шла на запад и вилась у подножия низкой обнажённой цепи гор через густой лес берёз и тополей. Изредка нам попадались полянки, поросшие брусникой, и тогда мы внимательно озирались, желая увидеть медведя, однако всё вокруг было тихо и спокойно, даже кузнечики чирикали как-то сонно и лениво, точно и они готовы были поддаться тому усыпляющему влиянию, которое, казалось, овладело всей природой.

Чтобы избавиться от комаров, преследования которых становились невыносимыми, мы быстро поехали по широкой, плоской долине, густо поросшей высокими, зонтичными растениями, рысью поднялись на маленький холм и ускоренным галопом прискакали в селение Корак (Коряки. — *Ред.*) посреди воя и лая полудиких собак, ржания лошадей, беготни людей и всеобщаго смятения.

В Кораке мы наскоро позавтракали под навесом камчатского дома и на свежих лошадях с другими проводниками отправились в Малкву (Малки. — *Ред.*), другое селение на расстоянии пятидесяти миль за рекою Камчаткой. Под вечер, после пятнадцати или шестнадцати миль быстрой езды, мы выехали из густой рощи тополей, берёз и рябины на маленькую поляну, имеющую около полудесятины протяжения, которая точно нарочно была создана для лагерной стоянки. Она была с трёх сторон окружена лесом, а четвертая оканчивалась диким ущельем, загромаждённым утёсами, брёвнами, частым кустарником и колючими растениями. Светлый, холодный ручёк протекал рядом пенящихся водопадов и мчался далее по песчаному руслу между цветущими берегами,

пока не исчезал между деревьями. Было бы напрасно искать лучшего места для ночлега, и потому мы решились остановиться здесь до разсвета. Привязать наших лошадей, набрать хвороста для костра, повесить над ним чайник и разбить маленькую палатку — было делом нескольких минут. Мы расположились вполне удобно на наших тёплых медвежьих шкурах вокруг свечного ящика, покрытого чем-то похожим на скатерть, пили чай, разсуждали о Камчатке и следили за розовым блеском вечерней зари, которая медленно исчезала за цепью гор.

На следующий день мы добрались до Малквы, усталые и измученные. Дорога, изрытая ухабами, вела через узкия ущелья, заваленныя обломками утёсов и вырванными с корнями деревьями, через болота, поросшия мхом, и через крутые обрывы, на которые мы не отваживались взбираться верхом. Лошади несколько раз сбивали нас с седла, наши ящики с провизией колотились о деревья и погружались в трясины; подпруги у лошадей лопались, извозчики бранились, лошади падали и со всеми нами безпрестанно случались всякия невзгоды. Майор, хотя и непривыкший к этим неприятностям путешествия по Камчатке, переносил их со спартаанской стойкостью, тем не менее — на последних десяти милях он подложил под себя подушку и от времени до времени кричал Додду, который хладнокровно ехал впереди: «Додд! Додд! Скоро ли мы доедем до этой проклятой Малквы?»

Додд ударял свою лошадь ивовым хлыстом и, сделав полуоборот на седле, всякий раз отвечал с шутливой улыбкой: «Мы ещё не доехали, но скоро доедем». Однако такое утешение не придавало нам большой бодрости. Наконец, когда уже начало смеркаться, мы увидали в некотором разстоянии от нас высокий столб белых испарений, происхождение которых Додд и Вьюшин объяснили нам горячими родниками Малквы. Через четверть часа, действительно, мы въехали, усталые, промокшие и голодные, в селение. На этот раз ужин для меня был второстепенным делом. Я желал только одного: забраться под стол, где бы никто меня не потревожил, остаться одному и уснуть. Никогда ещё я не ощущал так живо присутствие в моём теле мускульной и костной системы. Каждая отдельная косточка, каждая жилка моего тела громко заявляли о своём существовании острой болью, и мой хребет через двадцать минут сделался так же гибок, как железный шомпол ружья.

Я печально сознавал, что никогда уже не буду пяти футов и десяти дюймов роста, как бывало прежде, разве только на каком-нибудь прокрустовом ложе меня вытянут до первоначальной длины.

Частые сотрясения привели мои позвонки в ненормальное положение, которое никакая операция уже не в состоянии будет исправить. Перебирая в уме эти мрачные мысли, я заснул под столом, одетый, и даже не снимая сапог с отёкших ног.

Глава 9

Малква. Прекрасная местность Генуль. Охота за медведем. Пуцин

Переночевав в Малкве, нам необходимо было отправиться далее. Нечего и говорить, как мне трудно было снова влезать на седло, но майор оставался нечувствительным ко всем просьбам дать маленький отдых. Суровый и непоколебимый, как Радамант, он влез на свою пуховую подушку и дал сигнал к отъезду. С помощью двух сострадательных камчадалов, которые, может быть, испытали когда-нибудь всё неудобство оконечелаго спинного хребта, мне удалось сесть верхом на лошадь, и мы двинулись в Генульскую долину, этот сад Южной Камчатки.

Селение Малква расположено на северной покатости бассейна реки Камчатки и окружено невысокими гольми гранитными утёсами. Оно замечательно своими горячими минеральными источниками, но так как мы не имели времени сами посетить их, то и должны были удовольствоваться отзывами туземцев об их температуре и целительных свойствах, и видели только испарения, которые в форме столба поднимались над ними и указывали нам место их нахождения. С северной стороны деревни начинается длинная, узкая долина Генульская, лучшая и плодороднейшая на всём Камчатском полуострове. Она имеет около тридцати миль в длину и трёх в ширину и ограничена с обеих сторон высокой снежной цепью гор, простирающейся от Малквы длинным рядом изрытых вершин и остроконечных утёсов почти до самых источников реки Камчатки. Небольшая извилистая речка течёт по долине посреди высокой травы, достигающей от четырёх до пяти футов, а по берегам реки местами растут берёзы, ивы и ольха. Листва деревьев начинает уже принимать яркие цвета осени, и широкия красныя, желтыя и зелёныя полосы горизонтально тянутся вдоль горных склонов, свидетельствуя о постепенной правильной последовательности растительных поясов, от самого уровня долины и до блестящих снеговых вершин.

Мы достигли середины долины около полудня, и потому картина окружающей нас природы предстала перед нами во всём своём

блеске и величии. Вид её невольно вызвал восторженные восклицания у всей нашей маленькой партии. На двадцать миль вокруг простиралась освещённая солнцем долина, орошаемая речкою Генуль, которая соединяла серебряной лентой рассеянные группы деревьев, красиво разнообразившая её берега. <...>

Под вечер мы приблизились к селению Генул. Мы проехали поле, где мужчины жали траву серпами, ответили на их удивлённый взгляд невозмутимым спокойствием и поехали далее, пока дорога не оборвалась внезапно у реки, за которой лежала деревня. Кое-как нам удалось переехать вброд неглубокий поток, не замочив платья, но через минуту мы уже очутились у другой такой же речки, переехав которую, мы подъехали к третьей. Мы терпеливо перебрались и через неё, но при виде четвёртой реки майор с отчаянием закричал Додду:

— Додд! Сколько поганых речонок должны мы переехать, чтобы добраться до той скверной деревни?

— Только одну, — отвечал серьёзно Додд.

— Так сколько же раз эта одна река протекает вокруг этого селения?

— Пять раз, — последовал шутливый ответ.

— Вы видите, — продолжал Додд, — у этих бедных камчадалов только одна река, в которой они могут ловить рыбу, да и та не широка, вот они и провели её пять раз вокруг своего селения и этим остроумным способом ловят в пять раз больше лососей, чем если бы она протекала только один раз.

Майор молча что-то соображал и, наконец, поднял глаза с седельной пашки, перенёс их на провинившагося Додда с видом строгого порицания и спросил его:

— Сколько раз рыба должна проплыть мимо селения, чтобы снабдить пищей всё население, предполагая, что рыбу ловят каждый раз, как она проходит мимо?

Это *reductio ad absurdum* было уже слишком для напускной серьёзности Додда, — он разразился громким смехом и, прищипнув свою лошадь, с шумом и плеском бросился в четвёртый изгиб реки и очутился на противоположном берегу, в живописно раскинувшемся селении Генуль.

Мы остановились в доме старосты селения, разстелили наши медвежьи шкуры на чистом полу низенькой комнаты, стены которой были оклеены самым забавным образом старыми экземплярами «Лондонской иллюстрации». Раскрашенная американская литография, изображающая примирительный поцелуй двух

поссорившихся любовников, висела на стене и составляла, по-видимому, гордость своего обладателя, свидетельствуя об его образовании, утончённом вкусе и его знакомстве с изящными искусствами, образом жизни и обычаями американского общества. <...>

Ещё не было шести часов утра, как мы уже ехали на свежих лошадях в Пуцин, до которого считалось девяносто вёрст.

Не мешает заметить, что одежда нашей маленькой партии имела теперь самый странный, почти разбойничий вид, так как каждый из нас мало помалу разставался с некоторыми принадлежностями европейского костюма, которые почему-либо оказывались неудобными в пути и заменял их нарядами, более соответствующими требованиям кочевой жизни. Додд снял свою шапку и повязал голову красным платком с жёлтыми узорами. Вьюшин украсил свою шляпу длинной пунцовой лентой, которая весело развевалась по ветру. Голубая охотничья рубашка и красная турецкая феска заменили мой мундир и шапку. У нас у всех были карабины за плечами и револьверы у пояса, и, вообще, по наружности мы походили на самых фантастических разбойников, когда-либо делавших набеги из Аппенинских ущелий, чтобы собирать разбойничью дань с беззащитных путешественников. Робкий турист, встретив нас, едущих верхом на лошадях по равнине в Пуцин, вероятно, упал бы перед нами на колени и вынул бы свой кошелёк, не ожидая наших приказаний.

Имея свежих и бойких лошадей, майор, Додд, Вьюшин и я ехали весь день далеко впереди остальной нашей партии. Далеко за полдень, когда мы крупной рысью ехали через равнину, известную под именем Камчатской тундры, майор вдруг осадил свою лошадь, сделал полуоборот и закричал: «Медведь! Медведь!» И, действительно, огромный чёрный медведь молча поднялся из высокой травы, у самых его ног.

Произошло смятение: Вьюшин снял с плеча своё двуствольное ружьё и начал насыпать в него крупную дробь. Додд схватил свой револьвер с бешеной энергией, между тем как испуганная лошадь уносила его по равнине. Майор бросил поводья и умолял меня всеми святыми не выстрелить в него, так как лошади прыгали, лягались и фыркали самым немилосердным образом. Единственное спокойное, владеющее собой существо во всё время этой сцены был сам виновник происшедшего переполоха — медведь. Он окинул нас равнодушным взглядом и, пока мы готовились померяться с ним силами, неуклюжим галопом побежал к лесу. К нам вернулось всё наше присутствие духа, и мы начали преследовать

беглеца с истинным геройством, стреляя с самым решительным и неустрашимым видом из четырёх револьверов и ружья и показывая чудеса храбрости в наших попытках изловить кровожадного зверя, но, не подъезжая к нему, однако, ближе, чем на сто шагов. Но всё было напрасно: догадливый медведь исчез в лесу, подобно лёгкой тени, и, предполагая, что вследствие известной своей кровожадности и мстительности, он мог нам приготовить в лесу западню, мы сочли за лучшее доказательство храбрости отказаться от его преследования.

Проверив наши впечатления, мы нашли, что все были одинаково поражены его величиной, косматой шерстью и дикой наружностью и что всеми нами тотчас же овладело непреодолимое желание взять его за горло и распороть ему живот складным ножом, как это так прекрасно изображали в старых гравюрах. Ничто иное, как неповиновение наших лошадей и быстрота бегства зверя, помешали нам достигнуть желанной цели.

Майор утверждал, что видел медведя ещё ранее и наехал на него вплоть только для того, чтобы «спугнуть его» и что если мы не отдадим ему этой должной справедливости, то можем наезжать на следующего медведя сами. Сообразив спокойно это дело, я счёл за самое вероятное, что если другой медведь сам не попадётся майору, этот последний никогда не свернёт с дороги, чтобы спугнуть его. Мы сочли, однако, нашим долгом предостеречь майора, чтобы он не подвергал опасности успех нашей экспедиции такими безразсудными подвигами, как преследование диких зверей.

Смерклось много ранее, чем мы успели доехать до Пушина. Прохладный вечерний воздух освежил наших усталых лошадей, когда мы около восьми часов услышали отдалённый вой собак, что свидетельствовало о близости селения и что мы привыкли уже в нашем воображении соединять с понятиями о горячем чае, отдыхе и сне. И, действительно, не прошло и получаса, как мы покойно лежали на наших медвежьих шкурах в камчатском домике. В этот день мы сделали шестьдесят миль, но путь был так хорош, что мы не чувствовали такой усталости, как в Малкве. Тридцать вёрст отделяли нас от верховья реки Камчатки, где мы должны были оставить наших лошадей и сто пятьдесят миль плыть вниз по реке на туземных лодках и паромах.

После четырёхчасовой езды крупной рысью по плоской равнине мы на утро прибыли в Шером, чтобы следовать далее водяным путём.

Глава 10

Шером. Плавание. Милькова. Восторженный приём

<...> В Шероме мы нашли судно, или камчатский паром, приговорённое для нашего плавания нашим передовым гонцом. Паром состоял из трёх широких выдолбленных челноков, соединённых параллельно на расстоянии трёх футов один от другого поперечными шестами и связанных ремнями из тюленьей кожи. На них настлан был пол или платформа, около двенадцати футов длины и десяти ширины, оставляя на каждом челноке место на корме и на носу для гребцов, которые должны были вести и направлять наше неуклюжее судно по течению реки. На платформе, покрытой на шесть дюймов только что скошенной травой, мы разбили нашу маленькую палатку и убрали её с помощью медвежьих шкур, одеял и подушек в уютную комнатку. Карабины, револьверы и другое оружие и вещи были сняты с нашего усталого тела и повешены на шесты в палатке. Тяжёлые охотничьи сапоги были тоже сняты и заменены мягкими лосиными торбасами; сёдла в надлежащем порядке убраны до предстоящей в них надобности и вообще все наши вещи разставлены так, чтобы доставить нам возможные в нашем положении удобства.

Наше снаряжение в путь продолжалось часа два, во время которого наш тяжёлый багаж был перенесён на другой подобный же паром. Затем мы сошли на песчаный берег, простились с толпой, собравшейся поглазеть на наш отъезд, поместились на наше судно и поплыли тихо по течению. Камчадалы с берега махали нам шляпами и платками, пока за изгибом реки мы не скрылись от их глаз. Местность у верховьев Камчатки в продолжение первых двадцати миль была сравнительно однообразна и малоинтересна, горы были совершенно скрыты от глаз густым сосновым лесом, наполовину смешанным с березняком и лиственницей. Для нас, впрочем, было достаточно и того, что мы лежали, растянувшись, в палатке на мягких медвежьих шкурах, быстро двигаясь вперёд по гладкой поверхности реки, следуя за её круглыми изгибами, вспугивая огромного камчатского орла, одиноко сторожившего на каком-нибудь выдающемся утёсе или стаю крикливых водяных птиц, которая улетали длинной вереницей, пока совсем не исчезали из вида.

Плавание по верховью Камчатки небезопасно ночью вследствие быстроты течения и множеству сучьев, загромаждающих реку, так что с наступлением темноты наши туземные гребцы не отважи-

лись итти далее: мы причалили к берегу наши паромы и сошли на сушу ожидать восхождения луны.

Маленький полукруг был расчищен в частом кустарнике у берега, огни разведены, котлы с картофелем и рыбой повешаны над кострами, и все мы в ожидании ужина, собравшись вокруг яркого пламени, курили, разговаривали и пели американския песни. После ужина мы придумали себе новую забаву: соорудили на берегу огромный костёр из хвороста и начали бросать горячия головни в лососей, когда они метались в реке, и в испуганных уток, сон которых был нарушен непривычным для них шумом и светом. Когда догорели костры, мы разостлали наши медвежьи шкуры на мягком песке у берега и улеглись, глядя на мерцающия звёзды до тех пор, пока сознание не перешло понемногу в дремоту, а дремота в полное забытье и сон. Ночью меня разбудили потоки дождя, падающие на моё лицо, и завывание поднимающагося ветра в верхушках деревьев. Стащив мои промокшия одеяла, я увидел, что майор и Додд уже перенесли палатку на берег, укрепили её между деревьями и скрылись в неё, оставив меня изменнически под проливным дождём, точно было всё равно, сплю ли я под палаткой или в грязной луже! Обсудив внутренно вопрос, как мне лучше поступить, войти ли в палатку или отомстить им, сокрушив её над их головами, я решился лучше сначала укрыться от дождя, а месть отложить до более удобнаго случая. Но лишь только я успел заснуть, как вдруг мокрое полотно обрушилось на моё лицо и вместе с тем раздался крик: «Вставайте! Пора отправляться!»

Выбравшись из-под упавшей палатки, я мрачно сошёл на паром, перебирая в голове разные остроумные планы, чтобы отплатить майору и Додду за то, что сначала они оставили меня на дожде, а потом разбудили среди ночи, обрушив мокрую палатку над моей головой. Был час ночи — на дворе было темно и пасмурно — но все утверждали, что месяц уже взошёл, и наши камчадалы уверяли, что стало настолько светло, что можно продолжать путешествие. Я не был согласен с ними, но моё мнение не имело никакойо влияния на майора, и на мои возбуждения не обратили ни малейшаго внимания. Раздосадованный и в тайной надежде, что мы наткнёмся на какое-нибудь бревно, я улёгся под дождик на мокрое сено на нашем пароме и старался забыть во сне мои несчастья.

По случаю противнаго ветра мы не могли разбить палатку и должны были укрыться по возможности под пропитанными жиром одеялами и дрожать от холода всю остальную ночь. На разсвете

мы подъехали к камчатскому поселению Мильков, самому большому из туземных населённых мест на всём полуострове. Дождь перестал, тучи начинали рассеиваться, но воздух всё ещё был холоден и сыр. Наше прибытие было уже предупреждено ещё накануне, а наш сигнальный выстрел из ружья, когда мы обогнули последний изгиб реки, привлёк на берег почти всё население. Приём, сделанный нам, был настоящей овацией. «Отцы города», — как их назвал Додд, в числе двадцати, собрались кучкой у места нашей высадки и, сняв шапки, начали усердно кланяться и кричать: «Здравствуйте!» Когда же мы были в пятидесяти шагах от берега, нам салютовали выстрелами из заржавленных ружей с кремневыми замками, подвергая тем самым опасности нашу жизнь; затем человек двенадцать туземцев вошли в воду, чтобы помочь нам благополучно выйти на берег.

Селение находилось не в далёком расстоянии от реки, и жители приготовили для доставки нас туда таких тощих лошадей, каких я когда-либо видел в Камчатке. Их сбруя состояла из деревянных сёдел, стремян около двенадцати дюймов длины, обтянутых ненужными остатками ремней из тюленьей кожи, пахвей из медвежьей шкуры и недоузтков из кожи моржа, закрученных у морды животных. Движение происшедшее в то время, когда мы приготовились садиться на лошадей, кажется, до сих пор не имело ничего подобного в летописях этого мирного селения. Не знаю, как удалось майору сесть на лошадь, но меня и Додда несколько длинноволосых камчадалов схватили и, несмотря на наши возражения, начали теревить наши грешные тела во все стороны, напоминая этим борьбу за мёртвое тело Патрокла, пока торжественно не посадили нас, задыхающихся и истощённых, на седла. Ещё один такой радушный приём сделал бы нас совсем неспособными для службы компании российско-американского телеграфа!

Я имел только время бросить беглый взгляд на майора. Его фигура представляла смесь удивления и полумучительных, полубаванных ощущений, не улегшихся ещё на лице. Я, было, собрался выразить своё участие к его страданиям, но в это время какой-то восторженный туземец схватил поводья моей лошади, три других с непокрытыми головами бросились ему помогать, и меня повели с триумфом к какой-то неведомой цели. Невыразимая нелепость нашего положения поразила меня тогда только во всей своей силе, когда я обернулся назад перед самым въездом в деревню. За мной ехали майор, Вьюшин и Додд, возседающие на тощих камчатских лошадях, причём колена их были почти на одном

уровне с подбородками. Полдюжины туземцев в необыкновенных костюмах бежали возле них собачьей рысью, а целая процессия мужчин и подростков с непокрытыми головами замыкали торжественно шествие, поощряя лошадей остроконечными палками, чтобы, хотя до некоторой степени, добудить в них жизнь и рвение.

Всё это отчасти напоминало мне римский триумф — майор Додд и я изображали героев-победителей, а камчадалы — пленных, на которых мы положили ярмо рабства и которые теперь украшали наше торжественное вступление в вечный город. Я сообщил моё сравнение Додду, но он заметил мне, что нужно очень насиловать своё воображение, чтобы сделать из нас в данную минуту «торжествующих героев», для которых название «героических жертв» более согласовалось бы с нашим положением. Его практический ум не допускал такой идеализации нашего положения. При въезде в селение волнения и восторженные овации не успокоились. Наша пёстрая свита жестикулировала, бегала взад и вперёд, отдавала какия-то приказания самым неистовым образом; головы появлялись и исчезали в окошках домов, а три сотни собак увеличивали общее смятение, выражая свой восторг таким адским концертом, что воздух дрожал от этих смешанных звуков. Наконец мы остановились у большого одноэтажного бревчатого дома, и двенадцать или пятнадцать туземцев помогли нам слезть с лошадей и войти.

Когда Додд успел собраться с мыслями, то спросил: «Скажите, ради всех святых, что такое случилось с этим селением? С ума они сошли или нет?» Вьюшин послал за старостой, который не замедлил явиться с поклонами и приветствиями, напоминающими китайского мандарина.

Тут начался длинный разговор по-русски между майором и старостой, прерываемый иногда дополнительными объяснениями на камчатском языке, которые, впрочем, мало способствовали к разъяснению предмета. Очевидное и возрастающее желание улыбнуться понемногу смягчало суровое лицо майора, пока, наконец, он не разразился громким и заразительным смехом. Только что он пришёл в себя, как вскричал: «Туземцы приняли вас за Императора», — и снова им овладел припадок смеха, который грозил окончиться удушьем или ударом.

Совершенно растерявшись, я мог только слабо улыбаться, пока он не пришёл достаточно в себя, чтобы объяснить мне эту шутку. Оказалось, что наш посланный из Петропавловска по всему полуострову для извещения жителей о нашем проезде имел при себе

письмо от русского губернатора, в котором были обозначены имена и звания членов нашей партии, где я был назван «Егор Кеннан, телеграфист и оператор». Мильковский староста умел читать по-русски, и потому письмо было передано ему для сообщения всем жителям селения. Его поразило непонятное слово «телеграфист», но и после тщетных усилий ума он даже приблизительно не мог объяснить его значения. «Оператор» показалось ему более знакомым, хотя оно и не звучало именно так, как он привык слышать, и, конечно, должно было означать «Император». При таком неожиданном открытии сердце его забилося, волосы поднялись на голове от чрезмерных напряжений ума и он поспешно отправился распространять известие, что русский царь посетил Камчатку и через три дня будет проездом в Милькове.

Нет слов описать волнение, овладевшее населением при этом неожиданном известии. Единственным предметом обсуждения было, каким образом Милькова может лучше выказать свою преданность и уважение к главе императорской фамилии, к могущественному повелителю семидесяти миллионов подданных. Изобретательность камчадалов не могла ничего придумать! Что могло сделать бедное камчатское население для развлечения своего августейшего монарха?

Когда прошло первое волнение, майор объяснил старосте наше настоящее звание и занятие, но это не умалило гостеприимства жителей. Нас снабдили всем, что только нашлось лучшего в деревне, и смотрели на нас с таким любопытством, которое ясно доказывало, что селение Милькова не было избаловано посещениями путешественников. Отведав нескольких туземных кушаний и поев более существенной оленины с хлебом, мы в сопровождении толпы народа вернулись к нашим паромам, чтобы продолжить наше путешествие по реке.

Глава 11

Продолжение реки. Ключевская сопка. Чёрная баня

Наше дальнейшее путешествие по реке вполне убедило нас, что долина этой реки, без сомнения, самая плодородная часть всего Камчатского полуострова. Почти все деревни, мимо которых мы проезжали, окружены садами и засеянными рожью полями; берега покрыты строевым лесом или травой в пять футов вышины; местами роскошные цветы и другие растения свидетельствуют о богатстве почвы и благоприятности климата. Скороспелки, белыея

буквицы, болотная фиалка, шиповник и другие растения растут в изобилии по всей долине, а особенный вид зонтичных с полыми коленчатыми стеблями достигают в некоторых местах шести футов вышины и растут так густо, что за огромными зубчатыми листьями растения вы не увидите человека на расстоянии нескольких аршин. И всё это вырастает в продолжение одного лета.

Между верховьем реки и Ключевской сопкой находятся двенадцать туземных поселений, расположенных в живописных местностях и окружённых садами и засеянными рожью полями. Нигде путешественник не увидит даже следа той бесплодности и запустения, которая всегда соединялась с именем Камчатки.

В понедельник утром мы расстались с нашими радушными туземными друзьями в Милькове и в продолжение трёх дней плыли медленно вниз по реке, любясь мимоходом на ряд снежных гор, замыкающих долину, и бродя по лесам в поисках за медведями и дикими вишнями. Ночью мы разбивали палатку на берегу среди деревьев и вообще жили беззаботно свободною жизнью кочевников. Мы проехали туземные поселения Кирганик, Маршру, Шапино и Толбачик и везде были приняты с безграничным гостеприимством. В среду, 13 сентября, мы расположились лагерем в лесу на юг от Козеревского, в ста двадцати верстах от селения Ключи. Почти всю среду шёл дождь, мы разбили палатку между влажными деревьями и заснули с некоторым опасением, что приближающаяся буря скроет от нас великолепную картину низовьев Камчатки, по которой нам предстояло дальнейшее путешествие.

Около полночи, впрочем, прояснело, а рано утром меня разбудил Додд и предложил выйти посмотреть на горы. Тишина была необыкновенная, и воздух имел ту особенную кристальную прозрачность, которую вы встретите иногда в Калифорнии. Лёгкий мороз покрыл белым инеем траву и несколько завядших листьев, колеблясь в свежем воздухе, спадали медленно с жёлтых берёз около нашей палатки. Ни один звук не нарушал всеобщего безмолвия, и только следы северных оленей и волков на влажном песке свидетельствовали о присутствии жизни в этой дикой местности. Солнце ещё не взошло, но небо на востоке было залито золотистым светом, а утренняя звезда стояла ещё, как лучезарный страж, между борющимися силами ночи и дня. Далеко на северо-востоке, над рощей, возвышались окрашенные нежным пурпуром остроконечные Ключевские вершины, сгруппированные вокруг центрального клинообразного конуса величественной

Ключевской сопки. Месяц тому назад я видел эти горы с палубы брига в семидесяти пяти милях от твёрдой земли и не ожидал, что увижу их вновь. С полчаса мы сидели с Доддом на берегу, машинально бросая камешки в воду и наблюдая, как восходящее солнце постепенно освещало далекия горы, и вспоминая приключения, которые мы испытали после отъезда из Петропавловска. Мой взгляд на сибирскую жизнь с тех пор, как я в первый раз увидел крутой, обрывистый берег Камчатки, много изменился к лучшему. Здесь я встретил то, чего никогда не мог ожидать от Сибири.

Тогда Сибирь была для меня неизвестная, таинственная страна ледников и снежных гор, где нельзя было ждать ничего хорошего среди одинокой, необитаемой пустыни. Теперь она не казалась мне более пустынной и неприветливой. Каждая горная вершина напоминала о каком-нибудь гостеприимном селении, гнездящемся у её подножья, каждый маленький ручеек был связан с каким-нибудь приятным воспоминанием из кочевой жизни. <...>

Думы мои были прерваны громкими ударами в оловянный артельный котёл, что служило сигналом к завтраку. Через полчаса завтрак был уничтожен, палатка убрана, походные вещи уложены и мы продолжали наш путь. В продолжении целого дня мы спускались вниз по реке к селению Ключи и любовались на горы, которые представлялись нам в различных живописных положениях, по мере того как мы достигли Козыревскаго выселка и, сменив команду, продолжали всю ночь наше путешествие. В пятницу, на разсвете, мы миновали Кресты и в два часа пополудни прибыли в Ключи, ровно через одиннадцать дней после выезда из Петропавловска.

Селение Ключи расположено среди открытой равнины на правом берегу реки Камчатки у самого подножья величественной Ключевской сопки. Оно ничем не отличается от других камчатских поселений, разве только живописной красотой своего местоположения. Оно расположено по середине группы величественных одиноких вершин, которые как бы стерегут вход в реку, и над ним почти постоянно в безветренную погоду висят облака густого чёрного дыма, извергаемого двумя вулканами. Ключи были основаны в половине XVIII в. несколькими русскими крестьянами, высланными из внутренних губерний России и снабжёнными семенами и земледельческими орудиями для основания колонии внутри Камчатки. Им предстояло сделать до места своего назначения более шести тысяч миль, и вот после долгаго, утомительнаго путешествия по Азии через Тобольск, Иркутск, Якутск и Колы-

му маленькая партия невольных переселенцев достигла, наконец, полуострова и поселилась у реки Камчатки под сенью огромного вулкана. Более сотни лет живут здесь потомки первых переселенцев, они давно уже забыли, каким образом сюда попали и по чьей воле были поселены. Несмотря на частые извержения двух вулканов, находящихся за селением, его никогда не пытались перенести на другое место, и жители его привыкли равнодушно относиться к предупредительному гулу, исходящему из глубины раскалённых кратеров, и к массам пепла, которыми нередко засыпаются их жилища и поля. Они никогда не слышали о Геркулануме и Помпее и не подозревают возможной опасности от густого облака дыма, в ясную погоду висящего над тупой вершиной Ключевской сопки, или от подземного грома, которым его меньший, но одинаково опасный сосед заявляет о себе в долгия зимняя ночи.

Быть может, пройдёт ещё столетие и никакое несчастье не обрушится над маленьким селением, но, слыша подземный гул Ключевской сопки на расстоянии шестидесяти миль и видя густые массы чёрного дыма, которая она по временам выбрасывает, я удивлялся риску камчадалов при выборе такого опасного места для своего жилья.

Ключевская сопка — один из самых высоких и самых деятельных вулканов из всей вулканической цепи, проходящей по северной части Тихого океана. С XVII столетия редкий год проходит без извержений, более или менее значительных. Даже теперь, в промежутке нескольких месяцев, она выбрасывает пламя и засыпает пеплом часть пространства полуострова и оба моря. Зимой снег часто бывает так засыпан пеплом на двадцать пять миль вокруг Ключей, что езда на санях делается почти невозможной. Несколько лет тому назад, по словам местных жителей, было необыкновенно сильное извержение. Оно началось среди тёмной зимней ночи громкими подземными ударами и колебаниями почвы, которые разбудили ключевских жителей и заставили их выбежать в испуге из домов. Высоко на тёмном зимнем небе на шестнадцать тысяч фут над их головами поднимался над кратером огненный столб с громадным облаком едкого дыма. Среди грома и тусклого света изнутри жерла расплавленная лава текла широкими огненными потоками по склонам покрытой снегом горы, пока они не соединились в одну пылающую массу, осветившую селения Кресты, Козыревское, Ключи, а также всю равнину на двадцать миль в окружности. Говорят, что это извержение покрыло полуостров на протяжении трёхсот вёрст слоем пепла в полтора

дюйма толщины! До сих пор лава не спускалась ниже снеговой линии, но я не вижу причины, почему она когда-нибудь не зальёт селение Ключи и русло Камчатки своим огненным потоком.

Насколько мне известно, до сих пор никто не взбирался ещё на вершину вулкана. Вышина его определена в шестнадцать с половиной тысяч футов, вероятно, только приблизительно. Но, во всяком случае, это высочайшая точка Камчатского полуострова, и скорее имеет более шестнадцати тысяч футов высоты, чем менее. Нам очень хотелось попробовать взобраться по ея снежному склону и заглянуть в дымящийся кратер, но для того нужно было бы употребить две или три недели, а у нас не было в распоряжении даже лишнего дня. Гора эта имеет форму правильного конуса, и вид ея из Ключей так обманчив, что последние три тысячи футов кажутся совершенно отвесными. На небольшом расстоянии от Ключевской сопки на юго-восток имеется ещё другой вулкан, название которого я не запомню и который соединяется с первой неправильно прерывающимся кряжем. Он не достигает вышины Ключевской сопки, но, вероятно, получает горючий материал для своего извержения из одного и того же источника и выбрасывает клубы чёрного угольного дыма, который на восток так застилает густыми облаками Ключевскую сопку, что иногда совершенно скрывает её из вида.

Нам отвели квартиру в Ключах в большом удобном доме старосты. Стены нашей комнаты были обиты ситцем с рисунками, потолок оклеен белым нитяным тиком, а простая сосновая чистенькая мебель была доведена до возможной степени чистоты и удобства. Картинка грубой работы, которую я принял за изображение Моисея, висела в углу в вызолоченной рамке. Скатерти американской фабрикации были разостланы на столах, горшки с цветами стояли за занавесками на окнах, маленькое зеркало висело на противоположной двери, стена и вся утварь и простыя украшения комнаты были расположены с таким вкусом и таким очевидным намерением произвести эффект, что оставалось только удивляться вкусу хозяина дома. Американское искусство также принесло свою дань на украшение этого домика — одна из дверей была увешана картинками из виргинской жизни. При этом я вспомнил известныя строки Поппа: «Предметы, которые мы видим, небогаты и нередки, но чудо, как они сюда попали». В таком удобном и приятном помещении мы с удовольствием провели остаток дня.

В Ключах мы должны были решить, по какой дороге продолжать наше путешествие на север. Самая короткая и во многих

отношениях самая удобная дорога была та, по которой обыкновенно ездят русские купцы — через центральную горную цепь к Тишмо, через проход Иоловку и далее по западному берегу полуострова до северной части Охотского моря. Единственное неудобство этого плана состояло в позднем времени года и возможности встретить глубокие снега в горных переходах. Нам предстояло выбрать или этот путь или продолжать из Ключей наше путешествие по восточному берегу до поселения, называемого Дранка, где горы понижались до размеров незначительных холмов, и переехать тогда в камчатское селение Лесное на Охотском море. Последний путь был длиннее, чем первый, но зато менее рискованный.

После долгих совещаний с туземцами, которые хотя и казались опытнее других в знакомстве со страной, но старательно избегали подробных разговоров, чтобы не брать на себя лишней ответственности, майор решил избрать Иоловский проход и приказал приготовить лодки к субботе, чтобы провести нас по реке Иоловке. Самое худшее, что могло с нами случиться во время этого путешествия — это невозможность перебраться через горы, но тогда мы успели бы вернуться в Ключи и попробовать другой путь ещё до начала зимы. Когда этот важный вопрос был решён, мы поспешили воспользоваться теми немногими удовольствиями, которые могли найтись в Ключах. Общественных развлечений, конечно, здесь не было, к тому же наше поношенное и полинявшее платье не особенно годилось для публичного гулянья, даже если бы оно и существовало в действительности.

Единственные замечательные места в селении, о которых мы могли узнать, были баня и церковь. И майор, и я отправились после обеда осматривать оба эти пункта, как приличествует настоящим современным туристам. По довольно понятной причине мы прошли сперва в баню. Паровая баня была для нас очень приятным развлечением, и если правда, что «опрятность ближе всего к благочестию», то, конечно, баня должна всегда предшествовать церкви. Я часто слышал, как Додд упоминал о «чёрных банях» камчадалов. Но, не зная хорошенько, что он хотел этим сказать, я смутно вообразил, что «чёрная баня» означала купанье в какой-нибудь чернильной жидкости камчатского изобретения, которая обладала особенными уничтожающими нечистоту свойствами. Я не думал, что существуют какие-нибудь иные причины называть баню «чёрною». Войдя, впрочем, в такую «чёрную баню» в Ключах, я увидел мою ошибку и тотчас же понял настоящий смысл этого прилагательного.

Оставив наши одежды в предбаннике, который должен был изображать уборную, но не имел нужных для того удобств, мы отворили обитую мехом дверь и вошли в настоящую баню, стены которой были так черны и мрачны, что вполне оправдывали своё название. При свете сальной свечи, тускло горевшей на полу, можно было разглядеть очертания низкой пустой комнаты, имеющей в квадрате десять футов, прочно выстроенной из неотёсанных брёвен, без всякого отверстия для света или воздуха. Стены и потолок были черны и покрыты копотью от дыма, которым комната наполнялась во время топки. Груда камней с пустотою внутри для разведения огня стояла на одном конце комнаты, а на другом находился ряд широких ступеней, никуда, по-видимому, не ведущих. Но вот огонь в печи погас, труба была закрыта и герметически замазана, а груда раскалённых камней распространяла такой сильный, сухой жар, который затруднял дыхание и возбуждал сильную испарину.

Домашний дух этого мрачного адского места мучений явился вскоре в лице длинноволосаго голаго камчадала, который начал плескать воду на раскалённые докрасна камни, пока те не зашипели, подобно локомотиву, и свеча замерцала голубым светом. Мне и ранее этого было жарко в бане, но тут сделалось совершенно невыносимо. Мои кости, кажется, таяли в этом жару. Доведя температуру комнаты до нестерпимой жары, туземец схватил меня за руку, растянул на первой ступени, облил меня с головы до ног горячим щёлоком и начал тереть так безцеремонно и старательно, как будто хотел превратить моё тело в его первоначальные составные части.

Я не буду описывать всё разнообразие и изобретательность мучений, которым я подвергался в продолжение следующих двадцати минут. Меня растирали, мяли, скоблили, окачивали холодной водой и обваривали горячей, секли берёзовыми вениками и терли мочалами, которых царапали, как обломки кирпичей, и, наконец, оставили перевести дух на самой верхней и самой жаркой ступени всей лестницы. Холодный душ закончил всю эту процедуру и все мои мучения. Я с трудом добрался до двери и начал одеваться. Скоро пришёл майор, и мы продолжали наш путь подобно двум теням.

Было уже поздно, и потому мы должны были отложить на неопределённое время осматривание церкви; мы имели уже достаточно развлечений в этот день и вернулись домой, довольные испытанной нами камчатской чёрной баней.

Вечер этого памятного для меня дня прошёл в разспрашивании жителей селения о северной части полуострова и об удобствах предстоящих странствований среди кочующих коряков, а в десять часов вечера мы уже улеглись спать для того, чтобы встать раньше на следующее утро.

Глава 12

*Плавание по Иоловке. Разговор вулканов. «О, Сюзанна!»
«Американский» язык. Трудное путешествие*

Во время нашего путешествия по Камчатке нам пришлось испытать много различных способов передвижения, и этой постоянной новизне и свежести впечатлений мы, может быть, обязаны тем, что наше трёхмесячное странствование по этой стране не показалось утомительным. Мы испытали по очереди удовольствие и неудобство китоловных судов, верховой езды, паромов, лодок, саней, запряжённых собаками и оленями, и лыж. При этом едва только один род путешествия начинал надоедать и утомлять нас, как приходилось заменять его другим.

В Ключах мы оставили наши паромы и подрядили камчатские челноки, или лодки, выдолбленные из брёвен и приспособленные к плаванию по реке Иоловке, против быстрого течения которой нам приходилось теперь итти. Замечательнейшая и в то же время удивительная особенность этих лодок состоит в том, что они имеют хроническое стремление перевертываться вверх дном и, по-видимому, без всякого к тому повода. Я слышал из достоверных источников, что одна лодка опрокинулась на Камчатке перед самым нашим приездом единственно по оплошности одного камчадала, который оставил в своём правом кармане нож и в то же время позабыл положить и в левый карман одинаковую тяжесть. Говорят, что камчадалы разделяют волосы пробором посредине головы единственно ради стремления сохранить равновесие тела во время плавания. Я мог бы, пожалуй, усомниться в этих фактах, если б не уверил меня в этом Додд, в безупречной правдивости которого я вполне убежден, тем более что важность предмета должна служить достаточной гарантией в неуместности подобной шутки с его стороны.

В субботу мы позволили себе проспать несколько долее, чем следовало, и только в восемь часов утра сошли на берег. При первом взгляде на маленькие лодки, которым вверялась наша судьба и интересы российско-американского телеграфа, мы почувствовали

некоторое изумление и даже страх. Один из нас, всегда отличавшийся быстрыми априористическими заключениями, сейчас же решил, что смерть от утопления будет неминуемым следствием путешествия на таком судне, и потому не решался отважиться на него. Рассказывают об одном великом полководце, что во время бурного переезда через Ионическое море он воодушевил своих матросов самолюбивым уверением, что они везут «Цезаря и его судьбу» и что поэтому с ними не может случиться никакого несчастья. Камчатский же цезарь, казалось, не очень доверял своей судьбе, но утешение явилось с другой стороны. Наш лодочник не сказал: «Успокойся, цезарь! Камчадал и его судьба везут тебя». Он уверил нас, что в продолжение нескольких лет он ездит по этой реке и ещё ни разу не тонул. Чего же оставалось желать Цезарю? Потолковав немного, мы разместились на медвежьих шкурах на дне лодок и отчалили от берега.

Все особенности природы окрестностей Ключей ничто в сравнении с величественной центральной фигурой Ключевской сопки, этого колосса Сибирских гор, остроконечная вершина которой со своим неподвижным облаком золотистаго дыма видна со всех сторон на сто миль в окружности. Все ближайшие живописные виды находятся в зависимости от нея и имеют значение настолько, насколько выставляют красоту этой величественной вершины, возвышающейся в снежном одеянии над зелёными долинами Камчатки и Иоловки и разстилающейся у ея подножия. «Наследник последних лучей заката и вестник утра» — высокий кратер вулкана — принимает розоватый оттенок много ранее, чем мрак и утренний полусвет рассеивается в долинах, и сохраняет его долее, чем солнце скроется за Тигильскими горами. Во всякое время и при всех обстоятельствах эта величественная гора из всех, какия я когда-либо видел, всегда или стоит освещённая лучами осеннего солнца, или окутывается в густыя массы чёрнаго вулканическаго дыма и глухим гулом предостерегает деревни, лежащая у ея подножия; или же, наконец, вечером собирает вокруг своей вершины серое облако тумана, спускающееся по склонам горы, представляющее среди прозрачной атмосферы колоссальный туманный столб в шестнадцать тысяч футов вышины, который стоит над основным лесом, занимающим пространство в пятьдесят квадратных миль.

Мы вошли в воды Иоловки около полудня. Река эта вливается в Камчатку с севера, двадцать вёрст ниже Ключей; берега реки низменны, болотисты и густо поросли ситником и осокой, которая

служить убежищем для уток, гусей и диких лебедей. Поздно вечером мы достигли туземного селения Харчина и тотчас же послали за знаменитым русским проводником Николаем Брагиным, которого мы надеялись уговорить провести нас через горы.

Повидавшись с Брагиным, мы узнали от него, что на прошлой неделе в горах выпал сильный снег, но, по его мнению, большая часть этого снега должна была растаять вследствие последних тёплых дней, и потому проход через них будет возможен. Во всяком случае, он готов попробовать провести нас. Успокоенные в этом отношении, мы оставили Харчину рано утром и продолжали наше плавание вверх по реке. Вследствие быстрого течения главной реки, мы свернули в один из множества протоков, или рукавов, на которые она делится, и медленно двигались в продолжение четырёх часов. Русло было извилисто и узко, так что вёслами можно было доставать с обеих сторон до берегов. В некоторых местах берёзы и ивы так сплетались над рекою, что роняли жёлтые листья на наши головы, когда мы проезжали под ними. Местами длинные сухие стволы свешивались с берега в воду и торчали из глубины потока, несколько раз казалось, что непроходимый сук преградит наш путь. Наш проводник, ехавший на лодке впереди нас, пел для развлечения какая-то однообразная камчатская песня, а мы с Доддом, напротив, оглашали воздух весёлыми звуками наших родных напевов. Когда, наконец, вокальные упражнения нам надоели, мы дружелюбно разместили наши ноги в узенькой лодке, легли на спины на наши медвежьи шкуры и заснули крепким сном, несмотря на плеск воды и скрип вёсел у самых ушей наших. Мы провели эту ночь на высоком песчаном берегу в десяти или двенадцати милях на юг от Иоловки.

Вечер был тёплый и тихий, и когда мы все сидели на медвежьих шкурах вокруг костра, курия и перебирая дневные приключения, наше внимание было вдруг привлечено глухим гулом, подобным отдалённому грому и сопровождаемым иногда взрывами.

— Что это? — спросил майор.

— Это, — сказал Брагин, медленно выпуская струйку дыма, — Ключевская сопка разговаривает с Сувайлической вершиной.

— Полагаю, что у них нет особенных секретов, — заметил Додд, — так как оне говорят довольно громко.

Гул продолжался ещё несколько минут, но Сувайлическая вершина ничего не отвечала на него. Эта несчастная гора необдуманно истратила всю свою вулканическую энергию в ранней молодости и лишена теперь голоса, чтобы отвечать громовым призывам

своего могущественного товарища. Было время, когда вулканы в Камчатке были так же многочисленны, как рыцари круглого стола короля Артура, и полуостров содрогался от их грохота. Но один за другим они истощили огненный поток своего красноречия, пока не осталась одна Ключевская сопка, которая тщетно призывает к своим прежним товарищам среди безмолвия длинных зимних ночей, не получая от них другого ответа, кроме слабого отклика своего собственного голоса.

На следующее утро меня разбудил весёлый напев «О, Сюзанна! Не плачь обо мне». Выбравшись из палатки, я был немало удивлён, когда увидел, что один из наших туземных лодочников барабанил на сковороде, весело припевая: «Сюзанна, не плачь!»

Нельзя было удержаться от смеха при виде одетого в звериные шкуры туземца в самом сердце Камчатки, который наигрывал на сковороде и пел «О, Сюзанна!» подобно классическому трубадуру. Я разразился громким смехом, чем вызвал Додда из палатки. Музыкант, воображая, что никто не слышит его музыкальных упражнений, остановился и робко оглянулся, как бы сознавая, что возбудил смех, но, не понимая, чем именно.

— Андрей! — сказал Додд. — Я не знал, что ты умеешь петь по-английски.

— Я не умею, барин, по-английски, — отвечал он, — я могу немного петь по-американски.

Додд и я снова захохотали, что ещё больше смутило бедного Андрея.

— Где же ты этому научился? — спросил Додд.

— Матросы китоловного судна выучили меня, когда я был два года тому назад в Петропавловске. Но разве это нехорошая песня, барин? — спросил он, очевидно, опасаясь, чтобы в ней не было чего-нибудь неприличного.

— Напротив, это прекрасная песня, — отвечал Додд успокоительно. — Знаешь ли ты ещё каких-нибудь американских слова?

— О, как же, барин, но я только не понимаю их значения.

И он произнёс несколько таких слов, которые вполне убедили нас, что он, действительно, не понимает их значения. Его познания в американском наречии были очень ограничены и, конечно, бесполезны, несмотря на это сам кардинал Меццофанти не мог бы более гордиться своими сорока языками, чем бедный Андрей своими «*Dam yerize*» и «*goaty hell*». Пока мы разговаривали с Андреем, Вьюшин развёл огонь и приготовил завтрак. Солнце уже осветило долину, и мы уселись вокруг нашего маленького свечного ящика и приня-

лись за какую-то селянку, которой Вьюшин особенно гордился, и пили горячий чай стакан за стаканом. Селянка, чёрствый хлеб и чай, иногда утка, изжаренная над огнём на острой палке, вот всё, что мы ели во время наших привалов под открытым небом. Только в селениях мы наслаждались такой роскошью, как молоко, масло, мягкий хлеб, варенье из лепестков розы и пироги с рыбой.

Позавтракав, мы снова заняли наши места в лодках и поплыли против течения, спугивая по временам уток и лебедей и срывая мимоходом ветки с дикими вишнями, низко склонившимися над водой. Около полудня мы вышли на берег и с туземным проводником пошли пешком по Иоловке, тогда как нашим лодкам предстояло обогнуть большой извив реки. Трава по берегу и по равнине была выше пояса, и потому идти по ней было утомительно. Но всё-таки нам удалось притти в деревню около часа ранее, чем покинутые нами лодки наши показались на реке.

Иоловка, маленькое камчатское селение, состоящее всего из десятка домиков, расположена между холмами возле горного прохода, носящего её имя, и на прямой дороге к Тагилю и западному берегу. Выше её нельзя уже плыть по реке Иоловке, и она служит также сборным местом всех партий, отправляющихся через горы. Предвидя затруднения в лошадях в этой маленькой деревне, майор выслал сюда из Ключей восемь или десять лошадей сухим путём, и они ожидали здесь нашего прибытия.

Всё почти послеобеденное время прошло в навьючивании лошадей и приготовлениях к отъезду, так что мы успели отъехать всего несколько вёрст от деревни, как уже пришлось подумать о ночлеге, и мы расположились на ночь у свежаго горного ключа. Погода стояла ясная и тёплая, но ночью стало пасмурно, и во вторник 19-го мы начали подниматься на горы при холодном северо-западном ветре с дождём. Дорога, если только можно назвать дорогой узкую тропинку, была отвратительна и вилась возле горного потока, вытекавшего из таящих снегов на вершинах и спускавшегося по утёсам ревущими каскадами в узкое тёмное ущелье. Тропинка шла по берегу потока сначала по одной стороне, потом по другой, между огромными глыбами вулканических утёсов и крутыми скатами, где вода бежала, как в мельничном потоке, среди непроходимой чащи сосен, между грудями валенника и вдоль узких выступов утёсов, где даже горный баран с трудом мог бы пройти. Смело ручаюсь, что в этом ущелье с двадцатью человеками можно продержаться против всех соединённых армий Европы.

Наши вьючные лошади скатывались по крутым берегам в поток, задевали за древесные стволы, спотыкались, резали себе ноги об обломки утёсов, перескакивали через ручьи и вообще совершали такие подвиги, на которые способны только привыкшие к тому камчатские лошади. Но вот, пытаясь сделать прыжок в восемь или десять футов через поток, я был сброшен с седла, и моя левая нога у самого подъёма зацепилась за маленькое железное стремя. Лошадь выбралась на противоположный берег и, испуганная, помчалась вдоль оврага, влача меня по земле за ногу. Помню, что я делал отчаянное усилие, чтобы освободить ногу и защитить мою голову, приподнявшись на локтях, но лошадь лягнула меня в этот момент в бок. С этой минуты я уже ничего не сознавал более и, только опомнившись, увидел себя лежащим на земле. Если бы не оторвался ремень у стремени, мой череп разбился бы, подобно яичной скорлупе, о выдающиеся утёсы. Я был совсем разбит и очень слаб, но кости, кажется, были все целы, и я поднялся без посторонней помощи.

Наш майор до сих пор сдерживал свой горячий нрав, но это вывело его из терпения, и он осыпал самой яростной бранью бедного Николая за то, что тот повёл нас через горы по такому ужасному проходу, и угрожал ему самым строгим наказанием, когда мы приедем в Тагиль. Напрасно Николай оправдывался, уверяя, что другого прохода нет; он должен был найти его, а не подвергать опасности жизнь людей, ведя их по этому проклятому оврагу, заваленному сломанными деревьями, лавой и глыбами вулканических утёсов! Если что-нибудь случится с одним из членов нашей партии в этом ущелье, поклялся майор, то он застрелит Николая на месте. Бледный и дрожащий от страха проводник поймал мою лошадь, починил ремень у стремени и отправился вперёд, чтобы показать нам, что сам он не боится идти по тому пути, по которому приглашает нас за собою следовать.

Нам пришлось не менее, как пятьдесят раз перескочить на наших лошадях горный поток на протяжении двух тысяч футов, чтобы избежать утёсов и скользких камней, которые являлись то на одном, то на другом берегу. Одна из наших вьючных лошадей совсем отказалась идти далее, другие тоже едва двигали ноги, когда, наконец, после полудня мы достигли вершины горы, возвышавшейся на четыре тысячи футов над уровнем моря.

Перед нами, полускрытое серыми тучами и туманом, лежало большое плоское пространство, покрытое слоем мягкого густого мха в восемнадцать дюймов толщины и пропитанное водой, подобно

огромной губке. Кругом не видно было ни деревца, ни кустика, ничего кроме мха. Холодный, пронизывающий ветер гнал с севера грозные тучи через пустынную вершину горы и полузамерзшие капли дождя били нас в лицо. Промоченные до костей восьмичасовым дождём, усталые и ослабевшие от долгого лазанья, с окоченевшими от холода руками и сапогами, полными ледяной воды, мы остановились, чтобы дать отдохнуть лошадям и решить, куда ехать. Всем нашим людям было дано по чарке водки, но её возбуждающее действие было до того парализовано холодом, что его едва можно было ощутить. Бедный иоловский староста в мокром платье, с посинелыми губами дрожал от холода, зубы его стучали, чёрные волосы мокрыми прядями висели по его бледным щёкам, он едва волочил ноги. С жадностью он выпил водку, которую подал ему майор, но все его тело тряслось, как в лихорадке.

Опасаясь, чтоб темнота не застала нас прежде, чем мы найдём себе убежище, мы направились к заброшенной полуразвалившейся «юрте», которая, по словам Николая, находилась в восьми верстах отсюда. Наши лошади на каждом шагу тонули по колена в этой трясине, так что мы еле двигались, и коротенькое пространство в восемь вёрст показалось нам бесконечным. Наконец, после четырёх часов утомительного путешествия, в продолжение которых мы странствовали среди шума облаков, при резком северо-западном ветре и тридцати двух градусах мороза мы, полузамёрзшие, добрались, наконец, до юрты.

Это была низенькая пустая хижина, выстроенная из брёвен и покрытая мхом и дёрном, так что походила наружностью на подвал. Часть одной стены была употреблена застигнутыми бурей путешественниками на костёр; её земляной пол был сырой от дождя, капающего через дырявую крышу; ветер и дождь тоскливо завывали в трубе; дверей не было вовсе, и вся она представляла печальную картину разрушения. Вьюшин оборвал ещё часть от обломанной стены, развёл огонь, повесил над ним котелок с чаем и внёс наш ящик с припасами под кровлю жалкой хижины. Я никак не мог добиться, откуда Вьюшин достал в этот вечер воды для чая, так как вблизи не было годного ручья, а вода, сочившаяся через крышу, была смешана с грязью. Сильно подозреваю, что он выжал её из мокрого мха, вырванного из тундры. Додд и я сняли наши сапоги, выплеснули из них воду, просушили ноги. Несмотря на то, что пар распространялся клубами от нашей мокрой одежды, мы в эту минуту ощущали даже некоторого рода удовольствие.

Вьюшин был в отличном расположении духа. Он в продолжение целого дня добровольно разделял труды наших проводников, неумоимо поднимал упавших лошадей, проводя их по опасным местам и воодушевляя упавших духом камчадалов. Теперь он стряхивал воду со своей рубашки и рассеянно выжимал свои мокрые волосы над котлом, где варился суп, с таким сияющим от удовольствия лицом и таким сердечным смехом, что никому не пришло в голову сердиться или жаловаться на усталость, холод и голод. Видя это весёлое лицо среди дымной атмосферы полуразрушенной юрты, слыша этот звонкий смех, мы сами начали невольно смеяться над нашими злоключениями и надеяться на лучшее будущее. После скудного ужина, состоящего из селянки, сушёной рыбы, чёрствого хлеба и чая, мы растянулись в самой мелкой луже, какую могли только найти, покрылись одеялами, плащами, пропитанными жиром простынями и медвежьими шкурами и, несмотря на мокрое платье и сырые постели, заснули крепким сном.

Глава 13

Холодное помещение. Величественный вид. Вторичная охота за медведем. Скачка с препятствиями. Прибытие в Тагиль

Ночью я проснулся, дрожа от холода и с окоченевшими ногами. От костра, разведённого накануне, осталось только несколько тлеющих головней, бросавших красный отблеск на закоптелых брёвна и, вспыхивая по временам, освещавших дрожащим светом тёмные углы юрты. Ветер печально завывал вокруг хижины, дождь стучал в стены и капал через сотню отверстий в крыше, как из решета, на мои уже без того мокрые одеяла. Я посмотрел вокруг себя. В хижине, кроме меня, никого не было. В первую минуту я не мог даже сообразить, где я и как сюда попал, но понемногу я припомнил наше вчерашнее путешествие и направился к дверям. Я увидел, что майор и Додд со всеми камчадалами раскинули палатки на влажном мхе и улеглись в них вместо того, чтобы оставаться в грязной юрте. В палатках было не суше, но я согласился с ними, что чистая вода лучше грязной, и, собрав свою постель, улёгся возле Додда. Ночью ветер повалил нашу палатку и подверг нас всем неприятностям бури, однако мы её вновь раскинули, подставили брёвна, вытасченные из стен юрты для поддержки её, и решились во чтобы то ни стало проспать в ней до самого утра.

Наружность наша была весьма плачевная, когда на другой день на разсвете вышли из палатки. Додд печально смотрел на своё

мокрое платье и сырые одеяла, все мы горячо сочувствовали ему и разделяли его грусть.

Наши промокшие и усталые лошади были оседланы на разсвете, а так как буря по всем признакам должна была скоро утихнуть, то, наскоро закусив, решили продолжать наш путь к западному краю плоской возвышенности, образуемой вершинами горной цепи. Вид с этого места в ясную погоду должен быть великолепный, так как с одной стороны видны Тагильская долина, а с другой — Тихий океан, долины Иоловки и Камчатки и вершина Ключевской сопки. Местами туман редел, и мы видели на несколько тысяч футов под нами реку Иоловку и дымящуюся вершущку далекаго вулкана, окутанную синеватым облаком. Но новые массы испарений, поднимавшиеся с Охотскаго моря на вершины гор навстречу нам, скрывали от наших глаз всё, исключая мокраго мха, по которому с трудом тащились наши измученные, голодные лошади.

С перваго взгляда казалось совершенно невероятным, чтобы человеческия существа могли жить на этом пустынном плоскогории на четырёх тысячах футов над уровнем моря, поросшим мхом, часто застилаемым облаками и туманами и подвергнутым частым дождям и метелям. Но оказалось, что кочующие коряки даже сюда пригоняют свои стада северных оленей и как бы наперекор стихии устанавливают и здесь свои палатки. Три или четыре раза в продолжение дня мы встречали на дороге груды оленьих рогов и кучки золы, указывающия на места, где были расположены палатки коряков, но толпы диких номадов, оставивших эти следы, по-видимому, давно уже покинули эти места и, быть может, теперь пасут свои стада на пустынных берегах Ледовитаго океана.

Густой туман, которым мы были всё время окружены, не дал нам возможности составить вернаго понятия о геологическом составе горной цепи, по которой мы проезжали, ни об обширности и характере этой громадной мшистой равнины, лежавшей так высоко между погасшими вулканическими вершинами. Я знаю только, что около полудня мы оставили тундру, как здесь называют эти поросшие мхом степи, и начали спускаться по дикой утесистой местности, где не видно было другой растительности, кроме тощих, одиноко растущих малорослых сосен. На протяжении десяти миль, по крайней мере, почва была завалена каменными плитами вулканическаго происхождения различной величины, от пяти кубических футов и до пятисот, и в величайшем беспорядке нагромождённых друг на друга. Общий вид местности свидетельствовал,

что в какой-то неизвестный геологический период небо низвергло на землю эти громадные каменные массы, пока земля не покрылась их обломками на пятьдесят футов толщины. Почти все эти массы имели две гладкия, плоския стороны и походили на ломти окаменелаго чёрнаго плутоническаго пудинга.

В полдень мы напильсь чаю и до вечера выехали на дорогу, по которой снова показались кусты, трава и ягоды. И в эту ночь, подобно предшествующей, нам пришлось разбить нашу палатку под бурей и дождём, а на разсвете 21-го мы продолжали спускаться по западному склону гор. Рано утром мы с радостью увидели свежих лошадей и людей, высланных нам навстречу из туземной деревни Седойка. Сменив наших усталых и хромавших лошадей на свежих, мы быстро поехали далее. К тому же и погода прояснилась, стало теплее, тропинка вилась у подножия холмов среди пожелтелых берёзовых рощ и крупной рябины, а когда солнце высушило наши промокшие платья, оживило и согрело окоченевшие члены, мы забыли наши беды, и весёлое расположение духа снова вернулось к нам.

В одной из предыдущих глав я говорил о нашей охоте за медведем в камчатской тундре; но так как то была простая стычка, в которой даже характеры действовавших в ней личностей не успели ярко обрисоваться, то я расскажу теперь ещё одно последнее приключение с медведем в Тагильских горах.

Около полудня, когда мы ехали по краю узкой долины, поросшей травой и окаймлённой густой рощей березняка, ольхи и сосен, один из наших извозчиков вдруг закричал: «Медведь!» — и указал рукой на большого чёрнаго медведя, беззаботно бродившаго по высокой траве в поисках брусники и постепенно приближающегося к тому краю оврага, где мы находились. Он ещё не заметил нас, и мы имели время организовать отряд, состоящих из двух камчадалов, майора и меня для нападения на зверя. Все мы были вооружены с ног до головы винтовками, топорами, револьверами и ножами. Пробираясь тихонько по роще, мы заняли удобную позицию на краю леса и, поместившись лицом к лицу с медведем, ожидали спокойно его приближения. Занятый своей брусничкой, не подозревая ожидающей его засады, медведь медленно и неуклюже переваливался на расстоянии пятидесяти шагов от нас. Камчадалы стали на колени, сняли с плеча свои длинныя тяжёлыя винтовки, воткнули в землю упоры своих копий, набожно перекрестились три раза, глубоко вздохнули, прицелились, закрыли глаза и выстрелили. Сначала раздалось продолжительное шипение, в про-

должении котораго камчадалы добросовестно не открывали глаз, а затем гром выстрелов известил нас о катастрофе, за которой немедленно последовали ещё два выстрела из карабинов — майора и моего. Когда дым рассеялся, я поспешил посмотреть поближе на предсмертные судороги животного, но каково же было моё удивление, когда вместо последней агонии, в которой каждый порядочный зверь должен был находиться после стольких выстрелов, медведь прямо нёсся на нас усиленным галопом.

Это был сюрприз, совсем непредвиденный в нашей программе. Мы не рассчитывали на контратаку, а ярость, с какою медведь пробирался сквозь кусты, не оставляла ни малейшаго сомнения насчёт серьёзности его намерений. В эту минуту я старался вспомнить какой-нибудь исторический факт, который оправдал бы моё спасение на дереве, но мозг мой был в таком возбуждённом состоянии, что все мои исторические познания исчезли, как дым. В самом деле, человек может знать наизусть весь Коран, но в минуту, когда его преследует лютый зверь, он не будет в состоянии вспомнить даже азбуку. Что мы сделали бы при последней крайности, неизвестно. Выстрел из револьвера майора изменил, кажется, первоначальный план действий медведя, и последний, повернув неожиданно в сторону, пробежал в кусты, в десяти шагах от дул наших незаряженных винтовок, и исчез в роще. Тщательно осмотрев листья и траву, мы не нашли на них ни малейших следов крови и должны были сознаться, что медведь ушёл от нас здоров и невредим.

Надо ли говорить, что охота на медведя с русской винтовкой представляет самое забавное и безвредное развлечение. Прежде чем раздастся выстрел, вы слышите какое-то шипение, в продолжение котораго зверь успеет отлично пообедать, пробежать пятнадцать миль по горам, скрыться в соседней области и покойно заснуть в своём логовище!

Мы расположились на ночлег под ветвями большой берёзы, в нескольких верстах от места, бывшего ареной наших подвигов, а рано утром в пятницу были на пути в Седойку. Не доезжая до деревни вёрст пятнадцать, Додд предложил ехать в галоп, чтобы испытать ретивость наших коней и разгорячить немного нашу собственную кровь. Так как у нас обоих были порядочные лошади, то я охотно согласился. Из всех наших скачек с препятствиями в Камчатке это была самая замечательная. Лошади скоро разгорячились наравне с седоками и понеслись через кусты, овраги, брёвна, утёсы и болота, как бешеные. Раз я упал с седла, задев

карабином за сучок, несколько раз мы оба едва не расшибли себе лбы о деревья.

Подъезжая к селению, мы увидели трёх или четырёх камчадалов, которые рубили дрова в недалёком расстоянии от нас. Додд испустил страшный крик, подобный бранному кличу индейского племени сиу, пришпорил свою лошадь, и мы, как молния, пронеслись мимо них. При виде двух загорелых иностранцев в синих рубашках, высоких сапогах и красных шапках, с пистолетами и ножами за поясом, которые неслись на них, подобно мамелюкам, во время битвы у пирамиды, бедные камчадалы бросили свои топоры и убежали в лес. Исключая того случая, когда я упал с седла, мы ни разу не останавливались до самой деревни, куда наши лошади прискакали все в мыле и тяжело дыша.

Всю следующую ночь мы плыли вниз по реке в Тагиль, куда мы прибыли, когда ещё было совсем темно, совершив, таким образом, в продолжение шестнадцати дней путешествия в тысячу сто тридцать вёрст.

О Тагиле у меня сохранились самые смутные и неопределённые воспоминания. Я помню только, что был поражён необыкновенным количеством шампанского, хереса, рому и водки, которое русские жители в состоянии выпить, и что Тагиль немного лучше остальных населённых пунктов и городов Камчатки. После Петропавловска это самое значительное поселение полуострова и торговый центр всего западного берега. Русский пароход и американское торговое судно каждое лето приходит к устью реки Тагиля с грузом ржаной муки, чая, сахара, платья, медных котлов, табаку и водки, которые и рассылаются потом по всему полуострову. Здесь главные склады Брагиных, Воробьёвых и других торговых фирм и сборное место многих чукчей и коряков. Так как нам не предстояло встретить на пути другого торгового пункта до самой Гижиги на севере Охотского моря, то мы решились остаться несколько дней в Тагиле, чтоб отдохнуть и пополнить наши запасы.

Теперь нам предстояла наиболее трудная часть нашего путешествия, как по неудобству самой местности, так и вследствие позднего времени года. Между Тагилем и степями кочующих коряков лежали семь камчатских поселений, а мы до сих пор не могли придумать удобного способа для проезда по этим негостеприимным пространствам до наступления зимы, когда можно будет ехать на оленях. Никакое описание не в состоянии дать правильного и верного понятия о поросших мхом сибирских степях тому, кто незнаком с жизнью на севере и сам не испытал хотя бы

часть тех препятствий, которым подвергаются в этих степях путешественники в летнее время.

Зимой, когда земля замёрзла и покрыта снегом, путешествие по ним может быть удобно, но летом они решительно непроходимы. На протяжении трёхсот или четырёхсот квадратных миль никогда не оттаивающая почва покрыта на два фута глубины густым роскошным ковром мягкого, губчатого арктического мха, напитанного водой и изредка усеянного малорослыми кустарниками брусники и лабрадорского чая. Почва никогда не высыхает совершенно, не делается никогда настолько твёрдой, чтобы нога могла ступать по ней. С июня до сентября всё это пространство представляет обширную трясику, в которой нога вязнет по колено, но лишь только вы вытаскиваете её, как почва снова поднимается с эластичностью губки, и не остаётся следа ваших шагов. Итти по такой трясине всё равно, что итти по огромной губке.

Причины, производящая этот необыкновенный и, по-видимому, ненормальный рост мха, те же, которые имеют такое могущественное влияние на развитие растительности везде, а именно: теплота, свет и влажность — и эти три деятеля в северном климате так сильны в продолжение летних месяцев, что придают каждому растению почти тропическую роскошь. Земля оттаивает весной на два фута глубины, а под ними находится вечно мёрзлая почва. Этот слой мерзлой земли мешает воде, происшедшей от таяния зимних снегов, уходить глубже в почву, и вода не имеет другого исхода, как медленное испарение, вследствие чего слой мха на поверхности всегда насыщен водой и, согреваемый непрерывно солнцем, в июне и июле достигает такого необыкновенно быстрого и роскошного роста.

Очень понятно, что путешествие летом по этому огромному пространству, покрытому мягким, напитанным водою мхом, весьма затруднительно и даже совсем невозможно. Лошадь на каждом шагу погружается по колена в эту губкообразную трясику и скоро выбивается из сил. Мы испытали уже пример подобного путешествия на вершине Иоловского прохода, и не удивительно, что мы с ужасом думали об огромных тундрах коряков в северной части полуострова, по которым нам предстояло ехать. Быть может, с нашей стороны было бы благоразумнее ожидать в Тагильске зимнего пути, но майор полагал, что, по распоряжению главного инженера, партия исследователей могла высадиться в опасной местности у Берингова пролива, и ему хотелось возможно скорее удостовериться в этом. Поэтому он решился во что бы то

ни было достигнуть границ корякской тундры и, если возможно, переехать её верхом.

В Тагильске была куплена китоловная лодка и отправлена с туземной командой в Лесновск, так что, в случае, если б нам не удалось пробраться через тундры коряков, мы могли бы проехать водой по северной части Охотского моря к Гижигу ещё до наступления зимы. Съестные припасы и меховая одежда были закуплены и упакованы в ящики, обшитые кожей, и всё, что только мы могли придумать для предохранения нас от дурной погоды и неудобств путешествия, было запасено в изобилии.

Глава 14

*Берег Охотского моря. Лесновск. Китоловная лодка
и сухопутная партия. «Чёртов проход».
Саманкские горы. Мятель. Дикая местность*

В среду 27 сентября мы отправились в путь в сопровождении двух казаков, переводчика, знающего корякский язык, восьми или десяти людей и четырнадцати лошадей. Накануне нашего отъезда шёл небольшой снег, но он не мог, в сущности, испортить дороги, а напомнил нам только, что зима близка и что нам нельзя рассчитывать на лучшую погоду. Мы поехали по берегу Охотского моря так быстро, как только было возможно, следуя то по дороге у самого взморья, то по лесистым холмам и долинам, которые тянутся от центрального горного хребта к берегу. Мы проехали селения: Аминяну, Ваиомпольское (Ваямпольское, или Ваямполка. — *Ред.*), Хуктана (Кахтана. — *Ред.*) и Поляну (Палану. — *Ред.*), переменяя лошадей и людей в каждой из них. Наконец, 3 октября добрались мы до Лесновска, последнего камчатского поселения на полуострове. Лесновск лежит, насколько мы могли приблизительно определить, под $59^{\circ}20'$ северной широты и $160^{\circ}25'$ восточной долготы, около ста пятидесяти вёрст на юг от степей коряков и около двухсот миль по прямой линии от Гижиги, которая в настоящую минуту была целью нашего путешествия.

До сих пор мы не встречали во всё время нашего путешествия по полуострову особенных затруднений, так как погода стояла хорошая и никакие препятствия не задерживали нас на пути. Теперь нам предстояло вступить в пустыню, совершенно необитаемую и мало знакомую даже нашим камчатским проводникам. На север от Лесновска большой центральный хребет Камчатских гор круто обрывался у Охотского моря длинным рядом уступов

и возвышался утёсистой стеной между нами и степями кочующих коряков. Даже и летом трудно переехать на лошадях через эту горную цепь, а теперь было ещё хуже, так как горные ручьи превратились от дождей в ревущие потоки и каждую минуту приходилось ждать метелей. В Лесновске камчадалы объявили нам положительно, что напрасно было бы пытаться переехать эти горы, пока реки не замёрзли и снег не выпал настолько, что можно было бы ехать на санях, и притом они и сами не намерены для подобного предприятия рисковать жизнью пятнадцати или двадцати лошадей, не говоря уже о собственных особах. Майор объяснил им очень выразительно, если и не совсем учтиво, что он не верит ни одному слову из всего этого вранья, что горы необходимо переехать во что бы то ни стало и что они должны ехать и поедут. Им до сих пор, вероятно, никогда не случалось иметь дело с таким решительным и настойчивым человеком, как майор. После некоторых совещаний они согласились сопровождать нас с восемью ненавьюченными лошадьми с условием оставить все наши вещи и тяжёлые походные принадлежности в Лесновске. Сначала майор не хотел и слышать об этом, но, приняв в соображение наше положение, решился разделить наш небольшой караван на две партии: отправить одну водой на китоловной лодке с тяжёлой кладью, а другую — через горы с двадцатью ненавьюченными лошадьми. Предполагалось, что дорога через горы пойдёт возле самого морского берега, так что у сухопутной партии будет всё время в виду китоловная лодка, а в случае, если одна из партий встретит какое-нибудь затруднение или препятствие на пути, то другая будет всегда в состоянии оказать ей помощь. Почти на половине горной дороги, на запад от главного кряжа, по словам жителей, должна была находиться маленькая речка по имени Саманка, устье этой речки назначалось сборным пунктом для обеих партий, в случае, если они потеряют друг друга из вида во время вьюг или туманов.

Майор решился ехать с Доддом на китоловной лодке и вручил мне начальство над сухопутной партией, состоящей из нашего лучшего казака, Вьюшина, шести камчадалов и двадцати лошадей без всякой поклажи. Тогда обе партии запаслись флагами, затем придумали условные знаки. Вся тяжёлая кладь была перенесена на китоловное судно и на большую лодку, обитую тюленьей шкурой. 4 октября рано утром я простился с майором и Доддом, и они отчалили от берега. Когда лодка скрылась за выдающейся скалой, мы сели на лошадей и быстро поехали через долину

к горному проходу, за которым начиналась «степь». Дорога первые десять или пятнадцать вёрст оказалась очень хорошею, но я был крайне удивлён, заметив, что она прямо углублялась в горы, в противоположном направлении от моря, вместо того, чтоб идти вдоль морского берега. Я начал опасаться, что наши планы о содействии друг другу не могут осуществиться. Сообразив, что китоловная лодка недалеко уйдёт в первый день с помощью одних вёсел без малейшаго ветра, мы рано остановились для ночлега в узкой долине между двумя параллельными горными кряжами. Взобравшись на небольшую гору позади нашей палатки, я начал искать глазами море, но мы находились на расстоянии, по крайней мере, пятнадцати вёрст от берега, а вид его был заслонён от нас рядом промежуточных остроконечных вершин, из которых многия достигали высоты вечных снегов. В эту ночь я почувствовал себя одиноким, не видя весёлого лица Додда у нашего очага, не слыша его живых острот, смешных рассказов и добродушных шуток, что до сих пор оживляло длинные, скучные часы нашей кочевой жизни. Если Додд мог прочесть мои мысли в этот вечер, когда я сидел в величественном одиночестве у огня, он порадовался бы, увидав, что его общество достойно оценено, а его отсутствие так ощутительно. Вьюшин особенно хлопотал над приготовлением моего ужина. Добрый малый делал всё, что мог, лишь бы только оживить одинокую трапезу рассказами и забавными воспоминаниями о путешествии по Камчатке, но незатейливые котлеты из дичины, казалось, утратили свой обычный вкус, а русские истории и остроты оставались для меня непонятными.

После ужина я лёг на мою медвежью шкуру и заснул, любуясь, как полная луна восходила над изрытой вершиной вулкана на восточной стороне долины.

На другой день мы должны были ехать по узкой, извилистой долине между горами, по мшистому болоту и через глубокий узкий заливце, пока не добрались до развалившейся хижины, выстроенной в земле, почти на полдороге между Лесновском и рекою Саманкой. Здесь мы ели за завтраком сушёную рыбу с чёрствым хлебом. Затем под проливным дождём продолжали путь вверх по долине, окружённые со всех сторон утёсами, снежными вершинами гор и потухшими вулканами. Дорога ухудшалась с каждой минутой. Долина постепенно суживалась и превращалась в дикое утесистое ущелье, на дне которого бежал бурливый горный поток, разбиваясь белой пеной об острые чёрные утёсы и падая великолепными каскадами с уступов, образованных лавой. Каза-

лось, что даже серне негде было бы ступить на чёрном краю этого «Чёртова прохода», но наш проводник уверял, что он и прежде несколько раз уже проходил по этому месту и, слезши с лошади, осторожно повёл её по узкому каменистому выступу вдоль утёса, котораго я сначала и не заметил.

Мы преследовали за ним, то спускаясь почти до берега ручья, то поднимаясь снова, пока ревущий поток не очутился, наконец, на пятьдесят футов ниже нас, и мы, протянув руку, могли бросать камни прямо в пенящуюся воду. Понадеясь слишком на ловкость моей лошади, я, не сходя с нея, беззаботно пустился вдоль ущелья и едва не поплатился жизнью за такую неосторожность. На половине дороги, где тропинка поднималась всего на восемь или десять футов над потоком, часть выступа обрушилась под ногами лошади, и мы вместе с ней полетели через утёсы в русло потока. Из предосторожности я ещё прежде освободил мою ногу из коварнаго стремени и при падении сделал усилие отлететь в сторону, чтобы не быть раздавленным моей лошадьёю. Я первый упал в поток и едва уберёг голову от копыт животного, пока оно пыталось встать на ноги. Моя лошадь отделалась несколькими ранами и ушибами, но серьёзных повреждений не было. Подтянув подпругу, я пошёл по воде и повёл за собой моего коня, пока не выбрался опять на тропинку. Тогда, сев снова на лошадь, весь мокрый и с несколько разстроенными нервами, я поехал далее.

Перед самыми сумерками мы достигли такого места, где путь казался совершенно отрезанным рядом высоких гор, пересекавшим долину. Это был центральный кряж Саманкских гор. Я с удивлением оглянулся на проводника, который, указывая прямо на горы, объявил, что дорога шла именно здесь. Берёзовая роща покрывала до половины горный склон, а за нею тянулись низенькие зелёные кусты, малорослые сосны и, наконец, выше, — голые чёрные утёсы, на которых даже не находилось места для оленьяго мха, где бы он мог пустить корни. Я не удивился более решительному отказу камчадалов итти по этому пути с навьюченными лошадьми и начал уже сомневаться в возможности перейти это место теперь без всякой клажи, хотя я уже и успел привыкнуть к горным дорогам. Я решил остановиться здесь на ночь, чтобы дать отдохнуть хорошенько и людям, и лошадям и запастись новыми силами для предстоящаго нам труднаго пути.

Скоро совсем стемнело, дождь продолжал лить потоками, так что мы не могли даже просушить нашего промокшаго платья. Мне сильно хотелось выпить водки, чтобы согреть мою застывшую

кровь, но я забыл второпях фляжку с водкой в Лесновске и должен был ограничиться горячим чаем. Моя постель, обёрнутая в клеёнку, была, по счастью, совершенна суха, и, завернув сначала ноги в медвежью шкуру, я покрылся несколькими тёплыми тяжёлыми одеялами и улёгся покойно и удобно, насколько это было возможно в моём положении.

На следующее утро Вьюшин рано разбудил меня, объявив, что идёт снег. Я быстро вскочил и, приподняв полотно палатки, взглянул наружу. Случилось именно то, чего я опасался. Была сильная снежная вьюга, и природа внезапно облеклась в своё печальное зимнее одеяние. Снег в долине выпал на три фута глубины и на горах также его нанесло немало, и там он, вероятно, был ещё глубже. Я колебался с минуту, благоразумно ли ехать через горы в такую погоду, но, наконец, приказал двинуться в путь, чтобы добраться, по крайней мере, до реки Саманки. Нерешительность с моей стороны могла бы повредить успеху нашей экспедиции. По предшествующему опыту, я знал, что вьюга не мешает майору привести в исполнение его намерение, и если ему удастся достигнуть реки Саманки раньше меня, то я никогда не буду в состоянии поправиться после этого поражения и убедить его, что англо-саксонская кровь не хуже славянской. Вследствие этого я велел готовиться к походу, и лишь только лошади были собраны, как мы двинулись к подошве горной цепи. Выехав из долины, мы не успели сделать и двухсот шагов, как были встречены сильным ураганом с северо-востока, который нёс ослепляющие массы снега с горных скатов прямо нам в лицо, так что земля и небо смешались и исчезли в огромном белом вихре снега. Подъём сделался вскоре таким крутым и утёсистым, что нельзя было ехать далее. Мы должны были сойти с лошадей и, пробираясь осторожно через глубокие рыхлые сугробы и карабкаясь с трудом по острым выдающимся скалам, которые прорезывали наши сапоги из тюленьей кожи, медленно тащили за собой лошадей. Так мы прошли около тысячи футов, но, наконец, я так устал, что должен был остановиться и сесть. Снег во многих местах был до пояса, и надобно было беспрестанно понуждать лошадь, чтобы заставить её идти вперёд.

Отдохнув несколько минут, мы пошли далее, и через час нам удалось добраться, наконец, до вершины кряжа на высоте две тысячи футов над уровнем моря. Здесь почти невозможно было противостоять ярости ветра. Густые массы снега не позволяли различать предметы на расстоянии нескольких шагов, нам каза-

лось, что мы стояли на каком-то обломке мира в бурном вихре снежных хлопьев, резавшем лицо. По временам чёрный вулканический утёс, неприступный, как вершина Маттергорна, показывался в белом тумане над нашими головами, точно повиснув на воздухе и придавая на мгновение поразительно дикий вид окружающей местности. Потом он снова исчезал в вихре снега, и мы напрасно старались разглядеть его в пространстве. Длинная бахрама ледяных сосулек украшала козырёк моей шапки, моё платье, намоченное вчерашним дождём, замёрзло и превратилось в твёрдую ледяную броню. Слеплённый снегом, с окоченелыми членами и стуча зубами, я сел на лошадь и дал ей волю итти, куда ей вздумается, умоляя только проводника не медлить и поскорее увести нас из этой открытой местности. Но напрасно он старался, заставляя свою лошадь итти навстречу вьюге. Ни крики, ни удары не могли принудить её обернуться, и он должен был, наконец, уступить и поехать вдоль кряжа в восточном направлении. Мы спустились в сравнительно защищённую долину, поднялись на другой хребет, ещё выше первого, обогнули коническую вершину, на которой дул сильнейший ветер, спустились в другое глубокое ущелье, опять взобрались на горный кряж, пока, наконец, я решительно не потерял путеводной нити, не знал, в каком направлении мы шли и не имел ни малейшего понятия о том, где мы находились. Я сознавал только одно, что мы полузамерзли от холода и брели по какой-то гористой местности.

В продолжение последнего получаса я заметил, что наш проводник часто и тревожно советовался с другими камчадалами насчёт дороги. По-видимому, он сам не знал наверное, куда нам итти. Наконец, он подошёл ко мне с мрачным лицом и сознался, что сбился с пути. Я не мог укорять бедного малаго за то, что он потерял дорогу в такую вьюгу, и сказал ему только, чтобы он постарался идти по направлению к реке Саманке. Если нам удастся найти защищённую долину, то мы остановимся в ней в ожидании лучшей погоды. Мне хотелось также предостеречь его, чтобы он не вёл нас слишком близко к краям обрывов, но я плохо знал порусски и не мог хорошо объяснить ему моего желания. В продолжение двух часов мы бродили безцельно, то поднимаясь на вершины, то спускаясь в небольшие долины, по-видимому, всё больше и больше углубляясь в горы, но всё-таки не находя нигде убежища от вьюги. Необходимо было принять какое-нибудь решение, потому что иначе нам всем угрожала опасность замёрзнуть на дороге. Я позвал проводника, сказал ему, что сам буду

указывать путь и, открыв мой маленький карманный компас, объяснил ему, в каком направлении находился морской берег. Он с тупым удивлением посмотрел на маленький медный ящичек с дрожащей в нём стрелкой и вскричал с отчаянием:

— Ах, барин! Как может компас знать что-нибудь об этих проклятых горах? Ведь компас никогда ещё не был здесь. Я всю жизнь брожу по этим горам и, прости мне Господи, не знаю, где теперь море.

Несмотря на голод, страх и холод, я не мог не улыбнуться, услыша мнение проводника, что компас, никогда не путешествовавший по Камчатке, не может знать и дороги по ней. Я уверял его, что компас молодец своего дела и всегда найдёт дорогу к морю во время бури, но он мрачно покачал головой, как будто мало верил в его искусство, и отказался идти по тому направлению, которое я указал. Не имея возможности заставить мою лошадь идти против ветра, я сошёл с нея и с компасом в руке повёл её по направлению к морю. За мной следовал Вьюшин, закутанный с головой в медвежью шкуру и походивший скорее на какого-то дикаго зверя, чем на человека. Проводник, видя наше полное доверие к компасу, согласился, наконец, следовать за ними. Мы подвигались очень медленно, так как снег был глубок, члены наши окоченели, и сильный ветер дул прямо нам в лицо. Около полудня мы очутились на самом краю занесённого снегом обрыва, в полтора футах глубины. У его подножия бушевало море и разъярённые волны заглушали своим рёвом вой ветра.

Я никогда не мог бы себе представить такого дикаго пустынного ландшафта. Позади и вокруг нас виднелись белья вершины, над которыми повисло серое, безжалостное небо. Местами торчали сосновые сучья и чёрные обломки скал, представляя резкую противоположность с мертвенной белизной снежных гор. Перед нами внизу волновалось и пенилось море, волны разбивались с глухим плеском о чёрный утёс. Снег, вода, горы, а на переднем плане маленькая группа обледенелых людей и косматых лошадей, устремивших взоры на море с высоты могущественного утёса. Это была незатейливая, простая, но красноречивая картина. Проводник наш, глядя пристально на тёмный обрывистый берег в надежде найти какой-нибудь знакомый предмет, обратился, наконец, ко мне с просветлевшим лицом и попросил показать ему компас.

Я развинтил крышку и показал ему синюю дрожащую стрелку, обращённую к северу. Он осмотрел её с любопытством и с очевидным уважением к её таинственной силе и сказал, что это действи-

тельно «мастер своего дела». Он пожелал узнать, всегда ли компас указывает море. Я старался объяснить ему свойство и употребление этого снаряда, но это было выше его разума, и он отошёл с твёрдую уверенностью, что в маленьком медном ящичке заключается что-то сверхъестественное, почему стрелка всегда может указывать путь к морю, даже в стране, в которой он никогда не бывал прежде.

После полудня мы поехали по направлению к северу, стараясь не удаляться от морского берега, огибая отдельные вершины и перейдя через девять невысоких горных кряжей. В продолжение всего этого дня я имел случай наблюдать странное явление, о котором читал в «Альпийских ледниках» Тиндалля: это тот голубоватый свет, который, кажется, наполняет каждое маленькое углубление в снеге. Углубление, сделанное длинной, тонкой палкой, так светилось, как будто было наполнено тёмно-голубым паром. В течение моего трёхлетнего путешествия на севере это явление никогда не было так заметно, как в этот раз.

Когда уже совсем стемнело, мы спустились в глубокую пустынную долину, которая, по словам нашего проводника, выходила к морю возле устья реки Саманки. Здесь не было снега, но шёл проливной дождь. Нельзя было предполагать, чтобы майор и Додд могли достигнуть назначенного сборного пункта в такую бурю, но, приказав людям разбить палатку, я всё-таки поехал с Вьюшиным к устью реки, чтобы удостовериться, там ли китоловная лодка или нет. Было слишком темно для того, чтоб можно было ясно различать предметы, но мы не нашли никаких следов человеческих существ на берегу и возвратились обратно. Никогда ещё мы не садились в палатке за ужин и не завертывались в наши медвежьи шкуры с таким удовольствием, как после этого утомительного дня. В продолжение сорока восьми часов мы пробыли в мокрых и обледенелых платьях и около четырнадцати часов кряду или ехали верхом, или шли пешком без горячей пищи и без отдыха.

Глава 15

*Продолжение бури. Голод. Известия о китоловной лодке.
Возвращение в Лесновск*

В субботу рано по утру мы направились к входу в долину и разбили там палатку так, чтобы нам было видно устье Саманки. Кроме того, мы укрепили палатку так, чтобы ветер её не снёс, и решились

ждать появления китоловной лодки в течение двух дней, как у нас это было условлено заранее.

Буря продолжалась, и свирепые волны, разбивавшиеся о берег целый день, убедили меня, что мы напрасно поджидаем китоловного судна. Я надеялся, что оно успело укрыться где-нибудь в бухте ещё до начала бури. Если же не успело, то оно должно было непременно или пойти ко дну со всем экипажем, или же разбиться об утёсы.

К вечеру Вьюшин изумил и привёл меня в отчаяние, объявив, что наши запасы совершенно истощились; говядина вся вышла, а от хлеба остались только корки. Вьюшин и все камчадалы твёрдо надеялись застать китоловное судно уже в устье Саманки, а потому захватили с собой продовольствия всего на три дня, ничего не сказав мне об этом.

Мы были в трёх днях пути от ближайшего селения. А как воротиться в Лесновск? Теперь, вероятно, горы были непроходимы, потому что шёл постоянно снег. Но как ни опасен этот переход через горы, всё-таки необходимо было попытаться счастья, не теряя ни минуты. Правда, мне приказано было ждать китоловного судна два дня, но я полагал, что обстоятельства совершенно оправдывали моё слушание, и приказал камчадалам приготовиться к отъезду в Лесновск на следующее же утро. Затем я написал майору записку и положил её в жестяную фляжку, которую намеревался оставить на месте нашего лагеря. Покончив эти дела, я залез в свой меховой мешок и заснул, думая подкрепить свои силы для трудного путешествия через горы.

Следующее утро было холодное и бурное, снег валил в горах, а дождь лил в долинах. На развете мы сняли палатку, разделили между собою багаж, как могли добросовестнее, и приняли все меры, необходимые для борьбы со снегом и непроходимыми дорогами по горам. Наш проводник, посоветовавшись со своими товарищами, предложил нам отказаться от перехода через горы, а попытаться проехать тридцать миль во время отлива по узкому берегу. Он утверждал, что этот путь представлял менее опасности, чем проезд через горы, и более шансов на успех, так как там мало было пунктов, по которым лошадь не могла бы пройти, как посуху.

Было всего только тридцать миль до ущелья, находящегося в южной цепи гор, где нам придётся удалиться от берега и ехать по нашей старой дороге, так что в один день мы достигнем Лесновска. Конечно, всё пойдёт хорошо, если мы во время достигнем ущелья, а если нет, то вода зальёт берег на десять футов глубины,

и наши лошади, если не мы сами, будут унесены в море, как лёгкие пробки. Дерзкая смелость этого предложения делала его гораздо привлекательнее трудного странствования по снежным сугробам в замёрзших платьях без всякой пищи. Я с удовольствием согласился на него и приписал нашему проводнику более смысла и находчивости, чем до сих пор встречал между камчадалами. Отлив только что начинался, и нам нужно было ещё подождать три или четыре часа, пока вода сбудет настолько, что можно проехать по берегу. Время это не пропало даром у камчадалов. Они поймали одну из собак, которая провожала нас из Лесновска, зарезали её самым хладнокровным образом своими длинными ножами и принесли её тощее тело в жертву злему духу, в ведении которого, по их понятиям, находились эти проклятые горы. Бедному животному вскрыли живот, вынули внутренности и бросили их на все четыре стороны, а тело его повесили за задние ноги на вершину высокога шеста, воткнутаго отвесно в землю.

Но гнев злого духа казался неукротимым, потому что буря ещё более усилилась после этих умиловительных обрядов, что, впрочем, не поколебало веру камчадалов в действительность их примирительных жертв. Если буря не утихала, то единственной причиной тому был неверующий американец, который со своим дявольским медным ящичком, называемым «компас», настоял на том, чтобы перейти через горы, несмотря на «местнаго духа» и его грозныя предостережения. Одна умерщвлённая собака не могла служить достаточным возмездием за такое святотатственное нарушение воли злого духа! Впрочем, жертвоприношение уменьшило, кажется, опасения туземцев на счёт их собственной безопасности, и хоть мне было очень жаль бедную собаку, заколотую так безжалостно, но я с удовольствием увидел, что это подействовало благотворно на упавший дух моих столь суеверных спутников.

Около десяти часов, насколько я мог судить, не имея часов, наш проводник осмотрел берег и объявил, что пора идти в путь. Нам оставалось четыре или пять часов, чтоб доехать до ущелья. Мы поспешно вскочили на лошадей и быстрым галопом пустились вдоль берега под сенью грозных, чёрных утёсов с одной стороны, и под солёными брызгами волн с другой. Огромныя массы зелёной тины, водорослей и раковин, тысячи медуз и обломки дерев, выброшенные бурей, лежали грудами вдоль берега. Но мы неслись через всё это в бешеном галопе, останавливая наших лошадей только тогда, когда нужно было пробираться между огромными каменными глыбами, скатившимися с вершины скал, которых

местами загромождали берег серыми обломками в семь и более футов вышины.

Первые восемнадцать миль мы проехали совершенно благополучно, но вдруг Вьюшин, ехавший впереди, остановился так внезапно, что едва не упал с лошади, и мы услышали знакомый крик: «Медведь! Медведь! Два!» Действительно, два медведя, казалось, пробирались по берегу на четверть мили впереди нас, но как попали медведи в это отчаянное положение, где они должны были неизбежно потонуть через два или три часа, этого мы не могли понять. Впрочем, для нас это не делало никакой разницы. Ясно было, что медведи здесь и мы должны проехать мимо них. Очевидно, одна из двух партий должна была попасть на завтрак другой. Разойтись было невозможно, так как между скалами и морем оставалась только узенькая полоска земли. Я всыпал новый заряд в мой карабин и положил дюжину запасных зарядов в карман, Вьюшин вложил две пули в свою двуствольную винтовку, и мы стали осторожно пробираться вдоль скал, желая выстрелить в медведей прежде, чем они нас увидят. Мы подъехали уже довольно близко, как вдруг Вьюшин разразился громким смехом и закричал: «Это люди!» Когда они вышли из-за утёса, я тоже убедился, что это были люди. Но как они пришли сюда? Два туземца, одетые в звериные шкуры, приближались к нам, размахивая руками и крича нам по-русски, чтоб мы не стреляли. В то же время они показывали нам на что-то белое, подобное парламентарскому флагу.

Когда они подошли поближе, один из них подал мне с низким поклоном сырой, грязный клочок бумаги, и я узнал в нём одного из знакомых мне камчадалов из Лесновска. Они были посланы майором. Слава Богу, партия их не погибла! Я развернул бумагу и прочёл поспешно: «Морской берег, пятнадцать вёрст от Лесновска, 4-го октября. Выброшены сюда на берег бурю. Поезжайте назад, как можно скорее. *С. Абаза*».

Камчатские посланные выехали из Лесновска только днём после нас, но были задержаны вьюгой и дурными дорогами и только в прошлую ночь добрались до нашего второго лагеря. Не видя возможности переехать горы вследствие глубокого снега, они оставили своих лошадей и пытались дойти пешком до реки Саманки по морскому берегу. Они не надеялись исполнить этого во время одного отлива, но думали приютиться на высоких скалах, когда начнётся прилив, и продолжать своё путешествие, лишь только вода станет снова убывать. Нечего было тратить времени на дальнейшие объяснения. Вода быстро прибывала, а мы должны были

сделать двенадцать миль менее чем в час времени или лишиться наших лошадей. Мы посадили усталых, промокших камчадалов на двух свободных коней и снова отправились в путь крупной рысью. По мере приближения к ущелью наше положение делалось всё более и более критическим. У каждой выдающейся скалы вода становилась всё выше, и в некоторых местах она уже покрывала брызгами и пеной подножие утёсов. Наши лошади шли бодро вперёд, уже только одна выдающаяся скала отделяла нас от ущелья. Море бурлило возле нея так, что мы проскакали несколько футов по воде, и через пять минут бросили поводья у входа в ущелье. Путешествие было трудное, но мы приехали на десять минут ранее, чем ожидали, и находились на южной стороне снежного горного кряжа менее чем в шестидесяти милях от Лесновска. Без сметливости и смелости нашего проводника мы бы теперь ещё вязли в снегу и блуждали между дикими вершинами гор, десять миль южнее Саманки. Ущелье, по которому пролегал наш путь, было завалено каменными глыбами, покрыто непроходимой чащей сосен и ольхой. Мы в продолжение двух часов должны были прорубать себе топорами дорогу со страшным трудом. До сумерек, впрочем, мы достигли того места, где останавливались на второй день нашего отъезда из Лесновска. Около полуночи мы приехали в юрту, в которой завтракали пять дней тому назад. Утомлённые четырнадцатичасовой ездой без отдыха и пищи, мы не могли идти далее. Я надеялся найти что-нибудь съестное у камчадалов, посланных из Лесновска, но оказалось, что их запасы уничтожены совершенно ещё накануне. Вьюшин собрал горсть грязных хлебных крошек из нашего пустого мешка с хлебом, обжарил их в ворвани, которую употреблял, кажется, для смазки своего ружья, и предложил мне это кушанье, но, несмотря на голод, я не решился отведать этой чёрной, жирной массы, так что он разделил её между камчадалами.

Второй день уже я ничего не ел, что не замедлило оказать на меня свое действие. Я почувствовал сильную жгучую боль в желудке. Я старался успокоить голод семенами сосновых шишек и огромным количеством воды, но ничто не помогало, я так ослабел к вечеру, что не мог держаться на лошади.

Около двух часов после того, как смерклось, мы услышали вой собак в Лесновске и через двадцать минут въехали в селение, явились к маленькому бревенчатому домику старосты и предстали перед майором и Доддом в то время, когда они сидели за ужином. Так окончилась наша неудачная экспедиция в Саманския

горы — самое трудное путешествие, которое я когда-либо совершал в Камчатке.

Два дня спустя, тревоги и страдания, которые майор претерпел за свою пятидневную стоянку на морском берегу во время бури, явились причиной сильного ревматизма и лихорадки, и всякая мысль о дальнейшем путешествии была покуда невозможна. Почти все лошади в селении были неспособны к продолжению пути. Наш саманский горный проводник почти ослеп от воспалительной рожы, сделавшейся у него от сильного ветра, которому он подвергался целых пять дней. Словом, половина нашей партии никуда не годилась. При таких обстоятельствах нечего было и думать о переходе через горы до наступления зимы. Додд и казак Миронов были посланы обратно в Тагиль за доктором и новыми съестными припасами, а Вьюшин остался со мной в Лесновске, чтобы не оставить майора одного, так как он, вследствие своего болезненного состояния, нуждался в посторонней помощи.

Глава 16

Вечерняя развлекения камчадалов. Народ. Рыба. Меха. Язык. Музыка. Песни. Сани, запряжённые собаками. Одежда

После нашей неудачной попытки перебраться через Саманские горы нам не оставалось другого выбора, как только терпеливо ждать в Лесновске, пока реки замёрзнут и снег будет настолько глубок, что нам можно будет отправиться в Гижигинск в санях, запряжённых собаками. Это была продолжительная и скучная задержка. Я почувствовал в первый раз одиночество во всей его силе и тоску по родине, по домашнему очагу и по цивилизованному миру. Майор всё ещё был очень болен и в бреду постоянно говорил об успехах нашей экспедиции, о переезде через горы, о путешествии в Гижигинск на китоловном судне и давал несообразные приказания Вьюшину, Додду и мне насчёт лошадей, саней, лодок и съестных припасов. Мысль приехать в Гижигинск до начала зимы исключительно занимала его мозг. В продолжение его болезни время до возвращения Додда казалось мне очень длинным и скучным. Делать мне было решительно нечего, почти всё время я сидел в бревенчатой комнате, в окнах которой вместо стекол были натянуты рыбы пузыри, и углублялся в чтение Шекспира и Библии, пока не выучил их наизусть. В хорошую же погоду я с ружьём за плечами бродил целые дни в горах, преследуя северных оленей и лисиц, но охота редко удавалась.

Моими единственными трофеями во всё это время были один олень и несколько арктических песцов. По вечерам я сидел на обрубке бревна в нашей маленькой кухне при свете грубого камчатского ночника, состоящего из кусочка мха и жестяной чашечки с тюленьим жиром, и слушал в продолжение целых часов пение и игру на гитаре камчадалов и простые рассказы об опасных приключениях в горах, которые они так любили передавать. Во время этих вечерних бесед с камчадалами я узнал много любопытных подробностей об их жизни, обычаях, нравах, о которых ещё не имел ни малейшего понятия. Вероятно, впоследствии мне не придётся говорить об этом народе, мало известном цивилизованному миру, и я расскажу теперь, что узнал об их музыке, языке, удовольствиях, предрасудках и образе жизни.

Я уже говорил о камчадалах, как о спокойном, безобидном, гостеприимном, полудиком племени, отличающемся честностью и приветливостью. Кроме того, камчадалы относятся с уважением к властям и законам. Даже мысль о возмущении или сопротивлении совершенно чужда характеру камчадала. Они, кажется, готовы переносить и притеснения с полной покорностью. Камчадалы незлопамятны и верны, как собаки. Если вы с ними обращаетесь хорошо, то ваше малейшее желание будет для них законом. Они употребят все усилия, чтобы доказать по своему свою признательность за вашу доброту, предупреждая даже ваши невысказанные желания. Во время нашего пребывания в Лесновске майор как-то попросил молока. Староста не сказал ему, что в селении нет ни одной коровы, но ответил, что постарается достать желаемое. Добродушный камчадал тотчас же послал человека верхом в соседнее селение Кликил, и к вечеру посланный вернулся с шампанской бутылкой в руках, и майору было привезено к чаю молоко. С этого времени и до нашего отъезда в Гижигинске более месяца верховой проезжал каждый день по двадцати миль, чтобы доставить нам бутылку свежего молока. Это делалось просто, по сердечной доброте, без желания и без надежды на будущее вознаграждение и может служить образчиком того, как с нами вообще обращались в Камчатке.

Оседлые жители Северной Камчатки имеют обыкновенно два различных места жительства, смотря по временам года. Одни называются «зимними поселениями», другие — «летними рыболовными стоянками» и находятся одни от других на расстоянии от одной до пяти миль. В первом, расположенном обыкновенно под защитой лесистых холмов в несколько милях от морского берега,

они живут от сентября до июня. Летнее построено всегда у устья ближайшей реки, большой или малой, и состоит из нескольких «юрт» или покрытых землею хижин, восьми или десяти конических «балаганов», построенных на сваях, и из множества деревянных срубов, куда вешают рыбу для сушенья. Камчадалы перебираются в эти рыболовные стоянки в начале июня, оставляя свои зимние жилища в совершенном запустении. Даже собаки и вороны покидают их для более привлекательной и более обильной добычи, которую находят возле летних «балаганов». В начале июня лососи приходят в реки из моря в огромном количестве, и туземцы ловят их в сети, корзины, в невода, в верши и посредством десятка других хитрых изобретений. Женщины разрезают их, потрошат и очищают от костей с изумительною ловкостью и быстротой, затем развешивают длинными рядами на горизонтальных шестах для сушенья.

Рыба, доверчивая и неопытная, приходит в реки, как моряк на берег, надеясь, вероятно, отдохнуть от тревожной морской жизни, но она не успевает ещё опомниться, как попадает уже в невод. Её вытаскивают на берег с сотней таких же неразсудительных и несчастных страдальцев, разрезают большим ножом, вынимают спинной хребет, отрезают голову, очищают её от внутренностей и вешают её обезображенные остатки на шесты, чтобы засушить их на жарком июльском солнце.

Удивительно, в каком громадном количестве появляются эти рыбы и как далеко заходят они в сибирские реки. Все маленькие речки, которые мы переезжали во внутренней Камчатке на расстоянии семидесяти миль от морского берега, были переполнены тысячами околевающих, мёртвых и разлагавшихся рыб, так что вода становилась совершенно негодной к употреблению. Даже в маленьких горных ручьях, до того узких, что ребёнок мог бы перешагнуть через них, мы видели лососей в восемнадцать или двадцать дюймов длины, которые с трудом плыли вверх по течению, потому что вода едва могла покрывать их тело. Мы часто спускались в ручей и ловили их просто руками целыми дюжинами. Но странное дело, чем лососи более углубляются во внутренние реки, тем более изменяется их внешний вид. Когда эти рыбы только что выходят из моря, то их чешуя отличается блеском и твёрдостью, а мясо бывает красного цвета, жирно и вкусно. По мере того, как лососи идут вверх по реке, чешуя их теряет свой блеск и спадает, а мясо бледнеет и, наконец, принимает совершенно белый цвет, становится тощим, сухим и безвкусным. Поэтому

все рыбные стоянки в Камчатке находятся, по возможности, ближе к устьям рек. Все поселения Северо-Восточной Сибири обязаны своим возникновением инстинкту, заставляющему лососей заходить в реки для метания икры. Без этого изобилия рыбы вся страна не имела бы другого населения, кроме оленных коряков.

Как только кончится период рыбной ловли, камчадалы складывают свою сушёную рыбу в «балаганы», возвращаются на зимние квартиры и готовятся к охоте за соболями. Почти целый месяц они проводят всё время в лесах и в горах в приготовлении и в постановке западней. Чтобы сделать западню для соболя, вырезают в стволе большого дерева узкую отвесную щель в четырнадцать дюймов длины, четыре дюйма ширины и пять дюймов глубины. Но при этом необходимо, чтобы нижняя часть щели находилась на высоте головы соболя, если он стоит на задних лапах. Тогда срубают другое небольшое дерево, один из концов которого поднимают на три фута вышины и подпирают рогатиной, воткнутой в землю, а другой обтачивают так, что он может свободно скользить по щели, вырубленной для него в большом дереве. Конец этот поднимают до верхней части щели и поддерживают его там простой защёлкой, оставляя почти четырёхугольное отверстие внизу для головы соболя. К защёлке привешивают приманку и западня готова. Соболю поддаётся на задние лапы, кладёт голову в отверстие, дергает приманку вместе с защёлкой и тяжёлое бревно падает и раздробляет череп животного, нисколько не портя ценных частей его шкуры.

Туземцы ставят массу таких западней в течение зимы и часто ходят наблюдать за ними. Бывали случаи, что один камчадал поставил сотню таких западней. Не довольствуясь, впрочем, этой обширной и хорошо организованной системой ловли соболей, туземцы охотятся за ними на лыжах с дрессированными собаками, загоняют соболей в ямы, которые окружают сетями, и, выгоняя их оттуда огнём и топорами, убивают животных дубинами.

Число соболей, добываемых ежегодно на Камчатском полуострове, колеблется между шестью и девятью тысячами. Все они отправляются в Россию и развозятся оттуда по всей Северной Европе. Большая часть всех русских соболей на европейском рынке добывается жителями Камчатки и отправляются американскими купцами в Москву. В. Г. Бордмэн из Бостона и американская торговая фирма в Китае, известная, кажется, под названием «Россель и К^о», держат в своих руках всю пушную торговлю в Камчатке и по берегу Охотского моря. Приблизительная цена, получаемая

камчадалом за соболиную шкуру, в 1864 г. доходила до пятнадцати рублей серебром, но плата производилась чаем, сахаром, табаком и разными другими товарами, по оценке самого торговца, так что, в сущности, туземцы получали только немногим более половины номинальной цены. Почти все жители средней Камчатки занимаются зимою прямо или косвенно торговлей соболями и многие давно уже приобрели себе вполне независимое положение.

Звероловство и рыболовство составляют, таким образом, главные занятия камчадалов летом и зимою. К этому побуждает их, скорее, природа и климат страны, чем их собственная склонность, поэтому-то эти промыслы и не могут дать нам точного понятия о некоторых особенностях характера камчадалов и об их жизни. Язык, музыка, развлечения и суеверия народа вернее могут обрисовать их настоящий характер, чем обыденные занятия.

Камчатский язык кажется мне самым достопримечательным из всех наречий диких племён Азии не по содержанию слов, но просто по странным звукам, которыми он изобилует, и по своему горловому акценту. Беглый разговор всегда напоминал мне шум воды, льющейся из кувшина с узким горлышком. Один русский путешественник по Камчатке выразился, что «камчатские слова произносятся наполовину горлом, наполовину ртом», но мне кажется, вернее было бы сказать, что они говорятся наполовину горлом и наполовину желудком. В этом наречии более горловых звуков, чем в каком-либо из известных мне азиатских языков, чем оно резко отличается от наречий коряков и чукчей. Оно составлено, кажется, из постоянных неизменных корней с изменяющимися приставками. Тем не менее, сколько я мог заметить, в нём нет перемены окончаний, и грамматика его должна быть проста и легка. Значительная часть камчадалов в северной части полуострова говорит, кроме собственного своего языка, ещё по-русски и по-корякски, так что, по-своему, они прекрасные лингвисты.

Песни народа, в особенности такого, который сам их создал, а не позаимствовал от других, могут, я думаю, служить верным образчиком его характера. Присутствие ли песням, как полагает один писатель, рефлективное влияние на характер, или они являются только его выражением, — это безразлично, и, во всяком случае, между теми и другими существует взаимное отношение. Ни у одного сибирского племени это так не заметно, как у камчадалов. Они, наверное, никогда не были воинственным народом, ибо у них нет песен в память героических деяний или охотничьих подвигов их предков, как у многих индейских племён Америки. Весь их эпос

имеет печальный, фантастический характер и созданся, вернее, под влиянием нежных, грустных наслаждений, любовных или семейных, чем под давлением более грубых страстей, как-то гнева, гордости и мести. Для слуха чужестранца их музыка имеет в себе нечто дикое и страшное, она навевает на душу грустное чувство, в ней слышится какое-то смутное, бесполезное сожаление о чём-то невозвратном, подобно тому чувству, которое охватывает душу человека при пении панихиды на могиле дорогого существа.

Особенно памятна мне одна песня под названием «Пенжинская», петая однажды туземцами в Лесновске, напев которой положительно представлял самое приятное и вместе с тем невыразимо грустное сочетание звуков, какое мне когда-либо доводилось слышать, — вопль погибшей души, отчаивающейся, но всё-таки не перестающей умолять о помиловании. Попытка моя достать перевод этой песни осталась тщетною, несмотря на все мои старания. Содержит ли она рассказ о какой-нибудь кровавой бедственной стычке со свирепыми северными соседями или плач над телом дорогого сына, брата или мужа, я не мог узнать. Но сама музыка вызывала слёзы на глаза и доводила легко возбуждаемое чувство почти до изступления. Плясовые мотивы камчадалов носят, разумеется, совершенно иной характер и состоят вообще из оживлённых, энергических, отрывистых переходов, повторяемых несколько раз без всяких вариаций. Все почти туземцы аккомпанируют себе на треугольной гитаре, называемой «балалайкой», о двух струнах, и некоторые из них очень хорошо играют на самодельных скрипках грубой работы. Все они страстно любят музыку.

Прочия их удовольствия заключаются в пляске, игре ножным мячиком на снегу и в беге на санках, запряжённых собаками.

Зимняя путешествия камчадалов совершаются исключительно на собаках, и нигде этот народ не выказывает лучше своего природного искусства и сметливости. Можно даже сказать, что они сами создали свою породу собак, так как настоящая сибирская собака есть ничто иное, как полуприрученный арктический волк и сохраняет все свои волчьи инстинкты и привычки. Нужно ли говорить, что на всём свете нет более закалённого, выносливого животного? Эту собаку можно заставить спать на снегу при температуре семьдесят градусов ниже нуля, навесить на неё такие тяжести, что кожа на её лапах трескается и оставляет кровавые следы на снегу, или морить её голодом до того, что она начнёт есть свою сбрую, но её сила и бодрость остаются непобедимыми. Мне приходилось упряжку, состоящую из девяти собак, заставлять

делать в сутки более ста миль и работать в продолжение сорока восьми часов, причём не было возможности дать им ни крошки пищи. Обыкновенно их кормят один раз в день, и порция их состоит из одной сушёной рыбы, весящей не более полутора или двух фунтов. Эта кормёжка делается на ночь, так что на другой день они приступают к работе с пустыми желудками.

Сани, в которых запрягают этих животных, имеют десять футов длины и два ширины. Они шиты из берёзовой коры и соединяют в себе в замечательной степени два самые важные качества: прочность и лёгкость. Их остов состоит из брусьев, связанных ремнями из тюленьей шкуры и поставленных на широкие, выгнутые полозья. В них совсем нет железа и они весят не более двадцати фунтов, тогда как в них можно положить тяжесть в четырёхстах или пятисот фунтов и самые скверные горные дороги не причиняют им ни малейшего повреждения. Число собак, запрягаемых в эти сани, колеблется между семью и пятнадцатью, смотря по дороге и по весу клади. Их запрягают в сани попарно к длинному ремню из тюленьей шкуры, к которому каждая собака привязана коротенькой постромкой за ошейник. Ими управляют криками и с помощью покрикиваний и передовой собаки, которую нарочно дрессируют для этого.

Камчадал вместо кнута употребляет толстую палку, около четырёх футов длины и двух дюймов в диаметре. С одной стороны она снабжена длинным железным острым наконечником и служит для того, чтобы удерживать сани во время спуска с гор и останавливать собак, когда они сворачивают с дороги для преследования оленей и лисиц, что случается довольно часто. Острый конец втыкают перед одним из полозьев и тащут его так по снегу, держа другой конец крепко в руке. Таким образом, палка служит сильным тормозом, с помощью которого при некоторой ловкости можно остановить сани очень быстро. Искусство управлять такими санями есть самая обманчивая вещь на свете. Сначала путешественнику кажется, что управлять ими так же нетрудно, как тележкой на улице, но это прямой самообман, и неопытный человек в первые же десять минут вывалится в снежный сугроб, и его опрокинутые сани отбрасываются на четверть мили от дороги. Тогда он по опыту узнаёт, что дело не так легко, как ему казалось, и через день, может быть, он придёт к тому выводу, что надо родиться со способностью управлять хорошо собаками, а приобрести её трудно.

Одежда камчадалов и летом, и зимою сделана большею частью из звериных шкур. Их зимний костюм состоит из сапог из тюле-

ншей кожи, называемых «торбасами», которые надеваются поверх чулок из оленьей шкуры и доходят до колен, из меховых панталон шерстью внутрь, из лисьего кукуля или капора с длинной бахромой из кости и из толстой куклянки, или двойной меховой рубашки, покрывающей тело до колен. Эта рубашка сшита из самой толстой и мягкой оленьей шкуры, окрашенной в разные цвета, вышита снизу шелками, обшита у ворота и на рукавах лоснящимся бобром. К ней пришивается у подбородка четырёхугольный лоскут, которым закрывают нос, а сзади — нечто вроде башлыка, так называемой «кукуль», который надевают на голову во время дурной погоды. В таком одеянии камчадалы в продолжение целых недель подвергаются страшному холоду и спят спокойно и удобно на снегу при температуре в двадцать, тридцать и даже сорок градусов ниже нуля.

Значительную часть нашего время в Лесновске мы провели в заготовлении только что описанных костюмов, предназначенных для нас самих, в устройстве крытых саней для защиты от зимних вьюг, в шитье просторных мешков из медвежьей шкуры для спанья в них ночью и, вообще говоря, в приготовлениях к тяжёлому зимнему странствованию.

Глава 17

Русское лечение. Саманския горы. Лагерь кочующих коряков. Собаки и северные олени. Наружность коряков. «Пологи». Лакомства коряков

В конце октября прибыл из Тагиля русский доктор и принялся истощать последние силы майора паровыми ваннами, кровопусканиями и шпанскими мушкам, пока осталась, наконец, только слабая тень его прежнего здорового телосложения. Лихорадка, впрочем, уступила этому энергическому лечению, и наш майор стал постепенно поправляться. Вскоре после того, на той же неделе, Додд и Миронов возвратились из Тагиля с новыми запасами чая, сахара, рома, табаку и сухарей, и мы начали набирать собак из соседних селений Кин-Килля и Поляны для вторичной переправы через Саманкския горы.

Снег выпал всюду на глубину двух футов, погода стояла ясная и морозная, и только болезнь майора служила препятствием к нашему отъезду из Лесновска, но как бы то ни было 28 октября майор объявил нам, что в состоянии продолжать путешествие, и мы начали укладывать наши вещи. 1 ноября мы обрядились в наши

тяжёлые меховые одеяния, которые превратили нас по наружности в самых страшных диких зверей, простились с гостеприимными жителями Лесновска и отправились в территории кочующих коряков в числе восемнадцати человек на шестнадцать санях с двумя сотнями собак и съестными припасами на сорок дней. На этот раз мы положили во что бы то ни стало или добраться до Гижигинска, или, как говорится в газетах, пасть жертвою своего предприятия.

3 ноября после обеда, когда долгий северный полусвет начал исчезать в стальной синеве, присущей только арктическим ночам, наши собаки медленно поднимались на последнюю вершину Саманкских гор, и мы озирали с высоты более чем двух тысяч футов однообразное снежное пространство, начинавшееся у подошвы гор, на которых мы стояли, и сливавшееся с горизонтом. То была земля кочевых коряков. Холодный ветер дул с моря на вершины гор и грустно завывал в ветвях сосен, нарушая своим свистом молчание зимней природы. Бледный потухающий свет исчезающего солнца дрожал ещё на более высоких верхушках, дикия ущелья, поросшие ольховыми рощами и густой чащей малорослых сосен, были уже погружены в ночной мрак. У подошвы гор прихотливо раскинулся передовой лагерь коряков. Пред тем, как начать спускаться в равнину, мы решили дать нашим собакам отдохнуть немного на вершине, сами же старались рассмотреть сквозь вечерний сумрак чёрные палатки, которые, по нашему ожиданию, должны были разместиться у наших ног. Но мы видели лишь сосновые кусты, и ничто иное не нарушало мертвенной белизны снежной степи. Лагерь был скрыт за выдающейся горой.

Едва лишь восходящая луна осветила чёрная, изрытая очертания вершин правее нашего привала, как мы подняли собак и пустили их в тёмное ущелье, которое спускалось в степь. Обманчивые ночные тени и массы утёсов, загораживающие узкий проход, делали спуск очень опасным, и требовалось приложить всё искусство опытных камчадалов, чтобы избежать опасных случаев. Целяя облака снега летели из-под острых кольев, которыми наши проводники тщетно старались удержаться на стремительном спуске. Предостережительные крики передовых, удесятерённый горным эхом, подгоняли ещё более наших собак, и нам казалось, видя как утёсы и деревья летели мимо нас, что мы сами катились на стремительной лавине, которая уносила нас с захватывающей дух скоростью к верной гибели.

Впрочем, мало помалу быстрота эта начала уменьшаться, и мы выехали на твёрдый, обмерзлый снег, в открытую степь, освещённую луной. После получасовой езды мы должны были, по нашим соображениям, быть возле лагеря коряков, но до сих пор нигде не было видно и следа оленей или палаток. Взрытый снег обыкновенно предупреждает путешественника о близости юрт, так как олени на много миль в окружности взрывают ногами снег, отыскивая мох, который представляет собою единственную пищу этих животных. Но ввиду отсутствия столь необходимых примет, мы начали подозревать, что нам даны были неверные указания, как вдруг наши передовые собаки насторожились, обнюхали вокруг себя воздух и с резким отрывистым тьяканьем помчались к высокому холму, находившемуся почти под прямым углом от пройденного нами пути. Тщетно камчадалы сдерживали бег разгорячённых собак. Их волчий инстинкт был возбуждён и вся дисциплина забыта, когда ветер донёс до их обоняния свежий запах оленьих стад.

Мы быстро очутились на верху холма и перед нами в ясном лунном свете стояли конические палатки коряков, окружённые, по меньшей мере, четырьмя тысячами северных оленей. Их ветвистые рога напоминали настоящую рощу засохших кустов. Все собаки залаяли в один голос, подобно стае гончих при виде дичи, и шумно бросились с горы, совершенно не слушая восклицаний своих хозяев и угрожающих криков трёх или четырёх чёрных фигур, которые внезапно поднялись со снега между ними и испуганными оленями. В этой суматохе я едва слышал голос Додда, осыпающего русскими ругательствами своих лающих собак, которые, несмотря на его самое усердное сопротивление, мчали его с опрокинутыми санями по степи. Всё огромное стадо оленей колебалось с минуту и потом понеслось с бешеными прыжками, преследуемое камчадалами, сторожевыми коряками и двумя сотнями собак.

Стараясь избежать этого всеобщего смятения, я соскочил с моих саней и наблюдал за толпой, которая мчалась с криками и лаем через равнину. Весь лагерь, дремавший в своём тихом одиночестве, как будто он был необитаемым, проявил мгновенно необыкновенную деятельность. Из палаток торопливо выходили тёмные фигуры и, схватив длинные копы, воткнув их в снег у входа, присоединялись к остальной погоне, крича и бросая арканы из моржовой кожи на собак, надеясь этим остановить их бег. Стук тысячи рогов друг о друга, среди смятения бегства, частые удары безчисленных копыт на твёрдом снегу, глухой хриплый крик испуганных

оленей и непонятны восклицания коряков, старающихся собрать поражённое паническим страхом стадо, создали целый хор режущих слух звуков, которые раздавались далеко в тихом морозном ночном воздухе. Эта картина напоминала скорее полуночное нападение каманчей на враждебный лагерь, чем мирное прибытие трёх или четырёх американских путешественников, и я с удивлением прислушивался к смятению и тревоге, которую мы невольно создали.

Но вот шум начал стихать, и собаки, усталые от неестественных усилий, послушались-таки увещевавших их хозяев и свернули к палаткам. Собаки Додда, высунув языки от чрезмерной усталости, ковыляя, мрачно плелись назад, бросая нередко тоскливые взгляды по направлению к оленям, как будто они раскаивались в слабости, побудившей их прекратить столь заманчивое преследование.

— Как же вы их не сдержали? — спрашивал я, смеясь, Додда. — Такому опытному ездоку, как вы, следовало бы лучше сдерживать свою стаю!

— Сдержать их! — воскликнул он с сердцем. — Желал бы посмотреть, как вы бы их сдержали с ременным арканом вокруг шеи, и здоровым коряком, тащащим, подобно паровому вороту, за другой его конец! Хорошо вам кричать: «Остановите их», но когда этот дикарь тащит вас с саней, как дикое животное? Интересно знать, что внушила бы вам ваша великая мудрость? У меня на шее, наверное, остался теперь след аркана, — и он осторожно ощупывал руками рубец от ремня возле ушей.

Когда, наконец, собрали оленей и приставили к ним караульных, коряки тотчас же с любопытством столпились вокруг гостей, столь внезапно нарушивших их покой, и спросили через нашего переводчика Миронова, кто мы были и чего хотели. Они представляли собою дикую, живописную группу при беловатом свете луны, озарявшем их тёмные лица и блестящем на их металлических украшениях и на полированных клинках их длинных копьев. Выдающиеся скулы их тёмных лиц, смелые живые глаза и прямые, чёрные, как смоль, волосы обнаруживали близкое родство их с американскими индейцами, но далее этого сходство не простиралось. Выражение прямой, искренней честности, которой недостает краснокожим и которую мы инстинктивно сочли за достаточную гарантию их дружелюбия и искренности, составляет наиболее заметное выражение их лиц. Вопреки нашей предвзятой идее о северных дикарях, это были атлетические, хорошо

сложенные люди, не уступающие в росте американцам. Грубые куклянки, или рубашки из пятнистой оленьей шкуры с поясом, и обшитыя внизу длинной бахромой из чёрных волчьих волос, укутывали их тело от шеи до колен и были украшены местами нитями мелкаго цветнаго бисера, красными сафьяновыми кистями и кусочками полированного металла. меховые панталоны, длинные сапоги из тюленьей кожи, доходящие до колен, и капоты из волчьей шкуры с волчьими ушами, торчавшими по обеим сторонам головы, служили дополнением костюма, который, несмотря на свою оригинальность, как-то живописно гармонировал с этой пустынной местностью, освещённой луною. Поручив нашему казаку Миронову вместе с майором объяснять наши дела и нужды, мы с Доддом отправились осматривать лагерь.

Он представлял собою ряды больших конических палаток, составленных, кажется, из деревянных шестов и покрытых оленьими шкурами, которые поддерживались на своих местах длинными ремнями из кожи тюленей или моржей. Ремни были крепко натянуты от верхушки конуса до земли. Сначала строения эти казались неспособными противустоять бурным ветрам, дующим зимою в степи со стороны Севернаго океана, но последствия доказали, что сильнейшия бури не в состоянии снести их. Затейливыя сани разной формы и величины были разбросаны по снегу, и двести или триста вьючных сёдел для оленей были собраны в кучу и симметрически разложены у самой большой палатки. Производя наш беглый осмотр и чувствуя некоторую неловкость в обществе пятнадцати или двадцати коряков, которые взяли на себя роль членов наблюдательнаго комитета за нашими движениями, мы вернулись к тому месту, где представители цивилизации и варварства вели свои переговоры. Казалось, они пришли к дружескому соглашению, так как при нашем приближении высокий туземец с бритой головой выступил из толпы и, ведя нас к самой большой палатке, поднял занавесь из шкуры и показал чёрное отверстие около двух футов с половиною в диаметре, приглашая нас движением руки войти в это незатейливое жилище.

Если Вьюшин мог гордиться какой-нибудь особенностью сибирскаго воспитания, так это, несомненно, была его способность влезть в самыя тесныя норы. Многолетняя практика сообщила его спинному хребту такую необыкновенную гибкость, которой мы могли только удивляться, но отнюдь не подражать. И хотя такое преимущество было не из завидных, но Вьюшина всегда посылали осматривать все тёмныя углубления и подземныя проходы, которые

встречались на нашем пути. Предстоявший нам вход был одним из наиболее необычайных из всех, попадавшихся нам до сих пор. Но Вьюшин, твёрдо исповедывающий аксиому, что никакая часть его тела не должна быть больше отверстия, в которое ему предстояло войти, принял горизонтальное положение и, попрося Додда дать его ногам первоначальный толчок, начал осторожно влезать в него. Спустя несколько секунд за его исчезновением и предполагая, что он уже устроился в палатке, я решился всунуть мою голову в отверстие и пополз с большими усилиями за ним. Темнота была ужасная, но руководимый дыханием Вьюшина, я подвигался довольно быстро, как вдруг дикое ворчание и громкий лай раздались из переднего угла, и вслед за тем Вьюшин всей массой своего тела ударился об мою голову. Я поспешил назад, и Вьюшин с неловкостью ползущаго вспять рака быстро последовал за мной.

— Что за чёрта вы там увидели? — спросил Додд по-русски, освобождая голову Вьюшина от занавески из шкуры, в которую она запуталась. — Вы идёте назад, как будто шайтан со всеми своими чертенятами бежит за вами!

— Вы не думаете, надеюсь, — отвечал взволнованный Вьюшин, — что я останусь в этой яме на съеденье корякскими собакам! Хотя я и был настолько глуп, чтобы войти в неё, но всё-таки я сохранил настолько разума, чтоб знать, когда мне выйти. Я не думаю, чтоб оттуда был ещё другой выход куда-нибудь, — сказал он в извинение, — а здесь куча собак.

Смекнув о затруднительности положения Вьюшина и смеясь над его смущением, наш корякский хозяин вошёл в палатку, выгнал собак и поднял внутреннюю занавесь. Тогда красный свет очага осветил нас всех. Мы проползли на руках и ногах двенадцать или пятнадцать футов по низкому проходу и вошли в просторный круг внутри палатки. Вязки смолистых сосен с треском горели на земле посередине, бросая красный отблеск на густыя глянце-витыя жерди, отражаясь на тёмных шкурах, которыми была покрыта крыша, и на смуглых татуированных лицах женщин, сидящих вокруг. Громадный медный котёл, наполненный какой-то бурдой сомнительнаго запаха и достоинства, висел над огнём.

Две худощавыя женщины с голыми руками суетились у огня. Оне одной и той же палочкой поочерёдно мешали содержимое в котле, поправляя уголья и ударяя по головам двух или трёх слишком назойливо-любопытных собак. Дым, медленно поднимающийся над огнём, висел голубым прозрачным облаком на высоте пяти футов от пола, разделяя атмосферу палатки на ниж-

ний этаж, сравнительно чистаго воздуха, и на верхний, туманный слой, где преобладали дурные испарения и дым.

Ввиду недостатка чистаго воздуха в юрте, я убеждался, что способность детей стоять на голове была завидным свойством. Когда едкий дым пробрал меня до слёз, я посоветовал Додду попробовать принять обратное положение. Так он избавился бы от дыма и искр и в то же время мог бы насладиться новым и любопытным оптическим явлением. С презрительной насмешкой, с какой он обыкновенно встречал мои самые разумные советы, он возразил, что я могу сам сначала сделать этот опыт, и, растянувшись на полу во всю длину, он предался интересному занятию — делать рожи корякскому ребёнку.

Вьюшин проводил время, лишь только глаза его немного привыкли к дыму, между приготовлением нашего ужина и мстительными колотушками собакам, которые время от времени дерзали приблизиться к нему, а майор, кажется, самый полезный член нашей партии, в это время торговался за исключительное владение «пологом».

Температура корякской палатки зимой бывает редко двадцать или двадцать пять градусов выше нуля по Фаренгейту, а так как постоянно находиться в таком холоде не очень-то приятно, то коряки делают вокруг внутренней стены палатки маленькие, почти непроницаемые для воздуха помещения, называемые «пологами», разделённые между собой кожаными занавесками и обладающие двумя важными преимуществами, а именно: замкнутостью и большим теплом. «Пологи» имеют около четырёх футов вышины и пяти или восьми длины и ширины. Их делают из толстых шкур, сшитых так плотно, что туда не проникает воздух. Согреваются и освещаются они куском мха, горящим в деревянной чашке, наполненной тюленьим жиром. Тем не менее, закон уравнивания сил, имеющий место во всей природе, даёт себя знать и в пологе корякской юрты и за большее количество тепла награждает вас в то же время более душной и дымной атмосферой. Зажжённая светильная ночника, плавающая подобно крошечному горящему кораблю в маленьком озерце прогорклаго жира, поглощает кислород воздуха в пологе и возвращает его в виде углекислаго газа, маслянистаго чада и разных миазмов.

Но, впрочем, вопреки всем известным законам гигиены, такой испорченный воздух оказывается здоровым, или, точнее, нет очевидных доказательств его зловредности. Корякские женщины, проводящая большую часть своего времени в этих пологах, достигают

обыкновенно преклонных лет, и, если не считать их угловатых форм и худощавости, они не отличаются ни в чём от старух других стран.

Тревожимый опасением задохнуться, я проспал целую ночь в коряжской юрте, но мои опасения оказались напрасными, и понемногу я от них отказался. Чтобы избавиться от толпы коряков, которые уселись вокруг нас на земляном полу и любопытство которых делалось назойливым, мы с Доддом приподняли меховую занавеску полога, уступленного нам благодаря дипломатии майора, и в ожидании ужина сели за него.

Любопытные коряки, не видя возможности поместиться в узком пологе во всём своём составе, улеглись с наружной его стороны и, просунув свои безобразные, полуобритые головы под занавес, продолжали свои молчаливые наблюдения. Зрелище девяти голов, широко открытые глаза которых поворачивались одновременно и следили из стороны в сторону за всеми нашими движениями, было так смешно, что мы невольно разразились громким смехом. В ответ на это появилась улыбка на каждом из девяти смуглых лиц, одновременные движения которых производили впечатление какого-то огромного чудовища с девятью головами и одной волей.

По наущению Додда мы придумали удалить их табачным дымом, и вот я вынул из кармана мою трубку из черенка шиповника и начал зажигать её спичкой, воспламеняющейся с особенным треском, коробочку которых я берег как драгоценную память о цивилизации. Лишь только спичка после некоторого подобия крошечного фейерверка вдруг загорелась, девять изумленных голов разом исчезли и из-за занавески послышались удивленные восклицания и оживленные объяснения дьявольского способа добывать огонь. Все говорили за раз, как при вавилонском столпотворении. Опасаясь, вероятно, лишиться какого-нибудь зрелища, свидетельствующего о сверхъестественной силе белых людей, головы снова появились вместе с несколькими другими, которые, очевидно, были привлечены рассказом о чудесном событии.

Баснословная бдительность стоглазого Аргуса была ничто в сравнении с тем вниманием, которому мы теперь были подвергнуты. За каждым колечком дыма, выходящим из нашего рта, любопытные глаза следили так же внимательно, как за каким-нибудь сладостным испарением, поднимающимся из бездонной пропасти и готовым разразиться выстрелами и пламенем. Громкое

и сильное чихание Додда снова послужило сигналом к внезапному испуганному исчезновению голов и новым толкам за занавесью. Всё это было довольно смешно, но, утомлённые этими пристальными взглядами и голодом, мы выползли из-за нашего полога и стали следить с живым интересом за приготовлением ужина. Вьюшин превратил маленький сосновый ящик с нашими телеграфными приборами в простой обеденный стол без ножек и уставил его сухарями, ломтями сырой ветчины и кружками горячаго чая.

Таковы прихоти цивилизации, а рядом с нами на полу в длинном деревянном корытце и большой чашке из того же материала находились соответствующая лакомства варварства. Об их составе мы, разумеется, не могли иметь надлежащего понятия, но аппетит усталых путников бывает не очень разборчив. Мы уселись потурецки на полу между корытцем и ящиком с приборами и решились доказать нашу признательность корякскому гостеприимству, делая честь всему предлагаемому. Чашка со своим странным содержимым остановила внимание наблюдательнаго Додда, и, запустив в неё длинную ложку, он обратился к Вьюшину, который в качестве главнаго повара обязан был всё знать относительно еды, и спросил:

— Что это вы тут настряпали?

— Это? — заметил Вьюшин поспешно. — Это рисовая каша!

— Каша! — воскликнул Додд сомнительно. — Это, скорее, похоже на материал, из котораго сыны Израиля приготавливали кирпичи. Однако им, кажется, не нужна была солома, — прибавил он, вытаскивая несколько стебельков сухой травы. — Что же это, в самом деле?

— Это, — снова ответил Вьюшин с видом знатока, — это знаменитое «Ямук-чи а ля Пустерельск», национальное кушанье коряков, приготовленное по первоначальному рецепту его высочества Улкота Утку Минечиткина, великаго последняго тойона.

— Постойте, — воскликнул Додд с нетерпеливым движением, — этого достаточно, я буду есть, — и, зачерпнув пол-ложки чёрной, липкой массы, он поднёс её к губам.

— Ну как? — спросили мы после минутнаго ожидания. — На что это похоже вкусом?

— На пирожки из грязи, которые мы делали в ребячестве! — отвечал он наставительно. — Немного соли, перцу и масла и побольше мяса и луку с некоторыми овощами по вкусу, вероятно, приправили бы это. Но, впрочем, оно и так не очень-то дурно!

Ввиду такой двусмысленной рекомендации я попробовал кушанье. В силу его страшного землянистаго вкуса оно не было ни особенно приятно, ни особенно неприятно. Все его качества были отрицательныя, за исключением травянистости, придававшей особенное свойство и плотность этой массе.

Такая смесь, приготовляемая коряками под именем «маниаллы», употребляется всеми сибирскими племенами как суррогат хлеба, и туземная изобретательность не могла придумать легчайшаго и простейшаго способа для поддержания своего существования. Утверждают, что она ценится больше за свои гниеннческия качества, чем за приятный вкус, и наш недолгий опыт заставляет нас этому верить.

Она состоит из запекшейся крови, сала и полуперевареннаго мха, добываемаго из желудка оленей, где он, по общему мнению, должен был подвергнуться важному изменению, которое делает его годным для вторичнаго употребления. Столь необыкновенныя и разнородныя составныя части варятся вместе с несколькими пригоршнями сухой травы, чтобы придать смеси некоторую плотность, и потом из этой тёмной массы делают маленькые хлебцы, которые замораживают для хранения впрок.

По всей вероятности, хозяин наш хотел принять нас как можно лучше и в знак особеннаго уважения откусил несколько кусков от дичины, которую держал в своей грязной руке, и, вынув изо рта, предложил их мне. Я любезно отклонил его предложение и указал на Додда, как на достойный предмет такого знака уважения, но последний отомстил за это, приказав какой-то старухе подать мне сырого сала, уверяя, что это была моя единственная пища дома.

Мои опровержения по-английски, полныя негодования, не были поняты, и женщина, в восторге, что нашла американца, вкусы котораго так подходили к ея собственным, принесла сало. Я являлся безпомощной жертвой и мог только прибавить эту последнюю обиду к длинному списку оскорблений, которыя числились за Доддом и за которыя я надеялся когда-нибудь отомстить.

Ужин у коряков — это их главная еда за весь день. К котлу с «маниаллой» или корытцу с олеиной стекаются все мужчины, бывшие днём в отсутствии, и толкуют между глотками мяса или мха о разных предметах их одинокой жизни. Такой обычай дал нам возможность собрать некоторыя сведения о племенах, обитающих на севере, о приёме, который, вероятнее всего, нам следовало ожидать и о подробностях предстоящаго путешествия.

Глава 18

Другия черты характера кочующих коряков. Неизвестность. Гостеприимство. Жилища. Завтрак. Путешествие на оленях. Понятия коряков о расстоянии. Таинственный посетитель

Коряки, кочующие по Камчатке, составляют до сорока отдельных шаек и бродят по обширным степям северной части полуострова, между 58-м и 63-м градусами. Южный предел их странствования лежит в Тагиле на западном берегу, куда они приходят ежегодно для торговли и их редко можно встретить севернее Пенжины, двести миль на север от Охотского моря. В этих пределах они почти постоянно странствуют со своими многочисленными стадами северных оленей и настолько непостоянны и подвижны, что редко остаются на одном месте более недели. Тем не менее, нельзя приписать это исключительно их подвижности и страсти к перекочёвкам.

Стадо, состоящее из четырёх или пяти тысяч голов, в течение нескольких дней взроет весь снег и уничтожит мох на целую милю в окружности, и тогда, разумеется, коряки должны переходить на новое место. Ввиду этого их кочующий образ жизни является следствием не их характера, но, скорее, нужды, ставящей их в полную зависимость от северного оленя. Они должны странствовать, иначе их олени умрут с голода, а за этим наступает естественно и их собственная голодная смерть. Кочевой образ их жизни был, вероятно, первым следствием приручения оленя и необходимости, заставившей их сообразоваться, прежде всего, с нуждами этого животного. Но теперь страсть к бродяжничеству вошла в плоть и кровь коряка, так что едва ли он мог бы жить другой жизнью, даже если бы имел возможность к этому. Такое кочующее, одинокое, независимое существование развило в характере коряков смелость, независимость и полнейшую самонадеянность, которые отличают их от камчадалов и других оседлых жителей Сибири. Было бы маленькое стадо оленей и тундра, где можно было бы странствовать, и им ничего более не требуется. Цивилизация и правительство не касаются их. Каждый человек считает себя вольным господином, если он владеет дюжиной оленей. Он может удалиться, если пожелает, от всего остального человечества и не заботиться о других интересах, кроме своих собственных и своего оленя. В целях общего удобства они соединяются в шайки, состоящая из шести или восьми семейств, но эти шайки связаны только взаимным соглашением и не признают никакого начальника. Они

имеют предводителя, называемого тойоном, владеющего самым многочисленным стадом оленей во всей шайке, который решает вопросы относительно расположения лагеря и перекочёвок на новые места, но лишён всякой другой власти и во всех более важных вопросах о личных правах и взаимных обязательствах должен обращаться ко всем членам шайки. Что касается их религии, то они почитают преимущественно злых духов, которые накликают на них разные бедствия, и «шаманов», или жрецов, которые служат посредниками между этими духами и их жертвами. Они презирают всякую земную власть, и мы вскоре сами видели блистательное подтверждение этой черты их характера.

Майору почему-то вздумалось, что для получения от этих туземцев всего нужного для нас, он должен убедить их в своём могуществе, богатстве и важном положении в свете и тем внушить им уважение к его приказаниям и желаниям. Поэтому-то он призвал однажды самого старшего и самого влиятельного члена всей шайки и начал рассказывать ему через переводчика о своём богатстве, о своей власти назначать наказания и награды, о своём высоком положении, о важном месте, занимаемом им в России, и о том, с какой сыновней почтительностью и уважением бедные кочующие язычники должны обращаться с такой знаменитой личностью. Престарелый коряк, сидя на корточках на земле, спокойно слушал перечисление всех превосходных качеств и совершенств нашего предводителя, и ни один мускул не дрогнул на его лице. Когда же переводчик кончил, он медленно поднялся, подошёл к майору с невозмутимой важностью и с самым добродушным и покровительствующим снисхождением похлопал его тихонько по голове! Майор покраснел и громко захохотал, но никогда более не пытался чем бы то ни было привести коряка в раболепствующий трепет.

Такая демократическая независимость коряков ничуть не мешает им быть гостеприимными, услужливыми и добрыми, и из первого же знакомства с ними мы были уверены, что все они без затруднения повезут нас на оленях от одного кочевья до другого, пока, наконец, мы не достигнем северной части Пенжинского залива. обстоятельно объяснившись с коряками, собравшимися вокруг нас, пока мы сидели у огня, мы почувствовали усталость и дремоту и влезли в наш маленький полог, произведши на этот новый для нас и странный народ самое благоприятное впечатление. В другом углу юрты кто-то пел тихую, грустную песню в минорном тоне, пока я засыпал, и печальный, часто повторяемый напев, столь

не похожий на обыкновенную музыку, как-то странно убаюкал меня в мою первую ночь под коряжской палаткой.

Возстать ото сна с припадком кашля, возбуждённого густым, едким дымом, вылезти из спальни, сделанной из шкур, шести футов в квадрате, в ещё более душную и дымную атмосферу палатки, завтракать сушёной рыбой, мёрзлым салом и дичиной из грязного деревянного корыта рядом с тощими собаками, стоящими на задних лапах по сторонам и жадно следящими за каждым глотком, — вот прелести коряжского образа жизни, долго выносить который могут только одни коряжи. Сангвиник, быть может, найдёт в новизне этой жизни некоторое вознаграждение за её неудобства, но ощущение новизны редко продолжается до второго дня, а неудобства с каждым днём, кажется, всё более увеличиваются. Стойки могут уверять, что бодрый дух должен стоять выше всех внешних обстоятельств, но две недели в коряжской палатке разубедили бы их в этом заблуждении скорее, чем всякия логические доказательства. Я не могу похвастаться, что обладаю необыкновенно весёлым нравом, и печальная обстановка, встретившая меня, когда я на другое утро вылез из своего мехового мешка, не совсем приятно подействовала на меня.

Первые лучи разсвета врывались мутными, синеватыми полосами в дымную атмосферу палатки. Огонь, только что разведённый, не горел, а дымился, воздух был холоден и неприветлив, двое ребят кричали в соседнем пологе, завтрак не был готов, все были не в духе, и, не желая нарушать общее недовольное выражение лиц, я сам сделался угрюмым. Три или четыре чашки горячего чая, скоро, впрочем, появившиеся, произвели своё обычно благоприятное действие, и мы начали как-то веселее смотреть на наше положение. Призвав тойона и задоблив его сначала трубкой крепкого табаку, нам удалось уговориться с ним насчёт доставления нас в ближайший лагерь коряжков на севере на расстоянии приблизительно сорока вёрст. Сейчас же были отданы приказания о поимке двадцати оленей и о приготовлении саней. Проглотив наскоро несколько кусков сухарей и ветчины в виде завтрака, я поспешил надеть меховой капор и рукавицы и вылез через низкий выход взглянуть, как двадцать ручных оленей будут отделены от целого стада диких.

Во всех направлениях кругом палатки можно было видеть бродящих оленей, некоторые взрывали снег своими острыми копытами, отыскивая мох, другие с хриплым криком, сцепившись рогами, отчаянно дрались между собою или преследовали друг

друга в бешеном галопе по степи. Человек двадцать с арканами в руках выстроились возле палатки в две параллельные линии, между тем как другие двадцать с длинным ремнём из тюленьей кожи в двести или триста сажень длины окружили часть большого стада и, крича и махая арканами, начали загонять их к палатке. Отчаянными прыжками старались олени спастись из постепенно суживающегося круга, но ремень, за который держались туземцы в близком расстоянии друг от друга, всякий раз заставлял их ворочаться обратно, и они, несмотря на всё своё сопротивление, должны были прыгать в узкий проход, оставленный для них между двумя линиями людей, вооружённых арканами. Длинная верёвка взвивалась временами в воздухе, и петля падала на рога того или другого несчастного оленя, разветвлённые уши которого служили признаком его прирученности, хотя его ужасные прыжки и бешенные усилия вырваться на волю заставляли сильно сомневаться в степени его прирученности.

Во избежание того, чтобы рога оленей не сцеплялись, когда они будут запряжены парой в сани, туземец безжалостно срезал один рог большим ножом плотно у головы, оставив только красный корешок, из которого кровь текла тоненькой струйкой на ухо животного. После того их запрягли попарно в сани посредством хомута и постромки, пропущенной между передними ногами. Верёвки были привязаны к маленьким острым гвоздям у оглоблей, которые кололи правую и левую сторону головы, в зависимости от того, за какую возжу дергали, и экипаж был уже запряжён.

Распростившись с камчадалами из Лесновска, провожавшими нас до этих пор, мы завернулись в самые толстые меха, чтоб защититься от резкого холода, уселись в сани и после лаконического «тот» (ступай) тойона двинулись в путь. Небольшая группа палаток всё более походила на группу конических островов по мере того, как мы углублялись в безграничную снежную степь. Заметив, что я вздрагивал в морозном воздухе, мой возница указал на север и воскликнул с выразительным движением: «Там шибко холодно!» Но не было никакой надобности сообщать нам об этом факте. Быстро падающая ртуть в термометре указывала о приближении к царству вечных морозов, и я не без ужаса размышлял о ночах, которые нам придётся проводить на открытом воздухе при таком ужасном холоде, о котором я читал, но который мне никогда не приводилось испытать.

Мне впервые пришлось путешествовать на оленях, и я порядочно разочаровался, увидя, что оно не совсем оправдывало те

понятия, которые я составил в детстве, глядя на скачущих лапландских оленей на картинках в старой географии. Олени были передо мною, но это не были идеальные олени юношеских лет, и я чувствовал себя будто обиженным и обманутым, увидя, что добрыя быстроногия животныя моей детской фантазии заменились в действительности такими неуклюжими созданиями. Они тяжело и неловко шагали и низко держали головы. Их затруднённое дыхание и разинутые рты выражали постоянно полное утомление и возбуждали, скорее, жалость к их заметно тяжёлым усилиям, чем удивление к их быстрому бегу.

Олень, котораго я себе представлял в воображении, никогда бы не унизился настолько, чтоб бежать с широко разинутым ртом. Когда я впоследствии узнал, что они принуждены дышать ртом по тому случаю, что ноздри их скоро индевеют, я перестал бояться, что они выбьются из сил, но не изменил моего глубокого убеждения, что мой идеальный олень был неизмеримо выше действительнаго животнаго с эстетической точки зрения. Но, так или иначе, я не мог признать той неоценённой услуги, которую олень оказывает своим кочующим владельцам. Кроме того, что он перевозит их с места на место, он даёт им одежду, пищу и покрывку для их палаток. Рога его идут на разную грубую утварь, из его сухожилий делают нитки, его кости, пропитанные тюленьим жиром, употребляются как топливо, его внутренности очищаются, начиняются салом и употребляются в пищу. Из его крови, смешанной с содержимым его желудка, готовится маниалла, его мозг и язык считаются самыми лакомыми блюдами. Жёсткая, щетинистая кожа его ног употребляется на обшивку лыж, помимо того, всё его тело, принесённое в жертву корякским богам, низводит на его обладателей все духовныя и мирскія блага, в которых они нуждаются. Не так-то легко найти другое животное, которое играло бы такую важную роль в жизни человека, как северный олень в жизни и хозяйственной экономии сибирских коряков. Тем не менее, я не знаю такого, которое удовлетворяло бы первым четырём потребностям человека, то есть доставляло бы ему пищу, одежду, кров и средство к переезду. Непонятно только то, что сибирские туземцы, единственный народ, который, насколько мне известно, приручил севернаго оленя, за исключением лапландцев — не употребляют его молока. В силу каких обстоятельств такой важный и полезный предмет потребления находится в пренебрежении, между тем как из всех других частей тела оленя извлекается столько выгод, я, положительно, не понимаю. Верно,

однако, что ни одно из четырёх великих кочующих племён Северной Сибири, то есть коряки, чукчи, тунгузы и самоеды, не употребляют оленьё молоко ни в каком виде.

Около двух часов пополудни начало смеркаться. Мы рассчитали, что сделали по меньшей мере половину нашего дневного пути и остановились на несколько минут, чтобы дать оленям поесть. Вторая половина путешествия казалась нескончаемой. Месяц взошёл круглый и ясный, как щит Ахиллеса, и осветил огромную, пустынную тундру почти дневным светом. Но это молчание и запустение, отсутствие малейшего тёмного предмета, на котором глаз мог бы отдохнуть, и безграничное протяжение этого мёртвого моря снега давила нас каким-то новым и страстным ощущением ужаса. Густые облака пара, непреременные спутники сильного холода, поднимались от тела оленей и висели над дорогой долго после нашего проезда. Бороды наши напоминали собою беспорядочные массы замерзшей железной проволоки, ресницы отяжелели от инея и слипались при мигании, носы принимали белый восковой цвет при малейшем неосторожном прикосновении воздуха, и мы могли сохранить некоторое чувство в наших окоченелых ногах только тем, что часто бежали возле саней по снегу. Возбуждаемые холодом и голодом, мы повторяли двадцать раз с отчаянием: «Далеко ли ещё?» — и двадцать раз получали одинаковый, но неопределённый ответ: «Чаймук», — близко или изредка ободряющее уверение, что сию минуту приедем. Мы прекрасно знали, что не только через минуту, но и через сорок минут мы едва ли доберёмся до места, но подобный ответ нас всё-таки утешал.

Безпрестанное повторение вопросов побудило, наконец, моего возницу попробовать выразить расстояние арифметически, и, по видимому, гордясь своим знанием русского языка, он уверял меня, что остаётся всего «две версты». Я тотчас ободрился в ожидании яркого очага и безчисленного множества чашек горячего чая, и умел заглушить настоящее чувство страдания воображаемым представлением будущих удовольствий. Но по прошествии сорока пяти минут, не видя и признаков обещанного жилья, я осведомился ещё раз о расстоянии. Один из коряков осмотрелся с уверенным видом кругом, ища каких-нибудь знакомых примет, и, обратясь ко мне, повторил слово «верста» и поднял четыре пальца. Я в отчаянии откинулся в мои сани. Раз что в три четверти часа проехали только две версты, сколько же времени нужно было бы употребить, чтобы возвратиться к тому месту, откуда мы выехали? Эта задача приводила меня в отчаяние, и после нескольких

неудачных попыток решить её, я бросил это занятие. На пользу будущих путешественников я передам несколько туземных выражений разстояния с их численным значением.

«Чаймук» — близко, двадцать вёрст; «немного» — пятнадцать вёрст; «сейчас приедем» — равняется всякому времени дня и ночи; «далеко» — значит недельное путешествие. Ознакомившись со всеми этими простыми выражениями, путешественник избегнет многих горьких разочарований и, может быть, не совсем потеряет веру в человеческую искренность.

Почти в шесть часов вечера, усталые, голодные и полузамерзшие, мы увидали искры и красный дым, поднимавшиеся над палатками второго лагеря, и среди всеобщаго лая собак и крика людей мы въехали в него. Поспешно соскочив с саней, не имея другой мысли, как добраться поскорее до огня, я влез в первый вход, представившийся мне, с полной уверенностью, основанной на вчерашнем опыте, что это должна была быть дверь. Двигаясь некоторое время ощупью в темноте, споткнувшись на двух мёртвых оленях и на кучу сушёной рыбы, я должен был, наконец, громко просить о помощи. Велико было удивление владельца, который явился на зов с огнём, увидя белаго незнакомца, бродящего безцельно по его кладовой. Предварительно вскрикнув от изумления, он указал мне, наконец, дорогу во внутренность палатки, где я нашёл майора, старающегося отрезать плохим коряжским ножом свою бороду от мехового кукуля и освободить свой рот от слоя льда и волос.

Котелок с чаем скоро закипел над ярким огнём, бороды наши оттаяли, носы были освидетельствованы, и через полчаса мы тихо сидели вокруг стола, импровизированнаго из свечного ящичка, пили чай и разсуждали о событиях дня. Только что Вьюшин наполнил по третьему разу наши чашки, как кожаная занавесь низкой входной двери возле нас приподнялась, и самое необыкновенное существо, какое я когда-либо видел в Камчатке, молча вползло в неё, поднялось во весь свой шестифутовый рост и величественно стало перед нами. Это существо представляло собою уродливаго человека с тёмным лицом, лет тридцати от роду. Его одежда состояла из красного платья с голубыми отворотами и медными пуговицами, с длинными золотыми шнурками, висящими на груди, и из чёрных, сальных панталон из оленьей шкуры и меховых сапог. Его волосы были старательно выбриты на макушке и только на висках и за ушами висели жидкими, неровными прядями. Множество ниток мелких цветных бус украшало его уши, и за одним из них торчал большой пучок табаку для будущаго употребления.

Он был подпоясан изорванным ремнём из тюленьей кожи, на котором висела великолепная шпага с серебряным эфесом в резных ножнах. Его закоптелое, чистое коряжское лицо, бритая голова, красное платье, сальные кожаные панталоны, золотые шнурки, ременный пояс, шпага с серебряным эфесом и меховые сапоги представляли такую противоположную смесь, что мы долго смотрели на него с величайшим удивлением.

— Что вы за человек? — спросил, наконец, майор по-русски.

Низкий поклон был единственным ответом.

— Откуда вы явились? Вторичный поклон.

— Где достали вы это платье? Можете ли вы говорить что-нибудь?

— Эй! Миронов! Поди, поговори с этим молодцом, я не могу добиться от него ни слова.

Додд высказал предположение, что он, может быть, принадлежит к экспедиции сэра Джона Франклина и прислан сообщить новейшие сведения о полюсе и Северо-Западном проходе. Молчаливо владелец шпаги кивнул утвердительно головой, как будто это была настоящая разгадка тайны.

— Вы, может быть, ничто иное как маринованная капуста? — вдруг спросил Додд по-русски.

Незнакомец с большою важностью кивнул утвердительно головой.

— Он ничего не понимает! — сказал Додд с нескрываемой досадой.

— Куда девался Миронов?

Миронов вскоре явился и предложил таинственному незнакомцу в красном платье вопросы о его местожительстве, имени и происхождении.

Наконец-то он заговорил.

— Что он говорит? — спросил майор. — Как его зовут?

— Он говорит, что его зовут Ханальпучиник.

— Где взял он это платье и эту шпагу?

— Он говорит, что «Великий Белый Начальник» дал их ему за убитаго оленя.

Такой ответ был не совсем удовлетворителен, и Миронову было поручено добиться более подробных сведений.

Кто был этот «Великий Белый Начальник» и почему он дал красное платье и серебряную шпагу за убитаго оленя, — были вопросы, которые мы не могли решить. Но вскоре недоумевающее лицо Миронова прояснилось, и он сказал нам, что платье и шпага

были пожалованы незнакомцу императором в награду за оленей, пожертвованных во время голода нуждающимся русским в Камчатке. Мы предложили коряку вопрос, не получил ли он какой бумаги вместе с этими дарами, и он тотчас же вышел из палатки и возвратился через минуту с листом бумаги, старательно завязанным оленьими жилами между двух тоненьких дощечек. Принесённая бумага объяснила нам всё. Платье и шпага пожалованы были отцу настоящего владельца их в царствование Александра I русским губернатором Камчатки в награду за помощь, оказанную этим коряком русским во время голода. От отца её унаследовал сын, и этот последний, гордясь своими унаследованными знаками отличия, представился нам, лишь только услышал о нашем приезде. Ничего большего он не желал, как только показать себя. Освидетельствовав его шпагу, которая была, действительно, великолепной работы, мы дали ему несколько пучков табаку и простились с ним. Таким образом, мы совершенно нечаянно натолкнулись в дёбрях Камчатки на воспоминание об императоре Александре I.

Глава 19

Скучное путешествие. Свадьба у коряков. Не желаете ли скушать поганку? Однообразная жизнь

На следующий день после разсвета мы стали продолжать наш путь. Мы ехали целый день, и опять уже начало смеркаться. Прошло часа четыре с тех пор, как стемнело, а мы всё ехали по безграничной равнине, не встречая в продолжение всего времени ни малейшего признака, могущаго указать нам дорогу. Я удивлялся, как наши проводники умели верно определять стороны света и направлять путь, соображаясь только с расположением снега. Сильный северо-восточный ветер, господствующий в этой местности в продолжение зимы, сметает снег в длинная волнообразныя борозды, называемыя застругами, которыя лежат всегда перпендикулярно направлению ветра, то есть от северо-запада к юго-востоку. Только что выпавший снег иногда засыпает их в продолжение нескольких дней, но опытный коряк, раскопав верхний слой, всегда может сказать, где север, и идёт к своей цели днём и ночью почти по прямой линии.

Мы достигли третьего стана около шести часов и, войдя в самую большую палатку, были крайне удивлены, увидя целую толпу туземцев, собравшихся как будто в ожидании какой-нибудь церемонии или какого-либо интереснаго зрелища. Переводчик

сообщил нам, что здесь готовятся к совершению свадебного обряда. Сначала мы хотели, было, искать себе другого помещения в более свободной палатке, но потом решились остаться, чтобы посмотреть, каким образом этот обряд совершается у такого грубого и непросвещённого народа.

Свадебная церемония у коряков замечательна своей полнейшей своеобразностью, полным пренебрежением к чувствам жениха. Ни в какой другой стране не существует такой странной смеси здравого смысла и нелепости, как у коряков при свадебном обряде. Мы полагаем, что ни у какого другого народа несчастный жених не подвергается таким унижительным оскорблениям, как у коряков. Женитьба есть или должна была бы быть серьёзным предметом размышления для всякого молодого человека, но тут, у коряков, свадебный обряд, положительно, должен приводить жениха в ужас, в особенности, если он обладает некоторой долей чувствительности. Свидетельство о бракосочетании, если только подобный документ существует у коряков, может служить несомненным признаком храбрости, и храбрость эта доходит до положительного героизма, если человек женится два или три раза. Я знал в Камчатке одного коряка, у которого было четыре жены, и почувствовал такое же уважение к его геройской храбрости, как будто он был в числе шестисот, бывших у Балаклавы.

Полагаю, что этот обряд никем ещё не был описан, и хотя всякое описание бывает много бледнее действительности, но всё-таки, может быть, американские влюблённые поймут, какого несчастья они избегают, родясь в Америке, а не в Камчатке. Бедствия молодого коряка начинаются с той самой минуты, как он влюбляется. Любовь, подобно гневу Ахиллеса, есть ужасный источник безчисленных бедствий. Если его намерения серьёзны, он является к отцу своей возлюбленной с формальным предложением, удостоверяется в количестве ея приданного, состоящего из оленей, и узнаёт назначенную за неё цену. Ему тогда предлагают работать за свою жену два или три года. Очень тяжёлое испытание для привязанности молодого человека. Тогда он ищет свидания с самой молодой девушкой и исполняет приятную или неприятную обязанность, называемую в цивилизованных странах «объяснением».

Мы старались узнать у коряков о лучшем способе приступать к этому деликатному вопросу, но не узнали ничего, что можно было бы применить к цивилизованному обществу. Если чувства молодого человека взаимны, и он получает решительное согласие на брак, то бодро принимается за работу. В продолжение двух

или трёх лет рубит и таскает дрова, караулит оленей, заготавливает сани и вообще всячески способствует благосостоянию своего будущего тестя. По истечении этого периода испытания настанёт великий «*experimentum crucis*», которое решает его судьбу и успешность или неуспешность его долгих стараний.

За этим интересным кризисом мы застали наших корякских друзей в третьем стане. Палатка, в которую мы вошли, была необыкновенно просторна и заключала в себе двадцать шесть пологов, устроенных вокруг ея внутренней стены. На свободном пространстве посредине, у очага, сидела толпа коряков с тёмными лицами и полуобритыми головами. Всё их внимание, казалось, разделялось между разными котелками и корытцами с маниллой, варёным мясом, мозгом, замороженным салом и тому подобными лакомствами и спором насчёт каких-то пунктов брачного обряда. По моему незнанию языка, я не был в состоянии вполне вникнуть в достоинство обсуждаемого вопроса. По-видимому, доводы обеих сторон имели свои основания. Наше внезапное появление, казалось, на время отвлекло их внимание от главного предмета. Татуированные женщины и мужчины с обритыми головами с удивлением смотрели на бледнолицых гостей, явившихся незвано на свадебный пир не в фрачных одеждах. Наши лица были, бесспорно, грязны, наши синие рубашки и лосиные панталоны носили следы двухмесячного утомительного путешествия в виде дыр и лохмотьев, которые только отчасти скрывались под толстым слоем оленьих волос, приставших к ним от меховых кулек. Вся наша наружность, действительно, свидетельствовала скорее о нашем близком знакомстве с грязными юртами, горными проходами и сибирскими вьюгами, чем с цивилизирующим влиянием мыла, воды, бритв и иголок. Мы выдержали любопытные взгляды всех сидевших у очага коряков с полным равнодушием людей, привыкших к этому, затем мы стали прихлёбывать горячий чай в ожидании начала церемонии. Я с любопытством озирался вокруг, чтобы угадать счастливых кандидатов на брачные узы, но они, вероятно, скрывались в одном из пологов. Но вот окончилось угощение и недоумение.

Вдруг раздался мерный барабанный бой, наполнивший палатку оглушительными звуками (вероятно, речь идёт о звуках бубна. — *Ред.*). В эту самую минуту в палатку вошёл высокий суровый коряк с охапкой ивовых прутьев и ольховых веток, которых он начал раздавать по всем пологам палатки.

— К чему это? — спросил Додд.

— Не знаю, — отвечал я. — Сидите смиренно, увидим, что будет дальше.

Оглушительный барабанный бой продолжался во время раздачи ивовых прутьев. Наконец барабанщик запел тихий речитатив, всё более и более возвышая голос и воодушевляясь, пока пение не превратилось в какие-то дикие звуки, а барабан отбивал такт. Затем заметно было маленькое волнение, передняя занавесь у всех пологов отдернулась, у входа каждого полога поместились по две или по три женщины и взяли в руки приготовленные заранее ивовые ветви. Через несколько минут почтенный туземец, которого мы приняли за отца одного из брачующихся, вышел из одного из пологов возле двери, ведя за собой красивого молодого коряка и его тёмнолицую невесту. При их появлении общее возбуждение дошло почти до изступления, музыка удвоила свой быстрый темп, мужчины посредине палатки присоединили свои голоса к громкому пению и по временам сопровождали его резкими дикими вскрикиваниями. При знаке, данном туземцем, введшим чету, невеста стремительно бросилась в первый полог и начала быстро бегать вокруг палатки, поднимая последовательно занавесы между пологами и пробегая через них. Жених горячо преследовал её, но женщины, находящиеся у каждого полога, всячески старались задержать его, подставляя ему ноги, опуская занавесы, чтобы помешать ему пройти, и осыпая его беспощадными ударами ивовых и ольховых прутьев по самым чувствительным частям его тела, когда он наклонялся, чтобы поднять занавески.

Воздух оглашался барабанным боем, одобрительными и насмешливыми возгласами и звуками тяжёлых ударов, которыми каждая кучка женщин угощала несчастного жениха, прогоняя его сквозь строй. Очевидно было, что, несмотря на все усилия, ему не удастся настигнуть бедную Атланту, прежде чем она обежит кругом всей палатки, но он с невозмутимым рвением продолжал стремиться к своей цели, спотыкаясь о подставленные ему ноги преследовательниц и постоянно запутываясь в складки занавесок из оленьей шкуры, которые оне бросали ему на голову и на глаза с искусством матадора. Но вот невеста вошла в последний полог у дверей, а несчастный жених всё ещё боролся со всеми безчисленными препятствиями на половине дороги вокруг палатки. Я ожидал, что он откажется, наконец, от состязания после исчезновения невесты, и готовился громко протестовать против несправедливости такого испытания, но, к моему удивлению, он продолжал борьбу, пока, наконец, не ворвался в последний полог и не настиг своей

невесты. Музыка вдруг замолкла и толпа начала выходить из палатки. Церемония, по-видимому, кончилась.

Обратясь к Миронову, следившему с довольной улыбкой за всей этой сценой, мы спросили, что всё это означало.

— Что же, свадьба кончена?

— Да-с, — сказал он утвердительно.

— Но, — возразили мы, — ведь он её не поймал?

— Она ждала его, ваше благородие, в последнем пологе, и достаточно, если он там поймал её.

— А если бы он её вовсе не поймал, чтобы тогда было?

— Тогда, — отвечал казак с видом сострадания, — это значило бы, что бедный малый проработал два года даром!

Это было забавно для жениха: работать два года за жену, подвергнуться мучительному сечению ивовыми прутьями по окончании срока и потом не иметь никакой гарантии против вероломства невесты. Его вера в её постоянство должна быть безгранична. Цель всего обряда заключалась в том, чтобы предоставить девушке свободу выбора: идти за этого молодого человека или нет, так как ему положительно невозможно было бы догнать её при таких обстоятельствах, если она добровольно не подождёт его в одном изпологов.

Обычай этот доказывает более рыцарское отношение к желаниям и предпочтениям прекрасного пола, чем можно было бы ожидать при таком низком уровне развития. Но мне, как безпристрастному зрителю, казалось, что тот же результат мог бы быть достигнут с меньшими неприятностями для несчастного жениха! Можно было бы отнестись с большим уважением к его человеческому достоинству. Я не мог достоверно узнать смысла наказания ивовыми прутьями, которыми ежеминутно подвергают жениха. Додд высказал предположение, что оно могло быть символом супружеской жизни — род предзнаменования будущих семейных испытаний, но, судя по мужественному характеру коряков, это казалось мне невероятным. <...>

По окончании церемонии мы перешли в соседнюю палатку и, выйдя на двор, увидели трёх или четырёх коряков, которые кричали и шатались совершенно пьяные, празднуя, вероятно, только что совершившееся событие. Я знал, что во всей Северной Камчатки не существовало вовсе спиртных напитков и ничего такого, из чего можно было бы их приготовить, потому я никак не мог понять, как они могли так внезапно и скоро охмелеть. Возбуждающее снадобье, ими принятое, очевидно, производило такое

же быстрое действие и имело такие же результаты, как лучший алкоголь, известный новейшей цивилизации. Осведомившись, мы узнали, к величайшему нашему удивлению, что они поели одного растения, известного в общезнании под именем поганки.

В Сибири растут особенные грибы этого вида, называемые мухоморами, которые обладают охмеляющими свойствами и употребляются с этой целью почти всеми сибирскими племенами. Употребляемые в большом количестве, они действуют как сильный наркотический яд, но незначительная доза их производит все действия алкогольной жидкости. Его постоянное употребление, впрочем, совершенно потрясает нервную систему. Русские купцы, продающие это растение туземцам, подвергаются по русским законам строгому взысканию. Но, несмотря на все запрещения, торговля производится тайком, мне самому довелось видеть, как за один такой гриб коряки давали, по крайней мере, долларов на двадцать ценных шкур. Сами коряки не могут собирать мухоморов, потому что они растут только в лесах и никогда не встречаются на голых степях, по которым они кочуют. Поэтому они принуждены покупать их у русских купцов за баснословные цены.

Для американского уха покажется приглашение гостеприимного коряка своему проезжему приятелю крайне странным. Вместо того, чтобы сказать ему: «Зайди-ка выпить стаканчик», он говорит: «Не хочешь ли отведать поганки?» Такое предложение вовсе не соблазнительно для цивилизованного пьяницы, но оно имеет волшебное действие на гуляку-коряка. Так как запрос на мухоморы значительно превосходит привоз их, то изобретательность коряков всячески изошрялась, чтобы сберечь это драгоценное возбуждающее средство и продлить его действие как можно долее. Иногда является у всего табора потребность напиться, а между тем во всём стане имеется только одна поганка. Нужно, впрочем, сказать, что этот отвратительный обычай существует только у оседлых коряков Пенжинского залива — у самого неразвитого и притуплённого народца этого племени. Может быть, он встречается, но только в меньшей мере, у некоторых кочующих туземцев, но мне всего раз только случилось слышать о нём вне поселений Пенжинского залива.

Наше путешествие в продолжение следующих дней после нашего отъезда из третьего стана было утомительно и однообразно. Неизменная рутинная наша ежедневная жизнь в дымных корякских палатках и вечно одинаковая, пустынная, ровная местность —

страшно нам прискучили. Мы с тоскливым нетерпением думали о русском городе Гижигинске на севере Гижигинского залива, который был Меккой нашего долгого странствования. <...>

Глава 20

Язык коряков. Религия, нравы и обычаи

Наши продолжительные сношения с кочующими коряками дали нам возможность изучить многия из их особенностей, которые легко могут ускользнуть при беглом знакомстве с ними. Наше путешествие до Пенжинского залива было лишено всяких интересных событий, и я закончу эту главу сведениями, которые я мог собрать относительно языка, религии, суеверий, обычаев и образа жизни камчатских коряков.

Не может быть сомнения, что коряки и могущественное племя чукчей произошли от одного корня и вместе выселились из своей первоначальной родины в те места, где они живут теперь. Уже несколько столетий прошло с тех пор, как они отделились друг от друга, но до сих пор между ними так много сходства, что их трудно различить и между их наречиями менее разницы, чем между португальским и испанским языками. Наш корякский переводчик не встретил никаких затруднений, разговаривая с чукчами, а сравнительный словарь, который мы впоследствии составили, указывает на самые незначительные диалектические изменения, происшедшие вследствие недавнего разделения племён. Ни у одного из знакомых мне сибирских языков нет азбуки, а потому, не имея прочной опоры в письменности, они изменяются очень быстро. Это видно из сравнения новейшего словаря чукчей со словарём, составленным г. Лессепсом в 1788 г. Многия слова так изменились, что их трудно узнать. Другия же, напротив, как, например, «тин-тин» — лёд; «уттгут» — лес; «уингей» — нет; «ай» — да и большая часть чисел до десяти совсем не изменились. И коряки, и чукчи считают пятками вместо десятков, особенность, свойственная только природным жителям Аляски. Вот названия корякских чисел: «иннин» — один; «ни-ак» — два; «ни-окх» — три; «не-акх» — четыре; «миллинген» — пять; «иннин миллинген» — пять-один; «ни-ак» — пять-два; «ни-окх» — пять-три; «не-акх» — пять-четыре; «мин-ие-гит-кхин» — десять.

После этого они считают десять-один, десять-два и так далее до пятнадцати, и потом десять-пять-один; но их счисление делается таким сложным, когда они дойдут до двадцати, что гораздо

легче носить пригоршню камешков и считать посредством них, чем произнести соответствующее число.

Например, «ни-ак-клин-кин-мин-ие-гит-кин-пар-ол-иннин-мил-линген» — означает всего пятьдесят шесть! Можно подумать, что это значит, по крайней мере, двести шестьдесят три миллиона девятьсот четырнадцать тысяч семьсот один, и то ещё было бы слишком мало. Впрочем, корякам редко случается употреблять такие большие числа, а если и приходится, то лишнего времени у них всегда немало. Много труда стоило бы мальчику объяснить по-корякски одну из задач высшей арифметики.

Мы никогда не были в состоянии отыскать какое-нибудь сходство между коряко-чукотским наречием и наречиями туземцев, живущих по ту сторону Берингова пролива. Если и существует какое-нибудь сходство, то, вероятно, в грамматике, а не в разговоре.

У всех племён Северо-Восточной Сибири, как кочующих, так и оседлых, господствующая религия — шаманизм. Эта религия очень разнообразится у разных народов и в разных местностях. У коряков и у чукчей она заключается преимущественно в почитании злых духов, которые, по их верованию, воплощены во всех таинственных силах и проявлениях природы, как-то: эпидемиях и заразительных болезнях, разрушительных бурях, голоде, затмениях солнца и луны и северных сияниях. Она заимствовала своё название от шаманов, или жрецов, которые служат изъяснителями воли злых духов и посредниками между ними и человеком. Все сверхъестественные явления, в особенности разрушительные и страшные, приписываются прямому действию этих злых духов и принимаются как очевидные доказательства их неудовольствия. Многие утверждают, что вся система шаманизма есть ничто иное, как огромный обман, изобретённый несколькими хитрыми жрецами для извлечения себе выгод из легковерия суеверных туземцев. Но я уверен, что этот взгляд ошибочен. Человек, поживший некоторое время с сибирскими туземцами, изучивший их характер, подвергавшийся тем же влияниям, которые окружают их, и пытавшийся стать на их точку зрения, насколько это было возможно, не может сомневаться в искренности жрецов и их последователей или удивляться, что поклонение злым духам составляет основу их религии. Это единственное верование, возможное для таких людей и при таких обстоятельствах.

Один современный писатель, справедливость и безпристрастие которого не подлежат сомнению, прекрасно описал сибирских коряков, происхождение и свойство их религиозных верований,

что я не нахожу более лучшего, как привести его собственными словами (В. Е. Ленни. «История рационализма в Европе»):

«Ужас служит у дикарей основанием религии. В уме дикаря не те явления запечатлеваются сильнее всего, которые входят в обычный порядок законов природы и проявляют благотворные последствия, а те, которые действуют разрушительно и считаются сверхъестественными. Благодарность не так живуча, как страх. Малейшее нарушение законов природы производит более глубокое впечатление, чем самые чудесные проявления ее обыденной деятельности.

Поэтому, если природа является уму дикаря в своём самом ужасающем виде, если страшные болезни или естественные перевороты опустошают его страну, он непременно выводит из них представление о дьявольском присутствии. В темноте ночи, перед зияющей бездной и среди диких отголосков горного ущелья, в сиянии кометы или в торжественном мраке солнечного или лунного затмения, во время свирепствующего голода, землетрясения с его разрушительной силой, во время чумы, уносящей тысячи жертв, — словом, при несчастье, которое на время заглушает голос разсудка, является что-то ужасное, зловещее и смертоносное, дикарь ощущает при этом присутствие сверхъестественной силы и преклоняется перед нею. Вполне предоставленный всем влияниям природы, не зная той последовательной цепи законов, которой связаны ее различные проявления, он живёт в постоянном страхе того, что считает прямыми и самостоятельными действиями злых духов. Ощущая их постоянно возле себя, он, естественно, старается войти в сношения с ними. Дикарь силится умиротворить их жертвами. Если какое-нибудь несчастье обрушивается на него, если какая-нибудь страсть овладевает его разсудком, он пытается сам облечься их властью, а его возбуждённое воображение скоро убеждает его, что он достиг желаемого».

Эти полные глубокого смысла слова служат ключом к религии сибирских туземцев и представляют единственное удовлетворительное объяснение возникновению шаманов. <...>

Камчадалы, провожавшие меня в Саманских горах, были дети христианских родителей и с детства воспитаны в правилах православной церкви. Они твёрдо верили в Божественное искупление и в Божественное Провидение, каждое утро и вечер молились христианскому Богу. Но когда буря застигла их в этих суровых горах, страх перед естественными силами одержал верх над их религиозными убеждениями, и они принесли в жертву собаку,

подобно самым закоснелым язычникам, чтобы умиловить гнев злого духа, проявлением которого была для них настоящая буря. Я мог бы привести много примеров, где самая твёрдая, по-видимому, и искренняя вера в существование Божественного Промысла и Всемогущества была побеждена влиянием на воображение какого-нибудь поражающего, необычайного явления природы. Поступки человека управляются не столько его рассудком, сколько впечатлением минуты. Вследствие этого-то минутного впечатления и возник шаманизм.

Обязанности шаманов, или жрецов, у коряков заключаются в заклинаниях над больными, в сообщении со злыми духами и в истолковании их воли людям. Если какое-нибудь несчастье, как, например, болезнь, голод или буря, обрушивается на племя, это приписывается, конечно, гневу злого духа. Тогда советуются с шаманом о лучшем способе укротить его гнев. Жрец, к которому с этим обратились, собирает народ в одну из самых больших палаток, облекается в длинную одежду, испещрённую фантастическими фигурами птиц, животных и странными иероглифическими знаками, распускает свои длинные чёрные волосы и, взяв большой туземный барабан, начинает петь вполголоса, сопровождая свою песню медленным, торжественным барабанным боем.

По мере того, как пение делается всё энергичнее и быстрее, глаза жреца принимают странное выражение, тело его начинает искривляться, и его дикая песня смешивается со звуками барабана в один оглушительный непрерывный гул. Тогда, вскочив на ноги и потрясая конвульсивно головой, пока его длинные волосы не начинают издавать лёгкий треск, он пускается в бешеную пляску вокруг палатки и опускается, наконец, в изнеможении на скамью. Через несколько минут он объявляет поражённым ужасом туземцам сообщение, полученное им от злого духа, которое заключается, по большей части, в приказании принести в жертву известное число собак или оленей, или, пожалуй, человека оскорблённым богам. Во время этих диких заклинаний жрецы иногда вводят в обман своих легковверных последователей, показывая им фокусы вроде проглатывания горячих углей или прокалывания своего тела ножами. Но в большинстве случаев шаман сам искренно верит, что он руководим и употребляем сверхъестественной силой. Впрочем, иногда сами туземцы, кажется, сомневаются в мнимом вдохновении своего жреца и сильно его бичуют, чтоб испытать истину его слов и подлинность его откровений. Если он настолько твёрд, что во время истязания не выкажет человеческой

слабости и страданий, его власть, как служителя злых духов, считается доказанной, а его приказания исполняются в точности.

Кроме жертвоприношений, требуемых шаманами, коряки приносят жертвы, по крайней мере, два раза в год, чтобы обезопасить себе хороший улов рыбы, тюленей и благоприятную погоду. Нам часто случалось видеть в одном только кочевье двадцать или тридцать собак, повешенных за задние ноги на длинных шестах. Огромное количество травы собирается всякое лето и сплетается в венки, которые вешают на шею убитых животных. Приношения в виде табаку постоянно бросаются злым духам, когда коряки переходят через вершины гор. Тела умерших сжигаются у всех кочующих племён вместе со всем их имуществом в надежде на конечное воскрешение духа и материи. Больных, на выздоровление которых не осталось ни малейшей надежды, побивают камнями и прокалывают копьём. Мы сами убедились в том, что слышали от русских и камчадалов, а именно, что коряки сами убивают стариков, лишь только болезни или преклонные лета делают их неспособными к перенесению всех трудностей кочевой жизни.

Из долгого опыта они приобрели страшное умение лишать жизни лучшим и скорейшим способом. Они часто объясняли нам с ужасающими подробностями в длинные вечера, которые мы проводили в их дымных пологах, различные способы убивать человека и указывали на самые чувствительные части тела, где единственная рана копьём или ножом бывает смертельна. Коряки приучаются смотреть на такую смерть как на естественный конец их существования, встречая её совершенно спокойно. Редко случается, чтобы человек желал пережить период своей физической деятельности и силы. Их умерщвляют в присутствии всей орды с особенными церемониями. Потом тела их сжигают, а пепел разносится по воле ветра.

Этот обычай умерщвлять старых и больных и сжигать тела умерших произошёл вследствие кочующей жизни коряков и служит новым доказательством могущественного влияния физических законов на действия и нравственные чувства человека. И те, и другие прямо и почти неизбежно проистекают из свойства страны и климата. Бесплодность почвы Северо-Восточной Азии и суровость продолжительной зимы побудили человека приручить северного оленя, как единственное средство к поддержанию жизни, кочевая жизнь сделала болезнь и старость слишком тяжёлым бременем, как для самих страждущих, так и для тех, которым приходится заботиться о них. Всё это окончательно повело за

собою умерщвление старых и больных как меру, благотворительную для обеих сторон. Те же причины ввели в обычай сжигание мёртвых. Им невозможно было при их кочевой жизни иметь какое-либо общее для всех место погребения. Только с величайшим трудом могли бы они рыть могилы в вечно мёрзлой земле. Нельзя также было оставлять трупы на съедение волкам. Таким образом, сожжение оказалось единственным средством.

Ни один из этих обычаев не заставляет предполагать какую-нибудь врождённую жестокость или варварство со стороны коряков. Это только естественное следствие известных обстоятельств, доказывающих, что сильнейшие душевные движения человеческой природы, как-то сыновнее почтение, братская привязанность, любовь к жизни и уважение к дорогим останкам, не в силах противостоять действию великих законов природы. Православная церковь старается посредством миссионеров обратить в христианство все сибирские языческие племена, и хотя, по-видимому, оно имело некоторый успех между оседлыми народами, но кочующие племена продолжают придерживаться шаманизма, так что в скудно населённой Сибири насчитывают более семидесяти тысяч последователей этой религии. Для обращения кочующих племён в христианство необходимо, прежде всего, распространить между ними просвещение и изменить их образ жизни.

Между разными предразсудками кочующих коряков и чукчей замечательно, между прочим, их упорство разстаться с живым оленем. Вы можете купить у них сколько угодно убитых оленей, хоть пятьсот, за самую ничтожную плату, но живого оленя вам не отдадут, ни из дружбы, ни за деньги. Предлагайте им огромное количество табаку, медных котлов, бус и красных платьев за одного живого оленя, они решительно откажутся продать его. Но если вы позволите им убить то же животное, то вы можете получить труп его за одну нитку простых стеклянных бус. Напрасно было бы им доказывать нелепость этого предразсудка. Они не дадут вам другого объяснения, как «продать живого оленя было бы аткин (дурно)».

Для проведения нашей предполагаемой телеграфной линии нам необходимо было иметь нескольких ручных оленей, и мы предлагали корякам какое угодно вознаграждение за одно только животное, но все наши усилия остались тщетными. Они уступали нам сотню убитых оленей за сто фунтов табаку, но пятьсот фунтов не могли их соблазнить разстаться с одним животным, пока в нём был ещё признак жизни.

В продолжение двух с половиною лет, проведённых нами в Сибири, ни одной из наших партий, насколько я знаю, не удалось купить у коряков или чукчей ни одного живого оленя. Все олени, которыми мы владели впоследствии, около восьмисот голов, были приобретены от кочующих тунгусов.

Коряки, конечно, самые богатые владельцы оленьих стад во всей Сибири, а следовательно, и во всём свете. Многия стада, которых мы видели в Северной Камчатке, доходили до восьми или двенадцати тысяч голов. Нам говорили, что какой-то богатый коряк, живущий посреди «Великой тундры», владел тремя огромными стадами северных оленей в различных местах. У него было около тридцати тысяч голов. Забота о стадах оленей составляет почти единственное занятие коряков. Они принуждены постоянно перекочёвывать с места на место, чтобы отыскивать корм этим животным и стеречь их день и ночь, оберегая от волков. Каждый день восемь или десять коряков, вооружённых копьями и ножами, выходят перед сумерками из стана, отправляются за милю или за две к тому месту, где пасутся олени и строят там себе маленькия шалаши из сосновых ветвей, около трёх футов вышины и двух в диаметре. Там они и проводят всю долгую, холодную арктическую ночь, подкарауливая волков. Чем хуже погода, тем бдительность становится необходимее. Иногда среди зимней ночи, когда страшный северо-восточный ветер гонит, завывая, целыя облака снега, стая волков внезапно нападает на оленье стадо и разгоняет его на все четыре стороны. Обязанность караульных именно и заключается в том, чтобы предупредить такого рода случаи. <...>

Кочующие коряки по своей природе вообще добры. Они обращаются очень мягко с женщинами и детьми. В продолжение двух лет, которые я провёл с ними, я никогда не видал, чтобы они били женщину или ребёнка. Их честность замечательна. Не раз после нашего отъезда они запрягали нарочно оленей и догоняли нас на расстоянии пяти или десяти миль от стана, чтоб отдать ножик, трубку или другую безделицу, забытую нами у них в поспешности. Сани наши, нагруженныя табаком, бусами и другими предметами торговли, оставались без всякаго караула вне палаток, но никогда, насколько мне известно, ничего не было украдено. Некоторые орды принимали нас с таким радушием и гостеприимством, какого трудно было бы даже ожидать в цивилизованной стране от христианских народов. Если бы у меня не было денег или друзей, я с большим доверием обратился бы за помощью к шайке кочующих коряков, чем ко многим американским семействам.

Они, может быть, жестоки, согласно нашим понятиям о жестокости и варварстве, но измена между ними неизвестна. Я также, безусловно, вверил бы им мою жизнь, как всякому другому непрощенному народу.

Ночь за ночью по мере нашего приближения к северу Полярная звезда всё ближе и ближе подходила к зениту, пока, наконец, под шестьдесят второй параллелью мы увидели белые вершины Становых гор у верхней части Пенжинского залива. Это — самая северная граница Камчатки. Под сенью снежных склонов этих гор мы в последний раз в дымных палатках камчатских коряков поели из их деревянных корыт и без особого сожаления простились с однообразными и скучными степями полуострова и с их кочевым населением.

Глава 21

*Пенжина. Двадцать пять градусов мороза. Каменск. Корякская юрта. Путешествие в Гижигинск. Повозки.
Микина. Оседлые коряки*

22 ноября при двадцати пяти градусах мороза мы прибыли к устью большой реки, называемой «Пенжина», которая впадает в Пенжинский залив в северной части Охотского моря. Погода стояла хотя морозная, но ясная, только вдали, над серединою залива, повисло густое облако тумана, что доказывало, что именно там вода ещё не замёрзла, тогда как устье реки было всё завалено огромными земляными глыбами, шероховатыми, покрытыми плесенью камнями и беспорядочной массой льдин, прибитых сюда юго-западным ветром и примерзших одна к другой. Сквозь серый туман мы смутно различили на высокой противоположной крутизне странная очертания юрт каменных коряков в форме буквы «X».

Майор, Додд и я предоставили нашим проводникам переправляться через реку с оленями и санями, как они найдут более удобным, а мы отправились пешком, пробираясь между огромными неправильными глыбами прозрачного зеленоватого льда, цепляясь руками и ногами за громадные уступы, проваливаясь в широкие и глубокие расщелины и спотыкаясь об острые обломки льдин. Мы уже почти достигли другого берега, как вдруг Додд закричал: — О, Кеннан! Ваш нос совсем побелел, потрите его снегом! Скорее! Скорее!

Я несколько не сомневался, что и остальная часть моего лица также вся побелела при этом страшном сообщении. Утрата моего

носа при самом начале моего поприща арктического путешественника была бы для меня очень серьёзным несчастьем. Я схватил пригоршню снега, смешанного с острыми осколками льда, и начал тереть лишенный чувства орган, пока на кончике его не осталось ни малейшей частички кожи, а потом продолжал трение рукавицей, пока не устала рука. Если энергическое лечение могло спасти мой нос, то на этот раз с моей стороны было сделано всё. Почувствовав, наконец, что кровообращение в носу восстановилось, я перестал его тереть и влез за Доддом и майором по крутому берегу в корякское селение Каменск.

Это селение напоминало собрание гигантских деревянных песочных часов, сброшенных и разрушенных землетрясением. Дома, если только их можно было назвать домами, были около двадцати футов вышины, грубо построены из леса, выброшенного морем на берег, и формой своей могли только сравниться с песочными часами. У них совершенно не было ни окон, ни дверей, и входить в них можно было только по шесту, поставленному с наружной стороны, спускаясь по другому шесту через трубу. Удобства этого странного способа вхождения вполне зависели от деятельности и силы огня, разведённого внутри юрты. Дым и искры, хотя и довольно неприятные сами по себе, были сущими безделицами в сравнении с другими неудобствами.

Я помню, мне рассказывали в детстве, что один древний пустынный всегда входил в дом через трубу. Тогда я принимал этот факт с не разсуждающей ребяческой верой, но всё же никак не мог понять, как такое странное событие, как пролезание через трубу могло быть приведено в исполнение без всякой опасности. Желая удовлетворить такое любопытство, я каждую святки чувствовал непреодолимое желание испытать это на себе, но узкая труба английских печей останавливали меня в этом намерении. Я надеялся вполне на успех, если бы то была обыкновенная труба, но войти в комнату через восьмидюймовое отверстие и узкую печную дверку было решительно невозможно, так что мне пришлось отказаться от такого опасного опыта, и моё любопытство так и осталось неудовлетворённым. Мой первый вход в корякскую юрту в Каменске разрушил, впрочем, все мои детские сомнения и доказал возможность войти в дом таким оригинальным способом, какой практиковался древним пустынным.

Большая толпа одетых в звериные шкуры туземцев с диким видом собралась вокруг нас, когда мы вошли в селение, и смотрела на нас с тупым любопытством при нашей первой попытке влезть

по шесту в дом. Из уважения к сану и положению майора мы предоставили ему войти первому. Он очень удачно влез по первому шесту и с неподражаемой самоуверенностью начал спускаться в тёмное, узкое отверстие трубы, из которого выходили клубы дыма; но в ту критическую минуту, когда голова его ещё виднелась сквозь облако дыма, а тело уже исчезло в трубе, с ним случилась большая неприятность. Ноги его, обутые в тяжёлые меховые сапоги, не могли цепляться за зарубки, сделанные в бревне, чтобы было удобнее спускаться. Он повис в трубе, боясь провалиться, и не в силах был оттуда выкарабкаться. Слёзы текли из его глаз, зажмуренных от дыма, окружавшего его голову, и вместо криков о помощи слышались только удушливый кашель и хрипенье. Наконец какой-то туземец изнутри юрты, поражённый тщетными усилиями майора высвободиться из трубы, пришёл к нему на помощь и благополучно спустил его на землю. Наученные его опытом, мы с Доддом не обратили внимание на зарубки, устроенные для того, чтобы было удобнее спускаться, схватили руками гладкое бревно, и начали быстро по нему спускаться, пока не достигли ногами до пола. Когда я раскрыл мои наполненные слезами глаза, меня приветствовали в один голос громким «Здорово!» полдюжины худых, грязных старух, сидевших, поджавши ноги, на возвышении вокруг огня и шивших меховую одежду.

Внутренность корякской юрты, то есть одной из деревянных юрт оседлых коряков, представляет странную и далеко не привлекательную картину для человека, не привыкшего к ея грязи, дыму и холоду. В этой юрте всё мрачно и неприветливо. Свет проникает в неё единственно только через круглое отверстие, находящееся на двадцать футов от пола, которое служит в то же время и окном, и дверью, и трубою. До него добираются по круглому столбу с зарубками, стоящему перпендикулярно посередине юрты. Перекладчины, стропила и брёвна, из которых построена юрта, стали совершенно чёрными от постоянного дыма. Вокруг стен внутри юрты на один фут от пола возвышается платформа, имеющая шесть футов в ширину, посередине же остаётся круг в восемь или десять футов в диаметре для огня и большого меднаго котла с тающим снегом. На платформе устроены три или четыре четырёхугольных полога из шкур, служащих спальнями для хозяев и убежищами от дыма, выносить который иногда нет никакой возможности. Маленький круг из каменных плит на земле посередине юрты образует очаг, над которым обыкновенно висит котелок с рыбой или олениной, составляющими вместе с сущёной сёмгой, ворванью

и прогорклым жиром всю пищу коряков. Всё, что вы видите или до чего дотрагиваетесь, носит на себе отличительные следы корякского вкуса, а именно сала и копоти. О чём-нибудь появлении в юрте вы узнаете по совершенному закрытию отверстия на потолке и внезапному мраку, воцаряющемуся вокруг нас, и если вы посмотрите наверх, то увидите сквозь облако дыма и оленьих волос, которые летят от одежды пришельца, пару тонких ног, спускающиеся по шести. Вы скоро привыкните различать ноги ваших знакомых по их различной форме или обуви, так что лица их играют при этом второстепенную роль. Если вы видите ноги Ивана, спускающегося из трубы, вы уверены, что голова его где-нибудь недалеко в облаке дыма, и сапоги Николая, появляясь в отверстии, служат несомненным доказательством его прибытия.

Когда снег настолько занесёт юрту, что собаки могут по нему добраться до трубы, то оне с особенным удовольствием располагаются вокруг отверстия, заглядывая в юрту и наслаждаясь запахом рыбы, варящейся в котле над очагом. Очень часто случается, что эти собаки заводят между собою драку: каждой из них непременно требуется быть поближе к отверстию. В ту минуту, как вы готовитесь снять с огня обед из варёной семги, одна из собак, побеждённая в драке, летит в котёл, а её торжествующий противник смотрит вниз через отверстие трубы, наслаждаясь своим мщением над несчастной жертвой. Коряк вытаскивает за шиворот полуобваренную собаку, поднимается с ней на крышу, бросает её в какой-нибудь снежный сугроб и возвращается с невозмутимым спокойствием есть свою уху, которая была так некстати приправлена собакой и волосами. Волосы и особенно оленья шерсть служат необходимой составной частью всякого кушанья, приготовленного в корякской юрте, и мы вскоре привыкли смотреть на них с полным равнодушием. Несмотря на все предосторожности, они непременно попадались в нашем чае и супе и приставали к нашей жареной говядине. Кто-нибудь постоянно входил или уходил над очагом, и целое облако коротких серых волос от одежд из оленьей шкуры постоянно носилось над всем, что варилось внизу. Таким образом, наш первый обед в корякской юрте в Каменске был далеко не аппетитен.

Не прошло ещё и двадцати минут после нашего приезда в селение, как занимаемая нами юрта совершенно переполнилась людьми с тупым и зверским выражением на лицах, одетых в запачканные платья из оленьих шкур, с нитками разноцветного бисера в ушах и с большими ножами в два фута длины, которые они носили в ножнах,

привешанных к бедру. Очевидно, они принадлежали к туземному племени, совершенно различному от тех, которых мы до сих пор видели, и их дикий, зверский вид не внушал нам большого доверия. Вслед за ними вошёл очень красивый русский с самой добродушной физиономией, который, сняв шапку, подошёл к нам, поклонился и отрекомендовался нам. Это был казак из Гижигинска, посланный нам навстречу русским исправником.

Курьер, отправленный нами из Лесновска, приехал в Гижигинск за десять дней до нас. Исправник послал тотчас же казака встретить нас в Каменск и проводить через поселения оседлых коряков, обогнув верхнюю часть Пенжинского залива. Казак тотчас же разогнал всех туземцев из юрты, а майор стал расспрашивать его о характере местности на север и на запад от Гижигинска, о расстоянии между Каменском и русским форпостом Анадырском, об удобствах путешествия зимою и о времени, которое надо употребить на эту поездку. Безпокоясь о партии исследователей, которая, как он предполагал, должна была высадиться по распоряжению главного инженера у устья Анадыри, майор Абаза намеревался отправиться из Каменска прямо в Анадырск, чтобы разыскать эту партию. Он хотел послать Додда и меня на запад вдоль берега Охотского моря навстречу Могуду и Бёшу. Казак сообщил нам, что партия людей приехала в санях на собаках с Анадыри в Гижигинск перед самым его отъездом и что она не привезла никаких известий об американцах, высадившихся в той местности.

Полковник Бёльки, главный инженер, обещал нам при нашем отъезде из Сан-Франциско выслать партию людей на китоловном судне к устьям Анадыри ещё ранней осенью, так что она могла бы подняться вверх по реке до Анадырска и соединиться с нами по первому зимнему пути. Вероятно, он не исполнил этого обещания, потому что если бы такая партия прибыла в те места, жители Анадырска, конечно, слышали бы о ней что-нибудь. Неблагоприятная местность у Берингова пролива или позднее время года заставили его, вероятно, отказаться от этого первоначального плана. Майор Абаза всё время был против намерения высадить партию у Берингова пролива, но он против воли почувствовал неудовольствие, узнав, что партия, действительно, не была выслана и что ему предстояло с четырьмя людьми исследовать тысячу восемьсот миль земли между проливом и рекою Амуром. Казак уверил нас, что мы не встретим в Гижигинске затруднений относительно собак, саней и людей для исследования местности на север и на запад от этого поселения и что русский исправник окажет нам полное содействие

со своей стороны. При таком положении дел нам оставалось только продолжать наш путь к Гижигинску, куда, по словам казака, мы должны были приехать через два или три дня.

Каменским корякам было приказано тотчас же приготовить двенадцать саней с собаками и свезти нас в ближайшее селение Шестаково. Вскоре всё население под надзором казака было занято перекладкой наших вещей и провизии с саней кочующих на длинные узкие сани их оседлых единоплеменников. Нашим прежним проводникам было заплачено за их труды не деньгами, а табаком, бусами и ситцами. После долгих споров о поклаже между коряками и нашим новым казаком Кирилловым, нам доложили, что всё было готово. Хотя было уже около полудня, но мороз не унимался. Завернув наши лица и головы в большие меховые воротники, мы разместились в санях, а сильные корякские собаки понесли нас по селению и спустились с холма в целом облаке снега, поднимаемого острыми жердями управлявших ими коряков.

Майор, Додд и я ехали в повозках, но неосторожная езда каменских коряков заставила нас вскоре пожалеть, что мы не придумали себе какого-нибудь другого экипажа, из которого нам удобнее было бы выпрыгнуть в случае несчастья. В настоящем же нашем положении мы были так разбиты, что едва могли двинуться без посторонней помощи. Наши повозки очень походили на длинные, узкие гробы, обтянутые тюленьей кожей и поставленные на полозья с верхом, под которым мог только едва помещаться один человек. Большой фартук был прикреплен к краям этого верха. Он опускался в дурную погоду и так плотно застёгивался, что не пропускал ни воздуха, ни снега. Усевшись в эти сани, мы протянули ноги вдоль длинного гробообразного ящика, на котором сидели наши возницы, между тем как наши головы и плечи были защищены кожаным верхом. Представьте себе восьмифутовый гроб на полозьях и сидящего в нём человека с опрокинутой корзиной над головой, и вы будете иметь точное понятие о сибирской повозке. Наши ноги так плотно лежали в ящиках, а мы сами так были завалены подушками и тяжёлыми мехами, что не могли ни выйти из саней, ни повернуться в них. При этом беспомощном положении мы были совершенно во власти наших возниц. Если бы им даже вздумалось мчаться с нами во весь опор по краю пропасти, то и тогда единственно, что мы могли бы только сделать, так это закрыть глаза, чтобы не видеть грозящей нам ежеминутно опасности, полететь вместе с повозкой в бездонную пропасть.

В течение каких-нибудь трёх часов мой возница со своими четырнадцатю бешеными собаками и со своей остроконечной палкой семь раз опрокинул мою повозку. При этом он тащил меня по снегу головою вверх, а ногами в ящик и лицом в снежном сугробе, сам же принимался курить и, вероятно, размышлять о неудобствах горного путешествия и о неустойчивости саней. Это приводило в неистовство. Я грозил ему револьвером и клялся всеми чертями, что если он ещё раз меня опрокинет, я убью его, как собаку, оставлю его детей сиротами и причину горе всем его сродникам. Но всё было бесполезно. Коряк не имел достаточно сведений, чтобы бояться пистолета, и не понимал моих угроз. Он продолжал сидеть на снегу, скорчившись, набирал в себя дым и смотрел на меня с тупым удивлением, точно я представлял из себя какого-нибудь особенного зверя, проявляющего странную способность болтать и махать руками самым смешным образом без всякой видимой причины.

Потом, когда ему нужно было покрывать льдом полозья его саней, что случалось три раза в час, то он совершенно равнодушно опрокидывал повозку, подпирали её своей остроконечной палкой, а я лежал головой вниз всё время, пока натирал полозья водой и куском оленьей шкуры. Всё это приводило меня в сильное отчаяние. Наконец мне удалось высвободиться из моего гробообразного ящика и усесться рядом с моим невозмутимым возницей. Тут мой ничем не защищенный нос стал опять мёрзнуть, и до самого Шестакова я всё одной рукой тёр эту злополучную часть моего тела, а другой держался за сани или в случае несчастья выкарабкивался с помощью обеих рук из снежного сугроба.

Единственным утешением послужило мне то обстоятельство, что положение майора было ещё печальнее, чем моё. Конечно, этим он был обязан глупости и упрямству своего возницы. Лишь только майор приказывал ехать, как коряк останавливался и настаивал на том, чтобы покурить, и самым искусным образом опрокидывал майора в снежный сугроб. Когда возница намеревался сойти пешком с крутой горы, то соскакивал со своего сиденья и начинал кричать на собак, а те несли майора, подобно лавине, до самой подошвы, подвергая опасности его жизнь. Если коряку хотелось спать, то он самыми безстыдными жестами заставлял выходить из саней своего седока и идти пешком по склону горы. Наконец майор позвал Кириллова и велел ему объяснить коряку, что если он не будет слушаться, то его привяжут к саням, свезут в Гижигинск и передадут в руки русскому исправнику. На это он обратил некоторое внимание, но все наши корякские проводники вы-

казывали такую дерзость и грубость, какую мы ещё никогда не встречали в Сибири и которая выводила нас из терпения. Майор объявил, что когда он будет иметь на то право, он даст такой урок каменским корякам, который они не скоро забудут.

После обеда нам пришлось ехать по неровной и лишённой всякой растительности местности, лежавшей между обнажённым горным краем и морем, и только перед самыми сумерками мы добрались до Шестакова, расположенного на берегу у устья маленького лесного потока. Остановившись здесь только на несколько минут, чтобы дать отдохнуть нашим собакам, мы отправились в другое корякское селение, называемое Микина, десять миль западнее Шестакова, где мы остановились ночевать.

Микина была копией Каменского, только в меньшей мере: те же самыя юрты, наподобие песочных часов, те же конические балаганы на сваях и те же большие остовы «байдар», или морских лодок, обтянутых тюленьей кожей, лежали рядами на берегу. Мы подъехали к лучшей юрте селения, над которой висела убитая, выпотрошенная собака с венком из зелёной травы вокруг шеи, и спустились по трубе в плохую комнату, наполненную синеватым дымом, освещенную только слабым огнём посередине земляного пола и пропитанную запахом испорченной рыбы и прогорклого жира. Вьюшин заварил котелок с чаем над огнём и через двадцать минут мы сидели по-турецки на возвышенной платформе у одной из стен юрты, жуя чёрствый хлеб и запивая его чаем. Около двадцати мужчин с дикими отвратительными лицами сидели, скрючившись, вокруг нас и следили за всеми нашими малейшими движениями.

Оседлые коряки Пенжинского залива, без сомнения, представляют самое худшее, самое безобразнейшее и стоящее на низшей ступени развития племя из всех туземцев Северо-Восточной Азии. Их насчитывают не более трёх или четырёх сот человек. Они живут в пяти отдельных селениях вдоль морского берега, но они причинили нам более неприятностей, чем все жители Сибири и Камчатки вместе взятые. Сначала они также вели кочевую жизнь, подобно остальным корякам, но, лишившись своих оленей вследствие какого-то несчастья или эпидемии, они построили себе дома из леса, выбрасываемого морем на берег, поселились в них и поддерживают теперь своё жалкое существование рыбной и тюленьей ловлей и отыскиванием остовов китов, которые были убиты американскими китоловными промышленниками для получения ворвани и прибиты потом морем к берегу. Они имеют жестокий и зверский нрав, грубы, мстительны, безчестны и вероломны, словом,

у них нет ни одного из качеств кочующих коряков. Причины такой резкой противоположности между обоими племенами весьма разнообразны. Во-первых, «оседлые» живут постоянно в селениях, которые часто посещаются русскими купцами, и от этих купцов и русских крестьян они получили большую часть пороков цивилизованного общества, не усвоив ни одного из его достоинств. К этому надо прибавить развращающее влияние американских китоловов, которые познакомили оседлых коряков с ромом и внесли к ним страшные болезни, которые ещё увеличиваются от их образа жизни и их бедности. Они заимствовали от русских ложь, обман и воровство; от китоловов — пьянство и распущенность нравов. Кроме всех этих пороков, они уничтожают в огромном количестве опьяняющий сибирский мухомор, а этот образ жизни может развратить и низвести каждого человека до самого низкого уровня.

Образ жизни кочующих коряков спасает их от всех этих пагубных влияний. Они проводят большую часть своего времени на открытом воздухе, обладают более здоровым и правильно развитым телосложением, редко видят русских купцов и русскую водку и вообще умеренны, целомудренны и человечны. Следовательно, кочевые племена Северо-Восточной Азии в нравственном, физическом и умственном отношениях стоят много выше оседлых туземцев. Эти последние никогда не будут в состоянии сравниться с ними. Я питаю искреннее и полное уважение ко многим кочующим корякам, которых мне доводилось встречать на обширных сибирских тундрах, но их оседлые соседи — самые худшие образцы людей, которых я когда-либо видел во всей Северной Азии от Берингова пролива до Уральских гор. Быть может, эти люди мало и виноваты в том низком уровне нравственности, до которой они дошли, а причиною этому служит их частое общение с приезжими купцами, которые, соблюдая свои меркантильные выгоды, стараются приучить этих людей к водке и к пьянству, что, главным образом, и имеет на них такое пагубное влияние.

Глава 22

Путешествие на собаках. Происшествие с оленями. Гижигинск. Исправник и его гостеприимство. Планы насчёт телеграфа. Наша партия отправляется в Анадырск

Мы выехали из Микины рано утром 23 ноября и снова понеслись по огромной снежной равнине. <...> Мы миновали Куиль поздно за полдень и расположились на ночь в роще из берёз, топо-

лей и осин на берегу реки Парены. Мы были теперь на расстоянии только семидесяти миль от Гижигинска. На следующую ночь мы достигли небольшой построенной здесь правительством у одного из притоков реки Гижиги бревенчатой юрты для приюта путешественников. В пятницу утром, 25 ноября, около одиннадцати часов мы увидели красныя колокольни русского города Гижигинска. Кто не путешествовал в продолжение трёх долгих месяцев по такой дикой стране, как Камчатка, не располагался лагерем среди пустынных гор в бурные ночи, не спал в продолжение трёх недель в дымных палатках и ещё более дымных и грязных юртах коряков и не жил совершенно дикой и варварской жизнью, кто не испытал всего этого, тот не может понять, с каким радостным сердцем мы приветствовали эти красныя колокольни, служившия признаком цивилизации. Да, мы радовались, как дети, что видим улицы, дома, церкви с их колокольнями, а не занесённую снегом пустыню и грязныя юрты коряков.

Почти целый месяц нам приходилось спать или на голой земле, или на снегу, или же под душными пологам в юртах коряков. Мы не видали ни стула, ни стола, ни кровати, ни зеркала, не раздевались ни ночью, ни днём и умывались не более одного раза в неделю! Мы были покрыты грязью и копотью от пролезания в корякския трубы. Наши волосы висели нечёсанными прядями за ушами, кожа лупилась на отмороженных носах и скулах. Наше платье и панталоны были покрыты серыми оленьими волосами наших куклянок, вообще, у нас был самый неряшливый и дикий вид, какой только можно себе представить. Мы, впрочем, не успели даже осмотреться хорошенько, потому что наши собаки неслись бешеным галопом по городу с громким воем, возбудившим ответный вой двух или трёх сотен других собак. Возницы наши кричали: «Кхта! Кхта! Гух! Гух!», поднимая при этом своими остроконечными палками целыя облака снега по улицам. Всё поселение выбежало к воротам, чтобы узнать причину такого адскаго шума.

Наши пятнадцать саней одни за другими мчались по городу и остановились наконец перед большим удобным домом с двойными рамами в окнах, который был приготовлен, по словам Кириллова, для нашего приезда. Едва только мы успели войти в большую, чистую комнату и сбросить наши тяжёлыя замерзшия одежды, как вошёл живой, бодрый господин с густыми каштановыми усами и светлыми, коротко остриженными волосами, одетый в платье из толстаго сукна и безукоризненную полотняную рубашку, с перстнями на пальцах, с толстой цепочкой на жилете и тростью в руках.

Мы тотчас же узнали в нём здешняго исправника. Додд и я хотели сначала скрыться из комнаты, но было уже поздно. Поздоровавшись с нашим хозяином, мы довольно неловко уселись на стулья, завернули наши закоптелыя руки в красные и жёлтые бумажныя платки, и, живо сознавая грязь на наших лицах и вообще нашу непривлекательную наружность, мы старались принять вид, достойный участников великой экспедиции российско-американскаго телеграфа. Но мы потерпели жалкую неудачу, потому что, несмотря на все наши старания, мы не походили ни на что иное, как на кочующих коряков в бедственном положении. Исправник, впрочем, не замечал, кажется, ничего особеннаго в нашей наружности и осыпал нас градом быстрых нервических вопросов, вроде следующих:

— Когда вы оставили Петропавловск? Прямо ли вы из Америки? Я послал казака, встретили ли вы его? Как вы переехали тундры, — с коряками? Ах, эти проклятые коряки! Нет ли известий из Петербурга? Вы должны сегодня у меня обедать. Долго ли вы останетесь в городе? Вы можете отправиться в баню сейчас же после обеда.

— Эй! Люди! (Громко и повелительно.) Подите, велите Ивану поскорее истопить баню! Ах! Чёрт их возьми!

Безпокойный маленький человек замолчал наконец в полном истощении и начал нервно шагать по комнате. Майор рассказывал о наших похождениях, сообщал новейшия весты из России, объяснял наши планы, цель нашей экспедиции, говорил ему об убийстве Линкольна, об окончании возмущения, о последних событиях французскаго вторжения в Мексику, о слухах об императорском дворе и вообще о разных происшествиях, которыя нам были известны уже полгода тому назад, но о которых бедный исправник не слыхал ни слова в своём изгнании. Он не имел никаких известий из России почти одиннадцать месяцев. Взяв с нас вторично слово, что мы сейчас же придём к нему обедать, он вышел из комнаты и дал нам возможность приступить к умыванию и одеванию.

Два часа спустя во всем блеске наших синих мундиров и медных пуговиц, с выбритыми лицами, в накрахмаленном белье и лакированных сапогах «Первая сибирская партия исследователей» отправилась на обед к исправнику. Русские крестьяне, которых мы встречали, инстинктивно снимали свои обледенелыя меховыя шапки и смотрели на нас с изумлением, проходя мимо, как будто мы чудом упали на землю из небеснаго пространства. Никто не

узнал бы в нас грязных, закоптелых, оборванных бродяг, которые только два часа тому назад въезжали в город. Куколки развернулись в голубья с золотом бабочки!

Исправник ожидал нас в светлой просторной комнате, убранной со всей роскошью цивилизации. Стены были оклеены обоями и украшены дорогими картинами и литографиями. На окнах висели занавеси, пол был покрыт мягким ковром с яркими цветами, большой письменный стол орехового дерева занимал один угол комнаты, а посередине стоял обеденный стол, покрытый чистой скатертью и уставленный китайским фарфором и серебром. Мы были приятно поражены при виде такого необычного и неожиданного великолепия. После неизбежной рюмки водки и закуски, состоящей из копчёной рыбы, ржаного хлеба и икры, предшествующих каждому русскому обеду, мы заняли наши места вокруг стола и провели полтора часа за щами, кулебякой с сёмгой, котлетами, дичью, маленькими пирожками с говядиной, пудингом и пирожным. Все эти блюда последовательно ставились перед нами. За обедом мы разсуждали о всевозможных предметах, начиная от бревенчатых селений Камчатки и до императорских дворцов Москвы и Петербурга. Потом наш хозяин велел подать шампанского, и, сидя перед прозрачными высокими бокалами холодного шипучаго клико, мы размышляли о случайностях сибирской жизни. Вчера ещё мы сидели на голой земле в корякской палатке и ели пальцами оленину из деревянного корыта, а сегодня мы обедаем у русского исправника в роскошном доме, наслаждаемся котлетами, пудингом и шампанским. Исключая нашей заметной, но подавляемой склонности поджать ноги и сесть на пол, мне кажется, в нашем обращении не было ничего изобличающего дикую свободную жизнь, которой мы так недавно жили. Мы владели ножами и вилками и глотали наше кушанье с грацией, которая возбудила бы зависть самого лорда Честерфильда. Но всё это утомляло нас.

Лишь только мы возвратились в нашу квартиру, как сейчас же сбросили наши мундиры, разостлали на полу медвежьей шкуры и уселись на них, поджавши ноги, чтобы покурить и по-старому насладиться свободой. Если бы наши лица были немного погрязнее, мы были бы совершенно счастливы.

Следующие десять дней нашего пребывания в Гижигинске были проведены сравнительно в праздности. Мы гуляли немного, когда не было очень холодно, принимали формальные визиты местных русских купцов, посещали исправника, по вечерам пили его восхитительный цветочный чай и курили его папиросы, вознаграждая

себя за три месяца утомительной жизни и наслаждаясь в избытке всеми удовольствиями, которые нам доставил этот маленький городок.

Но эта приятная праздная жизнь была вскоре прервана приказанием майора готовиться к зимнему путешествию, чтобы при первом распоряжении отправиться к Полярному кругу или на западный берег Охотского моря. Он решился исследовать путь для нашей предположенной линии от Берингова пролива до Амура, прежде наступления весны, а следовательно, нечего было терять времени. Сведения, которые мы могли собрать в Гижигинске относительно внутренности страны, были крайне сбивчивы, неясны и неопределённые. По словам туземцев, между Охотским морем и Беринговым проливом было всего два поселения, и ближайшее из них — Пенжинск — находилось на расстоянии четырёхсот вёрст. Почва состояла из огромных тундр, поросших мхом и совершенно безлесных. Летом такие тундры непроходимы. Страна, лежащая на северо-востоке от последнего поселения, была необитаема от недостатка в ней леса. Один русский чиновник, по имени Филиппеус, хотел исследовать эту тундру зимою 1860 г., но возвратился безуспешно в самом жалком виде с известием, что на пространстве восьмисот вёрст между Гижигинском и устьем Анадыря в четырёх или пяти местах только можно найти довольно большие деревья для телеграфных столбов и что, кроме того, можно встретить на пути только изредка местечки, поросшие малорослой сосной. От Гижигинска до последнего поселения, русского форпоста Анадырска, у Полярного круга, должно было быть езды от двадцати до тридцати дней, смотря по погоде, а далее этого не было никакой возможности продолжать путь.

Местность на запад от Гижигинска вдоль берега Охотского моря была, по общему отзыву, лучше, но гориста и с самым суровым климатом. Тут встречаются густые леса сосен и лиственниц. До Охотска, отстоящего отсюда на восемьсот вёрст, можно было доехать на собаках в течение месяца. Это были, в немногих словах, все сведения, которые мы могли только собрать и, конечно, они не внушили нам большого доверия к успешному окончанию нашего предприятия. Я в первый раз только сообразил громадность труда, предпринятого компанией российско-американского телеграфа. Но, взявшись раз за такое дело, мы были обязаны исследовать страну вполне добросовестно, собрать верные сведения об её площади и свойстве почвы и избрать легчайший способ для сооружения нашей линии.

Русские поселения Охотск и Гижигинск разделяли страну между Беринговым проливом и рекою Амуром на три почти равные части, из которых две были гористы и лесисты, а одна сравнительно низменна и почти безлюдна. Первая из этих частей между Амуром и Охотском была поручена Мегуду и Бёшу, и мы предполагали, что они уже приступили к её исследованию. Остальные две части, заключающие в себе всё пространство между Охотском и Беринговым проливом, должны были быть разделены между майором, Доддом и мною. Имея в виду пустынную необитаемую территории на запад от Берингова пролива, мы решились оставить её неизследованной до весны, а, может быть, и до следующего года. Мы не получили обещанного содействия со стороны анадырского отделения партии, и за недостатком людей для этого майор не находил возможности предпринять исследование страны, представляющей такие большие препятствия для зимнего путешествия. Расстояние, которое мы должны были пройти, простиралось, таким образом, на тысячу четыреста вёрст от Охотска до Анадырска, почти у самого Полярного круга. После некоторых прений майор решился послать Додда и меня с партией туземцев в Анадырск, а самому отправиться на собаках к Охотску, где он ожидал встретить Мегуду и Бёша. Таким образом, мы надеялись довольно верно обозреть весь путь предполагаемой линии в течение пяти месяцев. Съестные припасы, привезённые нами из Петропавловска, были все уничтожены за исключением небольшого количества чая, сахара и нескольких кадочек солёного мяса. В Гижинске мы получили два или три пуда ржаного хлеба, четыре или пять мёрзлых оленей, соли и огромное количество «юколы», или сушёной рыбы. В этом, вместе с чаем и сахаром и несколькими брусками мороженого молока, заключались все наши съестные припасы. Мы запаслись также шестью или восемью пудами черкасского табаку в листьях для расплаты с туземцами вместо денег, разделили поровну наш маленький запас бус, трубок, костей и других предметов торговли, купили новые, полные меховые одежды и приготовились к трёх или четырёхмесячной кочевой жизни в северном климате.

Русский исправник приказал шести казакам перевезти Додда и меня на собаках в корякское селение Шестаково и послать сказать в Пенжину через возвращающихся в Анадырск людей, чтобы нам были готовы три или четыре человека с собаками к 20 декабря для доставления нас из Пенжины в Анадырск. Мы пригласили старого и опытного казака Григория Зиновьева

быть нашим проводником у чукчей, наняли молодого русского по имени Егор в повара и адъютанты (в полном смысле слова), уложили наши вещи в сани, увязали их ремнями из тюленьей кожи и 13 декабря были совсем готовы отправиться в путь. Вечером мы получили наши инструкции от майора. Они заключались в том, чтобы следовать по прямому пути в Анадырск через Шестаково и Пенжину, удостовериться в удобствах почвы, в возможности достать строевой лес для сооружения телеграфной линии и нанять туземцев для приготовления столбов в Пенжине и Анадырске, и исследовать, где возможно, близлежащая местность для отыскания местных рек по соседству Пенжинского залива и Берингова моря. Поздней весной мы должны были возвратиться в Гижигинск со всеми теми сведениями, которые нам удастся собрать о стране между этим пунктом и Полярным кругом. Майор сам должен был остаться в Гижигинске, приблизительно до 17 декабря, а потом отправиться на собаках с Вьюшиным и маленькой партией казаков в Охотск. Если он соединится в этом городе с Мегудом и Бёшем, он тотчас же поедет обратно и встретит нас в Гижигинске.

Глава 23

Путешествие по полярным странам зимою. Мальмовка. Ночныя картины. Шестаково

13 декабря утром было тридцать один градус мороза, а между тем утро было ясное и тихое. Но так как в это время года солнце восходит на горизонте не ранее половины одиннадцатого, то мы только около полудня успели собрать наших проводников с собаками. Наша маленькая партия, состоящая из десяти человек, представляла совсем новый и весьма живописный вид. Все были в пёстро-вышитых меховых одеждах, красных кушаках и лисьих капорах, когда мы собрались во всем своём составе перед нашим домом, чтобы проститься с исправником и майором. Восемь тяжело нагруженных саней стояли в ряд у крыльца и около сотни собак бешено рвались в сбруях и оглушительно лаяли от нетерпения, когда мы вышли из комнаты на тихий морозный воздух. Мы простились со всеми и после сердечного восклицания майора: «Бог с вами, ребята!» — исчезли в облаках снега, резавшего нам лицо. Седой старик Падерин, начальник гижигинских казаков, с заиндивевшей бородой стоял на крыльце своего маленького красного бревенчатого домика, когда мы проезжали мимо, и махал

нам меховой шапкой в знак последнего прощания, пока мы не выехали на большую гладкую степь за городом. <...>

Мы остановились на ночь в доме русского крестьянина, живущаго на берегу Гижиги, пятнадцать вёрст восточнее поселения. Пока мы пили чай, нарочный приехал из города и привёз нам два замороженных пирога с брусникой как прощальный знак внимания со стороны майора и последнее воспоминание о цивилизации. Из опасения, чтобы что-нибудь не случилось с этими лакомствами, если мы попытаемся взять их с собою, Додд в виде предостерегательной меры съел один из них до последней ягодки. Не желая, чтобы он из самопожертвования ввиду исполнения неверно понимаемой обязанности съел и другой пирог, я позаботился сам о его сохранении и навсегда застраховал его от всякой неприятной случайности. На следующий день мы достигли маленькой бревенчатой юрты на Мальмовке, где мы уже ночевали дорогой в Гижигу. Так как холод был всё ещё очень силён, то мы были рады приютиться в ней и посидеть вокруг яркаго огня, разведённаго Егором посреди комнаты на каком-то глинянном очаге.

На грубом дощатом полу не было места для всей нашей партии, и потому наши люди зажгли большой костёр на дворе, повесили над ним чайный котелок, оттаяли свои замерзшия бороды, стали есть сушёную рыбу, петь удалыя русския песни и были так веселы, что мы готовы были оставить нашу комнату, чтобы принять участие в их забавах и шумном веселье. Термометры показывали, впрочем, тридцать пять градусов мороза. Мы отважились выйти наружу только тогда, когда особенно громкий взрыв смеха извещал нас о какой-нибудь удивительной сибирской шутке, которую стоило послушать. Воздух казался именно достаточно холодным, чтобы произвести возбуждающее действие на наших весёлых казаков, но для непривычной американской организации он был слишком суров. Согревшись, впрочем, у яркаго очага и напившись вдоволь горячаго чая, мы нашли нашу юрту очень уютной, и длинный вечер прошёл незаметно в пении американских песен, в курении черкаскаго табаку с сосновой корой, в рассказывании истории и в подшучивании над добродушным, но простоватым Мироновым.

Было уже очень поздно, когда мы, наконец, забрались в наши меховые мешки, чтобы спать. Но долго до разсвета мы продолжали прислушиваться к песням, шуткам и смеху наших проводников, пока они сидели вокруг бивуачнаго огня и рассказывали забавныя приключения из своих путешествий по Сибири. На следующее утро

мы встали задолго до разсвета и после завтрака на скорую руку, состоявшего из чёрного хлеба, сушёной рыбы и чая, мы запрягли наших собак, облили полозья саней водою из котла, чтобы они покрылись ледяной корою, уложили наши походные вещи и, оставив юрту, поехали по огромной снежной Сахаре, лежащей между рекой Мальмовкой и Пенжинским заливом.

Эта местность была настоящей пустыней. Обширная, ровная степь, безграничная и утомительная для взора, как океан, продолжалась кругом во все стороны до самого горизонта без малейшего деревца или кустарника, которые разнообразили бы эту белую снежную поверхность. Нигде не видно было следа животной или растительной жизни, ничего, что напоминало бы лето, или цветы, или тёплое солнце, чтобы оживить это пустынное пространство. <...>

В полдень термометр показывал тридцать пять, а после солнечного заката — тридцать восемь градусов и продолжал понижаться. Мы не встречали леса с самой юрты у реки Мальмовки, и, не отваживаясь остановиться без огня, мы ехали ещё в продолжение пяти часов после наступления ночи, направляясь только по звёздам и по блеску северного сияния. От сильного холода сосульки льда образовывались на всём, до чего касалось наше дыхание. Бороды походили на перепутанные нити железной проволоки, ресницы превратились в ледяную бахрому и веки примерзали, когда мы мигали, а наши собаки, окружённые густым облаком пара, походили на полярных волков. Нам часто приходилось бежать возле саней, чтобы сохранить какую-нибудь чувствительность в ногах. Около восьми часов несколько деревьев зачернели на восточном горизонте, и радостный крик с передовых саней извещал нас о близости леса. Мы достигли до небольшого потока, называемого Узинова, в семидесяти верстах восточнее Гижигинска. Этот поток струился по самой середине степи. Мы приехали, будто на остров после долгого плавания по морю. Наши собаки остановились и свернулись клубками на снегу, как будто сознавая, что их долгое дневное путешествие было окончено, между тем как наши проводники начали быстро и систематично сооружать лагерь по сибирскому способу.

Трое саней были сдвинуты вместе так, чтобы составить с трёх сторон изгородь, имеющую около десяти футов в квадрате. Весь снег был выгребен изнутри, из него сделан вал вокруг трёх загороженных сторон, как у крепости, и большой огонь из сосновых сучьев разведён у четвёртой, открытой стороны. Дно этого маленького снежного погребца усыпали слоем ивовых и ольховых

веток на три или четыре дюйма толщины, разостлали сверху мохнатые медвежьи шкуры в виде тёплого мягкого ковра и приготовили нам меховые мешки на ночь. Егор вскоре поставил на маленький стол, устроенный из свечного ящика, две чашки дымящегося горячего чая и две сушеные рыбы. Тогда, растянувшись с наслаждением на медвежьих коврах, протянув ноги к огню и прислонясь к подушкам, мы стали курить, пить чай, рассказывать разные происшествия. После ужина наши проводники набросали целую кучу сухих сосновых сучьев на костёр, пока пламя не поднялось красным столбом на десять футов в высоту и, собравшись живописной группой вокруг огня, в продолжение нескольких часов пели свои дикие заунывные камчатские песни и рассказывали бесконечные истории об опасностях и приключениях, случившихся на обширных степях и у берегов Ледовитого моря. Наконец яркое созвездие Ориона указало нам время ложиться спать. С ворчанием и дракой собаки получили каждая свою двойную порцию, состоящую из одной сушёной рыбы, мы сняли наши отсыревшие меховые чулки и повесили их сушить у огня, надев самые толстые куклянки, всунули сначала ноги в мешки из медвежьей шкуры, потом завернулись в них с головами и заснули.

Лагерь среди ясной, зимней ночи представляет странный, дикий вид. Я проснулся вскоре после полуночи, почувствовав, что ноги мои озябли и, приподнявшись на локтях, высунул голову из мехового мешка, чтобы узнать о времени по звездам. Костёр превратился в красную кучу тлеющих угольев. Было достаточно светло, чтобы различить тёмные очертания нагруженных саней, людей наших, одетых в шкуры и лежащих группами у огня, и промёрзших собак, свернувшихся сотней маленьких клубочков на снегу. За границей лагеря простиралась пустынная степь рядом длинных снежных валов, которые постепенно сливались в один огромный белый океан и терялись в отдалении и ночной темноте. Высоко над головами на чёрном небе сияли яркие созвездия Ориона и Плеяд. Эти небесные часы показывали долгое, утомительное время между закатом и восходом солнца. Голубоватые таинственные лучи северного сияния мерцали на севере, то доставая своими лучезарными полосами до зенита, то колеблясь величественными дугами над нашим тихим лагерем, как бы предостерегая отважного путешественника против неведомых полярных стран.

Кругом царило подавляющее, глубокое молчание. Только биение нерва в моих ушах и тяжёлое дыхание людей, спящих у моих ног, нарушали всеобщее безмолвие. Внезапно среди тихого ночного

воздуха раздался долгий, слабый, жалобный крик, похожий на вопль человеческого существа, находящегося при последней степени страдания. Постепенно он делался всё громче и громче, пока, наконец, наполнил воздух массой раздирающих криков, переходящих в тихое отчаянное рыдание. Это был сигнальный вой сибирской собаки, но он казался таким диким и сверхъестественным в тишине полярной ночи, что кровь застыла в моих жилах при этом звуке. Через минуту другая собака подхватила этот раздирающий душу крик, к ней присоединились две-три другие, потом ещё десять, двадцать, сорок, шестьдесят, восемьдесят, и, наконец, вся сотня собак завyla в один голос так, что воздух дрожал от этих звуков, как от низких басовых нот какого-нибудь огромного органа.

В продолжение более минуты земля и небо, казалось, были наполнены криками и воем. Потом собаки начали одна за другою понемногу утихать, ужасный гвалт делался с каждой минутой всё слабее и слабее, пока не закончился, наконец, тем же, чем и начался, то есть долгим невыразимо-жалобным воплем, а затем опять водворилась мёртвая тишина. Один или двое из наших людей безпокойно повернулись во сне, как будто раздирающий крик неприятно смешался с их сновидениями. Но ни один из них не проснулся.

Внезапно северное сияние заблестало с новой силой, большими огненными полукругами прорезало во всех направлениях тёмное звёздное небо и освещало по временам снежную степь потоками света, как будто небесные врата отворялись и затворялись перед ослепительным сиянием волшебного города. Наконец оно начало слабеть и снова превратилось в слабый свет на севере, и только один бледно-зелёный луч, тонкий и блестящий, медленно поднимался к зениту, пока не достиг своей прозрачной вершиной до алмазного пояса Ориона, потом он также погас и исчез. Только бледная туманная полоса на северном горизонте указывала ещё место небесного арсенала, откуда полярные духи вынимают свои сверкающие мечи и копья, которыми они потрясают ночью над одинокими сибирскими степями. Спрятавшись опять в мой мешок после исчезновения северного сияния, я заснул и не просыпался до утра.

С первыми лучами разсвета в нашем стане появились признаки жизни. Собаки выбрались из глубоких ям, которые оттаяли под ними, в снег, казаки высунули головы из меховых одежд и палочками отчистили иней, накопившийся на них от дыхания, развели огонь, заварили чай, и мы вылезли из мешков, дрожа у огня, чтобы поскорее поесть чёрного хлеба с сушёной рыбой и напиток чаю. Через двадцать минут собаки были запряжены, сани увязаны,

полозья политы водой и мы поехали крупной рысью из стана по пустынной степи.

Медленно проходили дни за днями среди этой однообразной езды, лагерной жизни и спанья на снегу, но, наконец, 20 декабря мы приехали в поселение оседлых коряков Шестаково, лежащее у верхней части Пенжинского залива. Отсюда наши гижигинские казаки должны были возвратиться домой, а нам надобно было дожидаться прибытия саней из Пенжинска. Мы спустили наши постели, подушки, лагерные принадлежности и провизию через трубу самой просторной юрты маленького селения, разместили их с возможным изяществом на большой деревянной платформе, находящейся у одной из стен, и устроились настолько удобно, насколько позволили нам это мрак, дым и холод, господствующие в юрте. И опять нас окружила грязь, копоть, запах прогорклого жира и дикие лица коряков, следивших за всеми нашими движениями, о чём я уже упоминал в одной из предыдущих глав. Но, несмотря на эту грязь и копоть юрты, мы всё же были довольны и тем, что спали не на открытом воздухе и не на лютom морозе, который так жестоко давал себя чувствовать.

Глава 24

Плохия помещения. Известия от полковника Бёлькли. Поиски потерянной партии американцев. Любопытное дерево. Сибирская пурга. Вьюга

Долгое пребывание в Шестакове в ожидании пенжинских саней показалось нам невыразимо скучным и тяжёлым. 20-го числа, в полдень, началась страшная вьюга. Сильный ветер с севера наносил на деревню такие облака снега из степи, что даже стало темно вокруг, как во время солнечного затмения. Воздух на высоте ста футов от земли был буквально переполнен снежными хлопьями. Я попробовал, было, взобраться на верх трубы, но ветер почти снёс меня на землю, ослеплённый и засыпанный снегом, я поспешно спустился обратно, радуясь, что мне не пришлось пролежать целый день на какой-нибудь пустынной равнине и подвергаться полной ярости такой ужасной бури.

Чтобы снег не попал бы в хижину, мы должны были потушить огонь и закрыть трубу какой-то деревянной западнёй, так что мы остались в совершенной темноте, дрожа от холода. Мы зажгли свечи и прилепили их растопленным салом к чёрным закоптелым брёвнам над нашими головами, чтобы иметь возможность

читать. Но холод был слишком ощутителен, и мы принуждены были отказаться от литературных занятий, оделись в меховые рубашки и куклянки, влезли в мешки и попробовали проспать целый день. Конечно, мы не могли придумать ничего лучшего, потому что были заключены в мрачную подземную тюрьму и ещё при десяти градусах мороза.

Я не могу понять, как человеческия существа, одарённые какой-нибудь чувствительностию, могут довольствоваться, подобно оседлым корякам, жизнью в этих ужасных, отвратительных юртах. В них нет ни одной привлекательной черты. Входят в них через трубу; солнце заглядывает туда только один месяц в году, а именно в июне. Зимой оне холодны, летом душны и неудобны и круглый год дымны. В них господствует запах прогорклаго жира и тухлой рыбы; стены их черны, как уголь, от копоти, а земляной пол состоит из неописанной смеси оленьих волос и всякой дряни, которая высохла и отвердела. У них нет другой мебели, кроме деревянных чашек с тюленьим жиром, в которых горят кусочки мха и чёрных деревянных корыт, употребляемых то вместо посуды, то вместо сидений. Печальна участь детей, родившихся в таких жилищах. Пока они недостаточно велики, чтобы самим вскарабкаться по шесту в трубу, они не видят света Божьяго.

Погода на другой день после нашего прибытия в Шестаково значительно улучшились, и казак Миронов, который должен был возвратиться в Тагиль, простился с нами и отправился с двумя или тремя туземцами в Каменск. Мы с Доддом провели день, раз десять принимаясь за питьё чая, в виде развлечения читая разрозненный том романов Купера, который мы нашли в Гижигинске, и бродя с револьверами по высоким скалам над заливом, охотясь за лисицами. Вскоре после того, как смеркалось, когда мы в полном отчаянии в седьмой раз принимались за чай, наши собаки, привязанные вокруг юрты, подняли оглушительный вой, и Егор явился из трубы в самой беспорядочном виде с известием, что русский казак только что приехал из Петропавловска с письмом от майора. Додд вскочил в величайшем волнении, спотыкнулся о котелок с чаем, уронил свою чашку вместе с блюдечком и бросился к шесту, но прежде, чем он успел схватиться за него, чьи то ноги начали спускаться в юрту и через минуту появилась высокая фигура в запачканном платье из оленьей шкуры, перекрестилась два или три раза, как бы в благодарность за благополучное прибытие, и обратилась к нам с обычным «Здравствуйте!»

— Откуда? — спросил Додд поспешно.

— Из Петропавловска, с письмами к майору, — ответил тот. — Три корабля прибыли туда, а меня послали с важными письмами от американского начальника. Я ехал тридцать девять суток из Петропавловска.

Это была важная новость. Полковник Бёлькли, очевидно, высадился на южном берегу Камчатки, вернувшись из Берингова моря. Письма же, привезённым курьером, вероятно, объясняли нам, почему он не оставил партии у устья Анадыри, как это предполагалось вначале. Мне хотелось распечатать этот пакет, но, убедившись, что он был адресован не ко мне, я решился отослать его немедленно в Гижигинск со слабой надеждой, что майор ещё не успел уехать в Охотск. Через двадцать минут казак уже продолжал свой путь, а нам оставалось изобретать самые нелепые догадки относительно содержания писем и движения партий, высаженных полковником Бёлькли у Берингова пролива. Я сто раз раскаивался, что не распечатал писем, так как тогда мог бы удостовериться, что партия не была высажена у Анадырской реки. Но теперь было уже поздно, и мы могли только надеяться, что курьер застанет в Гижигинске майора, а этот последний пошлёт к нам кого-нибудь с полученными известиями в Анадырск.

О пенжинских санях не было и слуха, и мы провели ещё ночь и ещё один долгий скучный день в дымной шестаковской юрте в ожидании их. 22 декабря Егор, исполнявший должность караульного, явился из трубы опять с новой вестью. Он услышал вой собак по направлению к Пенжинску. Мы вышли на крышу юрты и прислушивались несколько минут, но, не слыша ничего, кроме воя ветра, решили, что Егор или ошибся, или слышал вой стаи волков в долине, на восток от селения. Однако Егор был прав: он действительно слышал голоса собак по пенжинской дороге. Через десять минут давно ожидаемые сани подъехали среди криков и лая к нашей юрте. Прислушиваясь к разговору новоприбывших, мне показалось, что пенжинские люди рассказывали что-то о партии, таинственно появившейся у устья Анадыри и строившей там дом, как будто с намерением провести зиму. Я плохо понимал по-русски, но сейчас же догадался, что дело шло о давно ожидаемой анадырской партии и, вскочив в волнении со своего места, позвал Додда для объяснения. Из всех сведений, которыми могли снабдить нас приезжие из Пенжины, мы узнали, что небольшая партия американцев таинственно появилась в начале зимы близ устья Анадыри и принялась за постройку дома из леса, прибитого морем к берегу и из нескольких досок, привезённых на

корабле, на котором они приехали. Чего они хотели, кто они были и долго ли они намеревались остаться, никто не знал, так как это известие получилось от кочующих чукчей, которые сами ни разу не видали американцев, но слышали о них от других. Известие это передавалось из одного кочевья в другое, пока дошло, наконец, до Пенжины, а оттуда принесено было к нам в Шестаково, отстоящее более, чем на пятьсот миль от того места, где, по рассказам, находились американцы.

Мы с трудом могли поверить, что полковник Бёлькли высадил партию исследователей в пустынную местность на юге Берингова пролива в начале полярной зимы; но зачем же явились сюда американцы, если они не принадлежали к нашей экспедиции? Цивилизованные существа не избрали бы такого места для зимней резиденции, если бы не имели в виду какого-нибудь важного предприятия. Ближайшее поселение — Анадырск — отстояло на двести пятьдесят миль, местность по низовьям Анадыри была, говорят, совершенно безлесна и обитаема только бродячими шайками чукчей, а партия, высаженная туда без переводчика, не имела бы даже никакого способа общаться с этими дикими, необузданными туземцами или получить от них какая-нибудь средства к перевозке. Если там были действительно американцы, то они должны были находиться в самом неприятном положении.

Мы с Доддом обсуждали этот вопрос почти до полуночи и решили, наконец, что лишь только приедем в Анадырск, как соберём партию из опытных туземцев, возьмём провизии на тридцать дней и отправимся на собаках вдоль берега Тихого океана для отыскания этих таинственных американцев. Это предприятие было достаточно ново и рискованно, чтобы возбудить в нас живейший интерес. Если бы нам удалось достигнуть устья Анадыри зимой, то это был бы такой подвиг, который до сих пор ещё никому не удавался. С этим решением мы завернулись в меховые мешки и мечтали о путешествии по Ледовитому океану в поисках за сэром Джоном Франклином.

Утром 23 декабря, лишь только разсвело, мы принялись за укладку нашей провизии: табаку, чаю, сахару и других товаров на пенжинские сани — и поехали по неглубокой, поросшей кустами долине Шестаковской бухты к горному хребту, отрогу великой Становой цепи, из которого вытекала речка. Перед полуднем мы переехали горы на высоте тысячи футов и быстро спустились по их северному склону в узкую долину, кончающуюся огромными степями, по которым протекает река Аклан. Погода была ясная и не

очень холодная, но снег в долине был так глубок и рыхл, что мы медленно подвигались вперёд. Мы надеялись к ночи достигнуть Аклона, но день был так короток, а дорога так дурна, что мы ехали пять часов после того, как смерклось, и всё-таки принуждены были остановиться в десяти верстах южнее реки. Но в награду за это мы любовались зрелищем двух прекрасных ложных лун и нашли большую рощу малорослой сосны, которая снабдила нас в изобилии хворостом для великолепного костра.

Любопытное дерево, или кустарник, известный у русских под именем кедровника и названный в путешествии Врангеля низкорослым кедром, представляет одно из самых необыкновенных произведений Сибири. Я не знаю, назвать ли его деревом, или кустарником, или лозой, так как он обладает характеристическими признаками всех трёх, между тем походит, скорее, на малорослую сосну с замечательно узловатым и искривлённым стволом, который тянется горизонтально по земле, подобно запущенной виноградной лозе с перпендикулярными отростками, торчащими из-под снега. Его хвои и шишки напоминают обыкновенные сосновые, но он никогда не растёт прямо, подобно дереву, а занимает большие пространства земли, от немногих аршин до нескольких десятин. Человек может пройти по месту, густо поросшему таким кустарником, и заметить только несколько пучков зелёных игл, торчащих местами из снега. Он встречается на самых пустынных степях и утёсистых горных склонах от Охотского моря до Ледовитого океана. Чем бесплоднее почва и суровее климат, и где бывают частые бури, там он, по-видимому, роскошнее произрастает. На огромных равнинах, лишённых всякой другой растительности, эти низкорослые хвойные растения выглядят из-под снега и покрывают землю настоящей сетью узловатых, переплетающихся стволов. Достигнув известного возраста, они умирают, так что вместе с зелёными колючими хвоями вы всегда найдёте и сухие белые сучья, которые воспламеняются так же легко, как трут. Они доставляют единственное топливо кочующим корякам и чукчам, и без этих растений многие места Северо-Восточной Сибири были бы совершенно необитаемы. Сколько ночей в продолжение нашего путешествия по Сибири пришлось бы нам провести без огня, воды и горячей пищи, если бы природа не позаботилась распространить здесь в изобилии малорослую сосну и сберечь её под снегом для несчастных путников, которые хотя несколько могут согреть у разведённого огня свои оковенелые члены.

Мы оставили наш стан в долине, рано утром переехали через широкую и богатую лесом речку Аклан и вступили в обширную степь, простирающуюся от ея северных берегов до Анадырска. В продолжение двух дней мы ехали по этой бесплодной снежной равнине, не видя другой растительности, кроме захиревших деревьев и кустов малорослой сосны вдоль берегов потоков и другой жизни кроме двух одиноких ворон и одной красной лисицы. Эту мрачную, печальную местность можно выразить в двух словах: снег и небо. Я приехал в Сибирь с полной верой в успех российско-американской телеграфной линии, но чем далее я проникал в страну, тем более и более падал духом. Мы сделали около трёхсот вёрст с тех пор, как выехали из Гижигинска, нашли только четыре места, где можно было достать столбов, и проехали только три поселения. Если мы не найдём лучшего пути, чем тот, по которому уже проехали, то Сибирская телеграфная линия останется несбыточной мечтой, а все наши труды и перенесенные нами неприятности утомительного путешествия пропадут даром.

Сначала нам благоприятствовала необыкновенно хорошая погода, но это время года вообще отличается вьюгами, и я несколько не удивился, когда в ночь на Рождество был разбужен воем ветра и шумом падающих хлопьев снега, которые обрушились на наш незащищённый стан и засыпали собак и сани. Нам предстояло небольшое знакомство с сибирской «пургой». Ряд деревьев, растущих вдоль маленького потока, у которого мы расположились станом, защищал нас отчасти от ветра, но в степи была настоящая буря. Мы встали, по обыкновению, на разсвете и попытались продолжать путь. Но лишь только мы выехали из-под деревьев, как с нашими собаками невозможно было справиться, и, ослеплённые снегом, мы должны были снова возвратиться в лес. На тридцать шагов нельзя было ничего различить, и ветер так неистово дул нам навстречу, что собаки не могли выносить его.

Мы сдвинули наши сани в виде брустеров против снега, разостлали за ними меховые мешки, влезли на них, покрыли головы оленьими шкурами и одеялами и приготовились к продолжительной скучной остановке. Нет ничего безнадежнее, тяжелее и неприятнее, как оставаться среди сибирской степи в такую погоду. Ветер так силен, что самая прочная палатка не может устоять против него. Костёр засыпается снегом, а если и продолжает гореть, то наполняет глаза дымом и золой, всякий разговор делается невозможным от сильного воя ветра и снега, который

бьёт вам прямо в лицо. Медвежьи шкуры, подушки и меховое платье мокнут и замерзают, сани невидимы под снегом, несчастному путешественнику остаётся только забраться в свой мешок, покрыться с головой и дрожать от холода в продолжение многих утомительных часов.

Так мы пролежали на снегу два дня, пока продолжалась вьюга, и почти не выходили из меховых мешков, сильно страдая от холода в долгия, тёмные ночи. 28-го, около четырёх часов утра, буря стала несколько стихать, а в шесть мы отрыли наши сани и были уже на пути. Верстах в десяти на север от стана виднелась низкая ветвь Становых гор. Наши люди уверяли, что если нам удастся перебраться через неё до разсвета, то дурная погода не застигнет нас, вероятно, до самого Пенжинска. Корм собакам весь вышел, и нам необходимо было приехать в селение через сутки.

Ветер сдул много снега, собаки освежились двухдневным отдыхом, и мы до разсвета переехали горный кряж и остановились напиться чаю и отдохнуть в маленькой долине на северном склоне гор. Когда сибирским туземцам приходится провести в дороге целую ночь, то у них вошло в привычку останавливаться перед восходом солнца, чтобы дать собакам заснуть. Они полагают, что если собака заснёт, пока темно, и, проснувшись через час, увидит, что солнце уже взошло, она подумает, что проспала целую ночь и в продолжение всего следующего дня не вспомнит об отдыхе. Часовая же остановка в другое время будет совершенно бесполезна. Когда нам показалось, что собаки достаточно обмануты продолжительностью своего сна, мы их подняли и спустились по долине к Усканову, притоку Пенжины. Погода была ясная и не очень холодна, и все мы в продолжение двух часов наслаждались лучами солнца, которыми оно наградило нас, прежде чем скрылось за белыми вершинами Становых гор. Когда смерклось, мы переехали реку Кондру в пятнадцати милях от Пенжины и через два часа снова ехали по другой обширной равнине, разделяясь на несколько отдельных партий. Переехав Кондру, я вскоре заснул и нисколько не сознавал, едем ли мы вперёд или назад, как вдруг Додд потряс меня за плечи и вскричал:

— Кеннан, мы заблудились!

Более поразительным известием невозможно было разбудить человека, но, видя, что Додд не особенно встревожен, я уверил его, что мне всё равно и, положив голову на подушки, заснул снова, уверенный в том, что мой возница найдёт в течение ночи Пенжинск каким бы то ни было способом.

Руководствуясь звёздами, мы поворотили с другими санями, ехавшими за нами, к востоку, и девять часов спустя добрались до реки Пенжины, немного ниже поселения. Мы поехали вверх по льду и через несколько времени увидели двое или трое саней, ехавших вниз по реке. Поражённые тем, что эти люди оставляли деревню в такой час ночи, мы их окликнули.

Они отвечали нам тем же.

— Вы куда идёте?

— В Пенжинск! А вы кто?

— Мы Гижигинские, тоже едем в Пенжинск.

— Зачем же вы едете вниз по реке?

— Мы ищем поселение, чёрт возьми! Проездили всю ночь и не можем его найти!

Додд громко расхохотался и, когда таинственные сани приблизились, мы узнали в них наших спутников, которые отделились от нас при наступлении сумерек и которые теперь сбились с пути и отыскивали Пенжинск, спускаясь по реке к Охотскому морю. Мы едва могли их убедить, что поселение лежало не в этом направлении. Наконец они решились вернуться за нами, и после полуночи мы въехали в Пенжинск, разбудили спящих жителей нашими неистовыми криками, подняли десятков пять или шесть собак, которые встретили нас громким воем и привели всё селение в страшный переполох.

Десять минут спустя мы сидели на медвежьих шкурах перед ярким огнём в уютном русском домике, пили чашку за чашкой душистаго чаю и разговаривали о наших ночных приключениях, которые теперь казались нам смешными, тогда как во время нашего продолжительного странствования нам было далеко не до шуток.

Глава 25

Пенжинск. Телеграфные столбы. Арктическая температура.

Астрономическая наблюдения. Прибытие в Анадырск.

Гостеприимный священник

Поселение Пенжинск, состоящее из нескольких бревенчатых домиков, юрт с плоскими крышами и балаганов на четырёх столбах, расположено на северном берегу реки, которая носит его имя, почти на полпути между Охотским морем и Анадырском. Жители состоят преимущественно из мещан, но в число его скудного народонаселения входят также немного чуванцев, сибирских ту-

земцев, покорённых русскими казаками в восемнадцатом веке. Эти покорённые племена говорят теперь языком своих завоевателей и поддерживают своё жалкое существование рыбной ловлей и пушной торговлей. Город защищён с севера отвесной скалой около ста футов вышины, на вершине которой, как и на всех холмах близ русских поселений, поставлен православный крест. Река перед городом имеет около ста аршин ширины, и берега ея густо заросли берёзой, лиственницей, топодем, ивой и осиною. Благодаря тёплым ключам в ея русле она никогда не замерзает совершенно в этом месте даже и при сорока градусах мороза.

Мы прожили в Пенжинске три дня, собирая сведения об окрестной местности и нанимая людей для сооружения столбов по нашей линии. Жители оказались весёлыми, добродушными, гостеприимными и были вполне расположены сделать всё, что было в их власти для успеха нашего предприятия. Конечно, они никогда не слыхали ничего о телеграфе, не имели о нём положительно никакого понятия и не могли представить, для чего нам нужны столбы, о которых мы так хлопочем. Некоторые говорили, что мы намерены построить деревянную дорогу из Гижигинска в Анадырск, по которой можно было бы ездить летом. Другие не совсем доверяли, чтобы два человека, хотя даже и истые американцы, могли построить деревянную дорогу в шестьсот вёрст длины. Они говорили, что настоящей нашей целью было соорудить что-то вроде огромного дома. Когда же, впрочем, их спрашивали о цели этого обширного здания, защитники теории дома приходили в смущение и могли только настаивать на физической невозможности дороги, и убеждали своих противников или согласиться с их предположением, или придумать что-либо другое, более вероятное. Нам удалось, впрочем, нанять шестнадцать способных людей для обтёсывания столбов за приличное вознаграждение, обозначить требуемые размеры — двадцать один фут в высоту и пять дюймов в диаметре, поручив нарубить их в возможно большом количестве и сложить грудами на берегу реки.

Я упомяну здесь, что в марте по возвращении из Анадырска я отправился посмотреть эти столбы, которые были заготовлены в числе пятисот штук жителями Пенжинска. Я увидел, к моему величайшему удивлению, что едва ли один из них имел менее двенадцати дюймов в диаметре на вершине; большая же часть из них были так тяжелы и неудобны для перевозки, что двенадцать человек не могли сдвинуть их с места. Я сказал туземцам, что такие столбы никуда не годятся и спросил, почему они не нарубили

более тонких, то есть указанного мною размера? «Они предполагали, — ответили они, — что я желаю построить что-то вроде дороги поверх этих столбов и что они знают наверное, что пятидюймовые столбы недостаточно крепки для этого. Поэтому они и нарубили деревьев таких толстых, что они годились бы на колонны для какого угодно громадного сооружения». Они ещё и до сих пор лежат там, засыпанные полярными снегами.

Мы уехали из Пенжинска в Анадырск 31 декабря. Пропутешествовав, по обыкновению, целый день по пустынной степи, мы расположились на ночь у подошвы уединённой вершины, называемой Налегим, при пятидесяти трёх градусах мороза. Это был канун Нового года. Местность возле горы Налегима изобиловала малорослой сосной. Мы развели такой огонь, что яркое пламя поднималось столбом на десять футов вышины, но оно, кажется, не имело большого влияния на воздух. Наши ресницы смерзались в то время, как мы пили чай. Горячий суп, налитый прямо из котелка, застывал в оловянных тарелках прежде, чем мы успевали съесть его. Наши платья были покрыты белым инеем, хотя мы сидели в нескольких шагах от огромного пылающего костра. Оловянные тарелки и ложки жгли голую руку, как раскалённым железом, когда до них дотрагивались. Вода, вылитая на доску всего в четырнадцать футах от огня, превращалась в лёд менее чем через две минуты. Над тёплыми телами собак стояли облака пара. Даже голая рука, вытертая досуха, испускала испарение, когда была выставлена на воздух.

Никогда нам ещё не случалось испытывать такого холода. Но мы мало от него страдали, у нас зябли только ноги. Додд объявил, что с хорошим огнём и обильной жирной пищей он не испугался бы, если бы ртуть понизилась еще на пятнадцать градусов. Но ветер причиняет гораздо больше страданий для путешественников по Сибири, чем самый лютей мороз. Двадцать градусов мороза при свежем ветерке почти невыносимы, а сильный ветер при сорока градусах в состоянии убить всякое живое существо. Холод сам по себе не особенно опасен для жизни. Человек, съевший досыта за ужином сушёной рыбы и сала, одевшийся в сибирский костюм и закутавшийся в тесный меховой мешок, может провести целую ночь на дворе при семидесяти градусах мороза без всякой серьёзной опасности. Но если он утомлён долгим путешествием или голоден, если его одежда влажна от испарины, он может замёрзнуть даже тогда, когда ртуть стоит на нуле. Важнейшие правила для путешественника по полярным странам следующие: есть в изо-

били жирную пищу, избегать слишком большого утомления, езды ночью, никогда не вызывать в себе излишнюю испарину усиленными движениями ради временного согревания.

Я видел кочующих чукчей в местности, совершенно безлесной, и при очень низкой температуре, которые предпочитали путешествовать целый день с сильно ноющими ногами, чем согревать их беганьем и тем истощать свои силы. Они делали движение ногами только тогда, когда это было крайне необходимо, чтобы предохранить их от отмораживания. Вследствие такой предосторожности эти люди были к ночи почти так же свежи, как и утром. Если им не удавалось найти лесу для костра или случалось пропутешествовать почему-нибудь целые сутки подряд, у них всегда являлось для этого достаточно силы. Неопытный путешественник при тех же обстоятельствах истощил бы всю свою энергию в продолжении дня, придумывая различные средства, чтобы согреться. Ночью же, вспотевший и утомлённый слишком сильными движениями путник, конечно, неминуемо замёрзнет.

В продолжение двух часов после ужина мы сидели с Доддом и наблюдали за погодой. Около восьми часов небо вдруг покрылось облаками, и менее чем через час термометр поднялся до тридцати градусов. Обрадовавшись такой счастливой перемене погоды, мы влезли в наши меховые мешки и проспали всю долгую полярную ночь.

Все следующие дни наша жизнь шла той же однообразной колеёй, к которой мы уже совершенно привыкли. Местность, где мы ехали, была вообще пустыня и неинтересна. Погода, хотя стояла и холодная, но это не вредило нашему физическому благосостоянию. Дни продолжались всего два или три часа, а ночи казались нам бесконечными. Остановившись на ночлег вскоре после полудня, нам предстояла двадцатичасовая ночь, в продолжение которой мы должны были или придумывать какия-нибудь развлечения, или спать. Двадцать часов сна было уже слишком много. Наполовину времени нам не оставалось другого занятия, как сидеть на медвежьих шкурах у костра и разговаривать.

С самого отъезда из Петропавловска беседы были главным нашим развлечением, и хотя мы вполне довольствовались ими в первую сотню ночей, но теперь они стали уже слишком однообразными, а наши умственные средства положительно истощались. Не было ни одного предмета из известных нам, которого мы не обсудили бы и не разобрали бы со всех сторон. Мы рассказали друг другу с подробностями свою жизнь вместе с жизнью всех наших предков, о которых что-нибудь знали. Мы обсудили вполне

все известные вопросы о войне, любви, науке, политике и религии, вместе со многими другими, о которых не имели ни малейшего понятия, и, наконец, дошли до таких предметов разговора, как численность армии, с которой Ксеркс вторгнулся в Грецию, и даже о потопах, о постройке Ноем ковчега и о его пребывании в нём со всем своим семейством.

Так как не было никакой возможности прийти к какому-нибудь взаимному соглашению относительно последних двух важных вопросов, то прения наши последовательно продолжались двадцать или тридцать ночей, но вопрос всё ещё остался открытым для дальнейшего обсуждения. Мы знали, что при последней крайности, когда нам не останется более ни одного сюжета для разговора, мы можем снова возвратиться к Ксерксу, и поэтому, по безмолвному соглашению обеих сторон, предметы эти были оставлены немедленно по выезде из Гижигинска и береглись, как последние средства для бурных ночей в корякских юртах. Однажды, когда мы расположились станом в огромной степи на севере от Шестакова, мне пришла в голову счастливая мысль проводить эти длинные вечера на дворе и читать лекции моим туземным спутникам о чудесах современной науки. Это заняло бы меня, и в то же время принесло бы нам пользу, как я надеялся, и я тотчас же стал приводить этот план в исполнение.

Сначала я обратил внимание на астрономию. Проводя ночи в открытой степи, не имея над собой другого крова, кроме звёздного неба, мне не нужны были никакие рисунки для моего предмета. Ночь за ночью во время нашего путешествия на Север я просиживал, окружённый толпою любознательных туземцев. Их смуглые лица освещались красным пламенем костра, и они слушали с детским любопытством, как я им объяснял о временах года, об обращении планет вокруг солнца и о причинах лунных затмений. Я должен был изготовлять собственноручно мои планетарии, причём комок мёрзлого сала изображал землю, кусок чёрного хлеба — луну, а маленькие кусочки сушёного мяса — меньшие планеты. Я должен сознаться, что и сало, и мясо, и чёрный хлеб очень мало походили на солнце, луну и звёзды, но за неимением лучшего мне пришлось довольствоваться и этим. Но, несмотря на это, дела шли порядочно. Постороннему зрителю показалась бы смешна та серьёзность, с которой я заставлял хлеб и сало обращаться в своих орбитах. Затем следовали удивлённые восклицания туземцев, когда с хлебом произошло затмение за комком сала.

Моя первая лекция имела бы громадный успех, если бы туземная аудитория была в состоянии понять символическое значение хлеба и сала. Главное препятствие заключалось в том, что их сообразительные способности были слишком слабы. Им нельзя было втолковать, что хлеб заменял луну, а сало — землю. Они продолжали смотреть на них, как на простые земные произведения, имеющие своё собственное существенное значение. Вследствие этого они растапливали сало для питья, пожирали луну и требовали немедленно другой лекции. Я старался объяснить им, что эти лекции имели астрономическую, а не гастрономическую цель, и уничтожение небесных тел таким безцеремонным способом было вовсе неприлично. Я уверял их, что астрономическая наука не признаёт таких затмений, при которых проглатываются планеты, и что хотя такой курс и удовлетворяет их, но он унизителен для моего планетария. Выговоры не производили, однако, своего действия. Мне приходилось опять запасаться новым солнцем, луной и землёй для каждой лекции. Для меня вскоре стало очевидно, что эти астрономические пиршества становились слишком популярными, так как моя аудитория думала только о том, чтобы съесть каждую ночь всю мою солнечную систему, а материал для планет начал убывать. Я должен был, наконец, употреблять камни и комья снега для изображения небесных тел вместо хлеба и сала. С этого времени интерес к астрономическим явлениям начал постепенно уменьшаться, а популярность моих лекций быстро упала, пока, наконец, не исчез и последний слушатель.

Короткий зимний трёхчасовой день давно уже уступил место ночи, когда мы после двадцатитрёхдневного трудного пути приблизились к цели наших странствований. Я лежал полусонный в саях, совсем погружённый в толстые меха, когда далекий лай собак возвестил нам о близости Анадырска. Я хотел поспешно сменить меховые торбаса и верхнюю обувь на американские сапоги, но не успел окончить этого занятия, как сани мои подъехали к дому русского священника, где мы предполагали остановиться, пока не найдём себе отдельного помещения. Толпа любопытных собралась к дверям дома, чтобы посмотреть на удивительных американцев, о которых они уже слышали. Среди этой группы людей в меховых одеждах выделялась фигура священника с длинными, развевающимися волосами и бородой, в широком чёрном одеянии, держащая над своей головой длинную сальную свечу, пламя которой сильно колебалось в холодном ночном воздухе. Лишь только мне удалось высвободить ноги из меховых чулок,

как я вышел из саней, приветствуемый низкими поклонами, «здравствуйте» толпы и сердечным «добро пожаловать» священника.

Полагаю, что три недели суровой жизни в пустыне не улучшили мою наружность, а мой костюм везде был бы замечен, кроме Сибири. Лицо моё, не особенно чистое, украшалось бородой, которую я не брил три недели, всклокоченные волосы висели длинными неровными прядями по лбу, а бахрома из косматой чёрной медвежьей шерсти, обрамляя моё лицо, придавала мне необыкновенно дикий и суровый вид. Американские сапоги, которые я быстро надел при въезде в деревню, одни только свидетельствовали о моём прежнем знакомстве с цивилизацией. Отвечая на почтительные приветствия чуванцев, юкагиров и русских казаков, которые в жёлтых меховых капорах и платье из оленьих шкур толпились у дверей, я последовал за священником в дом. Это было второе жилище, заслуживающее название дома, в которое я входил в продолжение двадцати двух дней после дымных корякских юрт в Куэле, Микине и Шестакове.

Домик священника мне показался настоящим дворцом. Пол был устлан мягкими, тёмными оленьими шкурами, в которых нога утопала при каждом шаге. Яркий огонь горел в красивом очаге в одном углу и приветливо освещал комнату. Крошечная восковая свечка с позолотой горела перед массивным вызолоченным образом против двери, в окнах были стёкла вместо льда и закоптелых рыбных пузырей, к которым я так привык, несколько иллюстрированных газет лежали на столике в углу. Словом, в доме всё было убрано со вкусом и рассчитано на комфорт. Это было очень приятно для усталого путешественника и являлось совершенно неожиданным сюрпризом в этих пустынных степях и среди невежественных народов. Додд, правящий сам своими санями, ещё не приезжал, но через дверь нам был слышен голос, распеваящий в ближайшей роще: «Как буду я рад, когда выйду из этой пустыни, из этой пустыни, из этой пустыни!» Певец и не подозревал, что он так близок к селению и что его мелодично выраженное желание «выехать из пустыни» было кем-нибудь услышано.

Мои познания в русском языке не были настолько обширны и точны, чтобы я мог вести разговор со священником, поэтому я был от души рад, когда Додд выехал из пустыни и явился избавить меня от затруднения. Его внешний вид был не лучше моего, и это меня утешило. Лишь только мой спутник вошёл в комнату, я мысленно провёл это сравнение между нами и убедился, что мы оба одинаково походили на коряков. Мы пожали руки жене свя-

щенника — бледной, высокой женщине с белокурыми волосами и тёмными глазами, познакомились с двумя или тремя хорошенькими малютками, которые в испуге убежали от нас, лишь только мы их выпустили из рук. После этого мы уселись, наконец, к столу — пить чай.

Радушное обращение хозяина несколько подбодрило нас, и через десять минут Додд красноречиво рассказывал о наших приключениях и страданиях, смеялся, шутил и пил водку со священником также безцеремонно, как будто он был с ним знаком десять лет, а не десять минут. У Додда была особенная способность, которой я часто завидовал, — скоро знакомиться и сходитья на короткую ногу с совершенно посторонними людьми, которых он видел первый раз в жизни. Через пять минут с помощью водки он сломил бы церемонность самого строгого патриарха греческой церкви и взял бы его, если можно так выразиться, приступом; мне же оставалось только сидеть и улыбаться, так как я не мог сказать ни одной фразы. Великое дело красноречие!

После прекрасного ужина, состоящего из щей, котлет, белаго хлеба и масла, мы разостлали наши медвежьи шкуры на полу, разделись во второй раз продолжении трёх недель и легли спать. Ощущение, что мы, наконец, спали без меховой одежды и с непокрытыми головами было так странно, что мы долго не могли заснуть, глядя на красноватый отблеск на стене и наслаждаясь приятной теплотой мягких шерстяных одеял, роскошью необутых ног и ничем не стеснённых движений.

Глава 26

Анадырск. Крайний пункт русской колонизаций на Севере. Рождество у русских. Вал. Праздник. Сибирская учтивость

Четыре маленькие русския и туземныя поселения несколько южнее полярного круга, известныя под общим названием Анадырска, образуют последнее звено того великаго поселения, которое тянется почти одной непрерывной линией от Уральских гор до Берингова пролива.

Благодаря своему уединённому положению и трудности путешествия, которое возможно только в продолжение одной части года, их никогда не посещал до нашего приезда ни один иностранец, исключая одного шведскаго офицера, состоящего на русской службе, который вёл партию изследователей из Анадырска к Берингову проливу зимою 1859/60 г. Это небольшое поселение, отрезанное

в продолжение года от остального мира и посещаемое только изредка немногими полуобразованными купцами, было так же независимо и самостоятельно, как если бы оно находилось посреди Арктического океана. Даже самое существование этого поселения долгое время было сомнительно для тех, кто не имел с ними никакого дела. Оно было основано в начале XVIII столетия бродячей шайкой отважных казаков, которые, покорив почти всю Сибирь, прошли через горы от Колымы к Анадыри, вытеснили чукчей, которые противились их нашествию и утвердили военный пост на реке, несколько вёрст выше настоящего поселения. С этих пор начались частые столкновения между чукчами и русскими пришельцами, продолжавшиеся с переменным успехом много лет.

В течение значительного периода времени в Анадырске стоял гарнизон в шестьсот человек и артиллерийская батарея, но после открытия и занятия Камчатки он утратил большую часть своего значения. Войска были отозваны, и, наконец, он был разбит чукчами. Во время войны, окончившейся разрушением Анадырска, два туземных племени, чуванцы и юкагиры, принявшие сторону русских, были почти совершенно уничтожены чукчами. С того времени они уже никогда более не были в состоянии возратить свою племенную индивидуальность. Немногие оставшиеся потеряли всех своих оленей и всё своё имущество, должны были оставить кочевую жизнь, поселиться со своими русскими союзниками и добывать средства к жизни охотой и рыбной ловлей. Постепенно они переняли русские обычаи и утратили отличительные черты своего прежнего характера. Несколько лет спустя ни одна живая душа не будет говорит языком этих когда-то могущественных народов.

Анадырск был снова выстроен русскими, чуванцами и юкагирами и сделался со временем значительным торговым пунктом. Табак, введённый русскими, пришёлся по вкусу чукчам. Для получения этой дорого ценимой роскоши они прекратили враждебные действия против русских и стали ежегодно посещать Анадырск для меховой торговли. Они не утратили, впрочем, совершенно враждебного чувства к русским, вторгнувшимся в их территорию, и долго вели с ними дела не иначе, как на конце копья. Они вешали связку мехов или моржовый клык на полированное острие чукотского копья, и, если русский купец снимал их и вешал на их место равноценное количество табаку, то торг был заключён, если же нет, то дело расходилось. Этот способ служил гарантией против всякого обмана. Во всей Сибири ни один

русский не осмелился бы обмануть кого-нибудь из этих свирепых дикарей, видя острые копыя в десяти дюймах от груди. Честность служила лучшей политикой, и нравственное убеждение чукотского копыя развивало самое безкорыстное добродушие в груди человека, стоящего у его остря. Торговля, установившись таким образом, до сих пор составляет значительный источник выгод для жителей Анадырска и русских купцов, которые приезжают сюда ежегодно из Гижигинска.

Четыре небольшие селения, составляющая город и носящая названия Покоруков, Псалкин, Марково и Крепость, насчитывают приблизительно до двухсот человек жителей. В центральном селении, называемом Марково, живёт священник и находится маленькая церковь грубой архитектуры, а зимой это очень печальное местечко. У его маленьких бревенчатых домиков нет оконных стекол, они заменяются толстыми плитами льда, наколотыми на реке. Большая часть этих домов до половины врыта в землю для тепла, все они более или менее засыпаны снегом. Густая роща лиственниц, тополей и осин окружает деревню, так что путник, едущий из Гижигинска, часто отыскивает Анадырск в продолжение целого дня, а если чужеземец не знаком с сетью рукавов, на которые делится Анадырь, то может и вовсе не найти этого местечка. Жители всех четырёх селений занимаются летом рыбной ловлей и охотой за дикими оленями, которые огромными стадами ежегодно переходят через реку. Зимой почти все обитатели этого местечка разъезжаются, посещая для торговли кочующих чукчей, отправляясь с товарами на ежегодную большую ярмарку в Колымск и нанимаясь в услужение к русским купцам из Гижигинска.

Берег Анадыря вблизи поселения и на семьдесят миль выше него покрыт густыми лесами, деревья которых достигают от восемнадцати до двадцати четырёх футов в объёме, хотя и находятся под шестьдесят шестым градусом северной широты. Климат очень суров. Метеорологические наблюдения, сделанные нами в Маркове в феврале 1867 г., показали, что в продолжение шестнадцати дней этого месяца термометр показывал минус сорок, восемь дней — более пятидесяти градусов мороза, пять дней — более шестидесяти и один раз — шестьдесят восемь градусов. Более низкой температуры мы не испытали в Сибири. Переход от сильного холода к сравнительно тёплой погоде бывает иногда очень резок. 18 февраля в девять часов утра термометр показывал пятьдесят два градуса мороза, а через двадцать семь часов он поднялся на семьдесят три градуса и показывал плюс двадцать один. 21 февраля

он показывал плюс три, а 22-го — минус сорок девять. Такая же быстрая перемена бывает и в обратном отношении. Несмотря, впрочем, на климат, Анадырск так же удобен для жилья, как и девять десятых русских поселений в Северо-Восточной Сибири. Мы одинаково наслаждались в нём различными удовольствиями жизни зимою 1866 г., как и в других сибирских местностях.

Следующий за нашим приездом день мы отдыхали и старались придать себе самый приличный вид с помощью тех небольших средств, которые нашли в наших чемоданах из тюленьей кожи.

В четверг, 25 декабря, у русских праздновался день Рождества Христова. Мы все встали за четыре часа до разсвета, чтобы присутствовать при раннем богослужении в церкви. Все в доме были на ногах, огонь ярко горел в очаге, восковые свечи были зажжены перед образами и киотами в нашей комнате, и воздух был наполнен запахом ладана. На дворе было совершенно темно. Плеяды стояли низко на западе, большое созвездие Ориона начало закатываться, и слабое северное сияние блестело над верхушкою деревьев на севере селения. Из каждой трубы поднимались клубы дыма и искр. Это доказывало, что все жители уже встали. Мы поспешно отправились к бревенчатой церкви, но служба уже началась, когда мы пришли. Мы молча заняли места в толпе богомольцев. Стены здания были украшены изображениями патриархов и святых, перед которыми горели большие восковые свечи, перевитыя спиралью золотыми полосками. Облака синеватого, благоухающего дыма поднимались к потолку от кадил, и густыя ноты священника в блестящем облачении составляли странный контраст с высоким сопрано, поющим на клиросе.

Богослужение православной церкви производит более сильное впечатление, чем католической, но так как оно совершается на древнем славянском языке, то для нас, американцев, оно почти непонятно. Но самое лучшее во всём богослужении православной церкви — это пение. Его нельзя слушать без волнения даже и в маленькой бревенчатой часовне далекой Сибири, оно дышет глубокой набожностью. Я часто простаивал службы, продолжающиеся два или три часа, чтобы слышать пение нескольких псалмов и молитв. Молящиеся стоят всё время в продолжение самых долгих служб и, кажется, вполне погружены в свою молитву. Все крестятся и постоянно наклоняются в ответ на слова священника и часто кладут земные поклоны. Вид такой усердной, сосредоточенной молитвы невольно умиляет посторонняго зрителя, будь то христианин другого вероисповедания или магометанин, или даже, пожалуй, язычник.

По окончании утреннего рождественского богослужения на клиросе раздаётся ликующий гимн, выражающий радость ангелов при рождении Спасителя, и среди нестройного трезвона колоколов, висевших на маленькой колокольне у дверей, мы вышли с Доддом из церкви и возвратились домой пить чай. Едва я успел только допить последнюю чашку и докурить папироску, как дверь внезапно отворилась и с полдюжины людей с серьёзными и безстрастными лицами вошли вереницей, остановились за несколько шагов до иконы в углу, перекрестились все за раз и запели чудную трогательную молитву, начинающуюся словами: «Христос рождается». Не ожидая услышать рождественские гимны в маленьком сибирском поселении у Полярного круга, я стоял совершенно поражённый и смотрел с удивлением сначала на Додда, чтобы угадать его мысли насчёт этого, а потом и на певших. Эти последние, увлечённые своим пением, кажется, и не замечали нашего присутствия. Только по окончании гимна обратились они к нам, поздоровались и поздравили с праздником Рождества Христова. Додд дал каждому по несколько копеек, певчие же, пожелав весёлых праздников, долгой жизни и счастья «нашим превосходительствам» пошли далее, посетить остальные дома в селении. Одна толпа певцов следовала за другой, пока, наконец, вся молодёжь города не перебывала у нас и не получила на праздник по мелкой монете. Некоторые из маленьких мальчиков, более заинтересованные приобретением денег, чем торжественностью события, портили всё впечатление, оканчивая свой гимн словами «Христос родился! Дайте мне денег!» Но большая часть из них вела себя очень прилично. Мы остались очень довольны таким прекрасным обычаем.

Когда солнце взошло, все восковые свечи были погашены, народ нарядился в свои лучшие одежды, и всё поселение предалось ничем не стеснённым увеселениям большого праздника. Колокола без умолку звонили на церковной колокольне, сани, запряжённые собаками и наполненные девушками, неслись по улицам, опрокидываясь в снежных сугробах, и затем мчались вниз по холмам среди криков и смеха. Женщины в пёстрых ситцевых платьях, повязанные пунцовыми шёлковыми платками, ходили из дома в дом с поздравительными визитами и с разговорами о прибытии знаменитых американских офицеров. Толпы мужчин играли в мяч на снеге, и всё поселение представляло оживлённый и весёлый вид.

Вечером на третий день Рождества священник сделал в честь нас большой вечер, на который были приглашены жители всех

четырёх селений и к которому были сделаны самые тщательные приготовления. <...> Перегородка в нашем доме была вынесена, ковры сняты, комната ярко освещена свечами, прилепленными к стене, а вокруг трёх сторон комнаты поставлены деревянные скамьи для дам. Около пяти часов любители удовольствий начали собираться. Это было немного рано для бала, но уже много времени прошло после того, как смерклось. Вскоре гостей собралось около сорока человек, все мужчины были одеты в тяжёлые меховые кулянки, меховые панталоны и сапоги, а дамы — в прозрачные белая кисейные или ситцевые платья. Костюмы обоих полов были не слишком соответственны, так как одне по своей лёгкости и воздушности оделись для африканского лета, а другие — для полярной экспедиции, отыскивающей сэра Джона Франклина. Общий эффект, впрочем, был довольно живописен. Оркестр состоял из двух грубо сделанных скрипок, двух балалаек, или треугольных туземных гитар с двумя струнами, и большого гребня с листом бумаги — инструмента, хорошо известного всем мальчикам.

Любопытствуя посмотреть, как дело такого рода будет ведено по правилам сибирского этикета, я спокойно уселся в угол и начал свои наблюдения. Дамы тотчас же по приезде садились торжественно в ряд на деревянные скамьи у одной стены комнаты, а мужчины густой толпой стояли у другой. Все были необыкновенно воздержаны. Никто не улыбался, никто не говорил ни слова; молчание нарушалось только случайно пискливым аккордом разбитой скрипки в оркестре или меланхолическим «тут-тут», когда один из музыкантов вздумывал настраивать свой гребень. Если только в этом и заключалось всё увеселение, то я не видал в нём ничего неприличного для воскресенья. Оно походило, скорее, на похороны. Я мало знал ещё, какая способность возбуждения заключалась под скромной наружностью этих туземцев. Через несколько минут маленькое движение у двери возвестило о появлении угощения, и молодой чуванец поднёс мне большую деревянную чашку, содержащую около четырёх гарнцев сырой замороженной брусники. Неужели предполагали, что я могу съесть четыре гарнца сырой брусники! Я взял ложки две и посмотрел на Додда за дальнейшими инструкциями. Он сделал мне знак, чтобы я передал её далее. Эта брусника походила вкусом на кисловатые градины, причинила мне только зубную боль, и я был очень рад избавиться от нея.

Следующее угощение состояло из другой деревянной чашки, наполненной, как мне показалось, белыми сосновыми стружками, и я взглянул на них, исполненный удивления. Замороженная брус-

ника и сосновыя стружки были самым необыкновенным угощением, которое я когда-либо видел, даже и в Сибири, но я хвастался своей способностью есть почти всё, и если туземцы могли питаться брусничкой и стружками — я не должен был уступать им. Что я принял за сосновыя стружки, оказалось при ближайшем исследовании наскобленной сырой мёрзлой рыбой, любимым лакомством сибиряков, которое впоследствии я встречал очень часто под названием струганины. Мне удалось справиться и с этими рыбными стружками без иных, серьёзных результатов, кроме усиления зубной боли. За ними следовали белый хлеб с маслом, пироги с брусничкой и чай, которым и закончился ужин.

Тогда мы были уже совершенно приготовлены к началу удовольствия. После нескольких подготовительных пиликаний и настраиваний музыкальных инструментов оркестр разразился оживлённым русским народным танцем. Музыканты усердно били такт головой и правой ногой, человек с гребнем покраснел, как рак, от усиленной натуги, и всё собрание начало петь. Через минуту один из мужчин в платье из пятнистой оленьей шкуры и в лосиных панталонах выскочил на середину комнаты и низко поклонился одной даме, сидевшей на конце скамьи. Дама встала с грациозным поклоном, и оба начали род полупляски-полупантомимы по комнате, приближаясь и удаляясь в такт музыке и быстро повертываясь. Мужчина, по-видимому, ухаживал за дамой, а дама отталкивала все его любезности, отворачиваясь от него и закрывая себе лицо платком. После нескольких минут таких немых движений дама удалилась и другая заняла её место. Музыка удвоила такт, танцующие пустились в бешеную пляску, и резкия возбуждающая восклицания: «Ах! Ах! Валяй! Не отставай!» — раздавались со всех концов комнаты вместе с оглушающей музыкой гребня и топанием полсотни ног на деревянном полу. Кровь закипела в моих жилах — так заразительно было это общее возбуждение!

Вдруг пляшущий бросился на землю к ногам своей дамы и начал вприсядку плясать вокруг неё, напоминая мне в эту минуту своей фигурой хромую огромную стрекозу. Этот неожиданный поступок привёл всё общество в дикий восторг, крики песни заглушили все музыкальные инструменты, исключая гребня, который продолжал трубить подобно шотландской волынке при её последней агонии. Такого пения, такой пляски, такого возбуждения я никогда ещё не видал. Оно разом уничтожило всё моё самообладание. Наконец танцор, проплясав по очереди со всеми дамами в комнате, остановился, по-видимому, истощённый, чему я вполне верю.

Пот градом катился по его лицу, и он отправился за мороженой брусникой, чтобы освежиться после этой усиленной гимнастики. За этой пляской, называемой «русская», последовала другая, известная под именем «казачка», в которой Додд, к великому моему удивлению, не замедлил принять участие. Я чувствовал себя способным на каждый танец, на который способен был Додд, поэтому, пригласив даму в ситцевом платье, с красными и голубыми цветами, я занял место в ряду танцующих.

Восторг был неописанный, когда оба американца начали быстро кружиться по комнате. Музыканты приложили всё своё старание, чтобы играть быстрее, человек с гребнем закашлялся и должен был прекратить свою игру, но правильное притоptyвание пятидесяти или шестидесяти ног указывали такт музыке вместе с одобряющими криком: «Валяй, американцы! Эх, эх, эх!» — и шумным пением всей толпы. Верх возбуждения, до которого туземцы доводят себя в продолжение этой пляски, почти невероятен и производит сильное впечатление даже и на иностранца. Если бы я был в полном разсудке в эту минуту, а не под влиянием неестественного энтузиазма, я никогда не решился бы ни танцевать «казачка», ни выставять себя в смешном виде. В Сибири считается большим нарушением этикета, если вы, пустившись раз танцевать, не протанцуете, или, по крайней мере, не предложите протанцовать со всеми дамами в обществе. Если их очень много, то такое удовольствие становится крайне утомительным. Исполнивши этот обычай, мы с Доддом бросились вон из комнаты, сели на скамью, сделанную из снега, и съели по гарнцу замороженной рыбы и брусничных градин. Весь наш организм таял, кажется, от страшного жара.

Как доказательство того уважения, которым американцы пользуются в Анадырске, я расскажу следующий маленький случай. Танцуя «казачка», я нечаянно наступил своими тяжёлыми сапогами на ногу одного русского крестьянина. По выражению его лица я заметил, что причинил ему сильную боль. По окончании пляски я отправился к нему извиняться, взяв Додда, как переводчика. Но он прервал меня кучей поклонов, уверяя, что ему вовсе не было больно. Только того недоставало, чтобы он сказал, что американец сделал ему большую честь, наступив на ногу! Никогда до сих пор я не сознавал того славного и завидного положения, которым пользовался, как уроженец Америки, к которой все относились с таким уважением.

Танцы, прерываемые оригинальными туземными играми и частыми угощениями в виде замороженной брусники, продолжались

до двух часов, то есть девять часов сряду. Я описал слишком подробно этот танцевальный вечер, потому что в этом состоит главное развлечение полубразованных жителей всех русских поселений в Сибири. Это доказывает лучше, чем что другое, беззаботный, весёлый нрав этого народа Крайнего Севера.

В продолжение всех святок всё поселение занималось только визитами, приглашениями на чай, плясками, катаньем на санях и игрою в мяч. Каждый вечер от Рождества до Нового года толпы наряженных в самые фантастические костюмы обходили с музыкой все дома в селении и угощали хозяев песнями и танцами. Жители этих маленьких поселений в Северо-Восточной Сибири — самый беззаботный, добросердечный и гостеримный народ во всём мире. Эти качества проявляются всюду в их общественной жизни. Вы не встретите ни церемонии, ни напыщенности, ни желаний выставиться ни в одном классе общества. Все смешаны вместе, все обращаются друг с другом с самой радушной откровенностью, мужчины часто целуются при встрече и прощании, как братья. Их уединение от остального мира, кажется, связало их узами взаимной симпатии и солидарности и изгнало из их сердец всякое чувство зависти и мелочного эгоизма.

Во всё время нашего пребывания у священника с нами обращались с большим вниманием и полным уважением. Маленький запас роскоши священника, как-то мука, сахар и масло щедро тратился для нашего стола. Он был рад делить с нами всё, что у него было, и никогда не делал даже намёка на какое-либо вознаграждение. Ему, кажется, и в голову не приходило, что он делает более того, чего требует простое гостеприимство. Словом, он совершенно не считал нас за посторонних людей, а обращался с нами как с близкими родными, приехавшими повидаться с ним изда-лека на самое короткое время.

Первые десять дней нашего пребывания в Анадырске навсегда останутся для нас самым приятным воспоминанием из всей нашей жизни в Сибири.

Глава 27

Некоторые приключения во время розыска наших товарищей

Приехав в Анадырк, мы навели справки о партии американцев, которые, по слухам, высадились близ устья Анадыри, но мы не могли добиться более точных сведений, чем те, которые уже нам сообщили. Кочующие чукчи принесли известие, что маленькая

партия белых людей высадилась южнее Берингова пролива поздней осенью с «огненного корабля», то есть с парохода. Эти люди вырыли в земле род погреба, покрыли его ветвями и досками и таким образом остались на зимовку. Кто они были, зачем пришли и долго ли предполагали остаться — вот вопросы, которые волновали всё чукотское население и на которые никто не мог дать ответа. Их маленькая подземная хижина была совершенно завалена, по словам туземцев, снежными сугробами, и только странная железная труба, из которой выходили дым и искры, указывало то место, где жили белые люди. Эта странная железная труба, которая так поражала чукчей, была, конечно, ничто иное, как английская печная труба. Такое сообщение подтверждало правдоподобность рассказа. Ни один сибирский туземец не мог бы выдумать понятия о железной печной трубе — кто-нибудь из них должен был действительно видеть её. Один этот факт убедил нас, что американцы жили где-нибудь на берегу моря. Вероятно, это партия исследователей, высаженная полковником Бёлькли для одинаковой с нами цели.

Инструкции, данные нам майором при отправлении из Гижигинска, не рассчитывали на такую случайность, как прибытие партии к Берингову проливу. В то время мы потеряли всякую надежду на такую помощь и думали исследовать страну только собственными силами. При нашем отъезде из Сан-Франциско главный инженер положительно сказал нам, что если он пошлёт партию людей к устью Анадыря, то никак не ранее начала осени и, кроме того, с большой китоловной лодкой, на которой они могли бы подняться к поселению до наступления зимы. Поэтому, когда мы встретили в Гижигинске приезжих из Анадырска в конце ноября и узнали от них, что они ничего не слыхали об этой партии, то заключили, что полковник Бёлькли по каким-нибудь причинам отказался от своего первоначального плана. Никто не предполагал, что он оставит горсть людей в пустынной местности на юге от Берингова пролива в начале полярной зимы без всяких средств к передвижению, без крова, окружённых дикими племенами необузданных туземцев и удалённых более чем на двести миль от ближайшего цивилизованного человеческого существа. Что должна была делать эта несчастная партия? Ей оставалось только жить в бездействии, пока она не умрёт с голода или не будет перебита туземцами, если же ей и удастся спастись, то это уже будет каким-то чудом. Таково было положение дел, когда мы с Доддом приехали в Анадырск. Нам приказано было оставить

реку Анадырь неизследованною до следующего года, но мы знали, что лишь только майор получит письма, бывшие у нас в руках в Шестакове, то узнает, что партия высажена на юге Берингова пролива. Он, наверно, пришлёт нам приказание через нарочнаго курьера отправиться разыскивать эту экспедицию и привести её в Анадырск, где она может быть нам полезна. Поэтому мы решились предупредить эти распоряжения и взять на собственную ответственность розыски американской печной трубы.

Однако наше положение было одно из самых затруднительных. У нас не имелось средств верно определить ни наше собственное географическое положение, ни местонахождение американской партии. У нас не было инструментов для астрономических наблюдений, мы не могли определить с точностью градусы широты и долготы того места, где находились, и не знали, в двухстах ли милях от нас Тихий океан или в пятистах. По отчёту лейтенанта Филиппеуса, который исследовал часть Анадырской реки, поселение отстояло на тысячу вёрст от Анадырской губы, между тем как по расчёту жителей Гижигинска оно находилось не более, как в четырёхстах верстах от него. Настоящее расстояние было для нас вопросом большой важности, потому что мы должны были взять с собою корм для собак на всю дорогу, а если нам предстояло путешествие в тысячу вёрст, то собаки, вероятно, перемёрли бы от истощения прежде, чем мы успеем вернуться. Кроме этого, если мы и достигнем Анадырской губы, то каким образом узнаем о местопребывании американцев? И пока нам удастся встретить шайку чукчей, которые видели чужестранцев, придётся целый месяц блуждать по этим бесплодным равнинам, не наткнувшись на печную трубу, которая была единственным наружным признаком подземнаго жилища американцев. Это будет много труднее, чем, согласно пословице, найти иголку в стоге сена.

Когда мы сообщили обывателям Анадырска о нашем намерении отправиться к берегу Тихаго океана и стали приглашать охотников сопутствовать нам, то встретили самую сильную оппозицию. Туземцы заявили в один голос, что такое путешествие невозможно, что это неслыханная до сих пор вещь, что у низовьев Анадыря бывают страшныя бури, что местность у устья этой реки совершенно безлесна, что там всегда сильный холод и что мы неминуемо замёрзнем или умрём с голода и лишимся всех собак. Они приводили в пример лейтенанта Филиппеуса, который едва избегнул голодной смерти в этих местностях в 1860 г., хотя и отправился туда весною, между тем как мы хотим ехать среди зимы,

когда морозы и вьюги свирепствуют во всей своей силе. Словом, они объявили, что такое предприятие должно окончиться неминуемым несчастьем. Наш казак Григорий, честный и заслуживающий доверия старик, сопровождавший лейтенанта Филиппеуса и служивший ему переводчиком у чукчей в 1860 г., спускался уже по реке на полтораста миль зимою, а следовательно, был опычнее в этом деле, чем многие другие. Поэтому мы не обратили внимания на слова туземцев, а обсудили с ним этот вопрос. Казак сказал, что был близко от Анадырской губы и везде встречал достаточно малорослой сосны по берегам, чтобы снабдить нас в избытке лесом для костров, а местность была не хуже той, по которой мы ехали из Гижигинска в Анадырск. Он заявил о своей полной готовности предпринять это путешествие и поехать на собственных собаках, куда мы только пожелаем.

Священник, который также путешествовал летом по реке, полагал, что эта поездка очень возможна и сказал, что сам сопутствовал бы нам, если бы мог принести какую-нибудь пользу. Ободрённые этими уверениями, мы сообщили туземцам наше окончательное решение, показали им письмо, привезённое от гижигинского исправника, дающее нам право требовать людей и саней для всякого рода услуг, и сказали им, что если они откажутся ехать с нами, то мы пошлём нарочного в Гижигинск объявить об их непослушании. Эта угроза и пример казака Григория, известного за самого опытного проводника от Охотского моря до Ледовитого океана, произвели, наконец, желаемое действие.

Одиннадцать человек согласились сопутствовать нам, и мы начали тотчас запастись кормом для собак и съестными припасами для себя. До сих пор мы имели только самые неопределённые сведения о положении американской партии и решились подождать ещё несколько дней возвращения казака Кожевина, который поехал к кочующим чукчам. Священник был уверен, что казак привезёт последние и самые достоверные сведения, так как кочующие туземцы во всей стране знали о прибытии таинственных белых и могли приблизительно объяснить Кожевину место их нахождения.

В это время мы заботились о некоторых прибавках к нашим меховым костюмам, об изготовлении масок из беличьей шкуры, чтобы надевать их на лицо при слишком сильном морозе, и засадили всех женщин в поселении за работу большой палатки из шкур. В субботу, 20 января, Кожевин возвратился от чукчей, расположившихся севернее Анадырска, и привёз, как и ожидали, более

подробныя сведения о партии американцев, покинутой у Берингова пролива. Она состояла, по последним известиям, только из пяти человек, живущих на Анадыри на разстоянии одного дня путешествия от ея устья. Эти пять человек жили в подземной хижине, грубо построенной из сучьев и досок и совершенно погребённой под снегом. Говорили, что они в изобилии снабжены съестными припасами и у них много бочонков, содержащих, по предположению туземцев, водку, но, по всей вероятности, в этих бочонках была солонина, а не водка. Они разводили огонь самым необыкновенным способом, по словам чукчей, зажигая «чёрныя камни в железном ящике», между тем как весь дым таинственно выходил из наклонённой железной трубы, которая вертелась от ветра. В этом живом, но смешном описании, мы узнали, разумеется, печь, топящуюся каменным углём и трубу с коловратным движением. Кожевину сказали также, что они имеют огромнаго чёрнаго ручного медведя, который бегаёт на свободе вокруг их жилища и который разогнал чукчей самым энергичным способом.

Когда я услышал это, я не мог долее удержатъ торжествующаго крика. Партия состояла из наших старых товарищей из Сан-Франциско, а ручной чёрный медведь была ньюфаундленская собака Робинсона. Я её ласкал столько раз в Америке и между моими фотографическими карточками был даже снимок с нея. Она принимала далее участие в экспедиции. Теперь не могло быть более сомнения, что партия, погребённая под снегом в обширных степях на юге Берингова пролива, была давно ожидаемая партия исследователей под начальством лейтенанта Макри. Наши сердца бились от волнения, когда мы думали, как изумятся наши старые друзья и товарищи, когда мы неожиданно явимся к ним в эту пустынную, Богом покинутую страну, за две тысячи миль от того места, где, по их разчётам, мы должны были высадиться. Такая встреча вознаградит нас сторицею за все трудности и неприятности сибирской жизни.

Вскоре всё было готово к отъезду. Сани были нагружены на пять футов вышины съестными припасами для нас и для собак на тридцать дней. Наша палатка из шкур, которою мы должны были пользоваться во время слишком сильных холодов, окончена и уложена; мешки, верхняя обувь, маски, толстая одежда для спанья, лопаты, топоры, ножи и длинныя сибирскія лыжи были распределены на каждыя сани. Всё, что мы только могли придумать с Доддом и Григорием, было сделано для обезпечения успеха экспедиции.

В понедельник утром, 22 января, вся партия собралась перед домом священника. Для соблюдения экономии и из желания разделить участь наших людей, какая бы она ни была, Додд и я не сели в повозки, а сами стали управлять нашими нагруженными санями. Нам не хотелось, чтобы туземцы могли сказать, что мы заставляем их ехать, а сами избегаем свою долю трудов и опасностей. Всё население города — мужчины, женщины и дети — собрались смотреть на наш отъезд, а улица перед домом священника была переполнена толпой темнолицых мужчин в меховых одеждах, красных кушаках и больших лисьих капорах и встревоженных женщин, бегающих взад и вперёд и прощающимися с мужьями и братьями. У крыльца стояли одиннадцать узких длинных саней, нагруженных сушёной рыбой и увязанных жёлтой лосиной кожей и ремнями. Сто двадцать пять мохнатых волкообразных собак заглушали весь остальной шум громким нетерпеливым лаем.

Наши спутники вошли в дом священника, перекрестились и помолились перед образом Спасителя, что они всегда делали перед отъездом в долгий путь. Додд и я простились с добродушным священником, на что он нам отвечал: «С Богом», что у русских заменяет «прощайте»; потом, вскочив в сани и пустив наших бешеных собак, мы понеслись из селения в облаках снега, блестящих, как алмазный порошок, в красном свете солнца.

За двумя или тремя сотнями миль снежной пустыни мы представляли себя в своём воображении закоптелую печную трубу, поднимающуюся из снежного сугроба — эту чашу Грааля, которую мы отыскивали, как странствующее рыцари полярного полюса.

Глава 28

Продолжение путешествия. Открытие партии

Я не стану распространяться о первой части нашего путешествия из Анадырска к берегу Тихаго океана. Это явилось бы только повторением того, что нам пришлось испытывать до сих пор. Езда по льду реки или по пустынной снежной степи, лагерная стоянка ночью, несмотря ни на какую погоду — вот в чём состояла наша жизнь. Это скучное утомительное однообразие смягчилось только радостным ожиданием встречи с нашими друзьями-изгнанниками и полным сознанием, что мы направлялись в такую страну, куда до нас никогда ещё не вступала нога цивилизованного человека.

С каждым днём ольховые кусты по берегу реки становились всё ниже и реже, а обширная степь, по которой протекала река,

всё пустынное, чем ближе мы подходили к морю. Наконец мы оставили за собой последний признак растительности. На десятый день путешествие началось по равнинам, совершенно лишённым всякой жизни. Оне простирались безграничным белым ковром и сливались с далёким горизонтом. Река достигала здесь мили ширины. Не без опасения страшился я возможности быть застигнутым вьюгой в такой местности. По приблизительному расчёту, мы сделали, выехав из Анадырска, около двухсот вёрст, но насколько мы подвинулись к морскому берегу, мы никак не могли узнать.

Погода в продолжение этой недели вообще была ясная и не очень холодная, но в ночь на 1 февраля термометр понизился до минус тридцати пяти, а нам удалось найти только маленький зелёный кустарник, достаточный лишь для того, чтобы вскипятить чай. В нескольких местах мы раскапывали снег, ища леса, но не находили ничего, кроме мха и нескольких кустов брусники, которые не годились для костра. Утомлённые и измученные длинным дневным путешествием, а более всего бесполезным копанием снега, думая найти под ним какую-либо растительность, удобную для того, чтобы развести костёр, мы возвратились с Доддом в стан, бросились на медвежьи шкуры и стали пить чай. Едва Додд поднёс чашку к губам, как странное выражение его лица поразило меня. Он будто заметил какой-то особенный вкус в чае. Только что я хотел спросить его о причине, как он воскликнул с особенным удивлением и нескрываемую радостью:

— Вода прилива! Чай солёный!

Полагая, что соль могла случайно попасть в чай, я послал людей вниз по реке за чистым льдом, и мы старательно распустили его. Не было ни малейшего сомнения, что в воде был солёный вкус. Мы достигли Тихаго океана, он был недалёк. Ещё день — и мы достигнем жилища американской партии или устья реки. По всей вероятности, мы не встретим более леса. Желая воспользоваться ясной погодой, мы поспешили заснуть, чтобы шесть часов спустя отправиться далее в самую полночь при свете полной луны.

На одиннадцатый день после отъезда из Анадырска, по окончании тех долгих сумерек, которые следуют за полярным днём, наши одиннадцать саней подъехали к тому месту, где, по словам чукчей, мы ожидали найти партию американцев. Ночь была ясная, тихая и очень холодная. Термометр при закате солнца показывал сорок четыре градуса ниже нуля и быстро понизился до минус пятидесяти, а розовый свет на западе становился всё слабее

и слабее, и, наконец, темнота распространилась по всей обширной степи. <...>

Все мы страшно страдали от холода, а меховые кукули и переда наших одежд превратились в массы белого инея, образовавшегося от дыхания. Я, надев на себя две тяжёлые куклянки из оленьей шкуры, весящая вместе около тридцати фунтов, подпоясал их туго поясом, надел их толстые меховые капоры себе на голову и покрыл лицо беличьей маской, но, несмотря на всё это, я предохранял себя от холода только тем, что бежал возле саней. Додд ничего не говорил, но, по-видимому, приуныл и почти замёрз, между тем как туземцы молча сидели на своих санях, как будто ничего больше не ждали и ни на что не надеялись. Только Григорий и один старый чукча, служивший нам проводником, выказывали некоторую энергию и, по-видимому, надеялись напасть на следы партии американцев. Они ехали вперёд, разрывая всюду снег, чтобы найти хоть топливо, разглядывая внимательно берега реки и сворачивая, по временам, в снежную равнину на север. Наконец Додд, не сказав мне ни слова, отдал свою остроконечную палку одному из туземцев, спрятал голову и руки в своё меховое платье и лёг в сани, собираясь спать, несмотря на мои предостережения и не обращая внимания на все мои вопросы. Он, очевидно, начинал коченеть от холода, от которого не сберегли его и самые тёплые одежды.

Он, конечно, не проживёт ночи, если его не поднять тотчас же. Кто знает, проживёт ли он и два часа. Его отчаянное положение привело меня в уныние. Истощённый постоянными усилиями согреться, я потерял, наконец, всякую надежду, и хотя неохотно, но согласился отказаться от поисков и расположиться на ночлег. Я надеялся возвратить Додда к жизни, остановившись, где мы теперь находились, разломив одни сани на дрова и напоив его чаем. Ехать же далее на восток и рисковать жизнью всех без всякой видимой надежды на то, что нам удастся найти партию американцев или отыскать хотя несколько кустарников, чтобы развести огонь, было совершенно бесполезно. Только что я дал приказание ближайшим ко мне туземцам остановиться, как мне показалось, что вдали раздался слабый крик. Вся кровь в моих жилах внезапно прилила к сердцу, я сбросил меховой капор и стал прислушиваться. Снова слабый, долгий крик долетел до меня по тихому воздуху с передовых саней. Мои собаки наострили уши при этом звуке, рванулись вперёд и через минуту я подъехал к кучке наших людей, собравшихся вокруг какого-то предмета, похожего на опрокинутую китоловную лодку, занесённую снегом на берегу реки.

След на песке не был более изумителен для Робинзона Крузо, чем эта повреждённая погодой покинутая лодка для нас, так как она ясно свидетельствовала, что где-то вблизи должен был находиться приют. Один из возниц несколько минут тому назад наехал на какой-то тёмный, твёрдый предмет в снегу, который он принял сначала за бревно, выброшенное морем, но при ближайшем осмотре оказалось, что это была американская китоловная лодка. Если когда-нибудь мы благодарили Бога со всей искренностью нашего сердца, то это было в эту минуту. Очистив рукавицей длинную бахрому инея, висевшую на моих веках, я стал поспешно искать вокруг признака дома, но Григорий был быстрее меня, и радостный крик объявил о новом открытии. Я дал собакам волю итти, куда им вздумается, бросил остроконечную палку и побежал по направлению к звуку. Через минуту я увидел Григория и старого чукчу, стоящих возле низкаго снежнаго вала в ста аршинах от речнаго берега и разглядывающих какой-то тёмный предмет, который торчал на его гладкой, белой поверхности. Это была давножданная, давно искомая печная труба! Анадырская партия была найдена!

Неожиданное открытие этих соотечественников поздней ночью, когда мы уже потеряли всякую надежду на приют и почти на жизнь, было настоящим посланием Господним для нашего упавшаго духа, и в сильном волнении я положительно не сознавал, что делал. Помню, что я быстро ходил взад и вперёд перед снежным сугробом, повторяя на каждом шагу вполголоса: «Слава Богу! Слава Богу!» Я сознавал в эту минуту только один важный факт, что нам не угрожало более никакой опасности. Додд, очнувшийся из своей летаргии от сильнаго волнения, причинённаго нашим открытием, заметил теперь, что нужно было бы постараться найти вход в жилище и войти в него как можно скорее, так как он умирал от холода и истощения. В одиноком снежном сугробе перед нами не видно было признака жизни, обитатели его, если они и были, вероятно, спали. Не видя нигде двери, я взошёл на сугроб и крикнул через трубу громовым голосом. Удивлённый голос из-под моих ног спросил:

— Кто там?

— Придите и посмотрите! Где дверь?

Мой голос, выходящий из печи, изумил американцев, так как им ещё не приходилось испытывать подобного явления, но они разсудили очень правильно, что печь, способная среди ночи задавать вопросы на чистом английском языке, имеет полное право на ответ. И они сказали, запинаясь и полуиспуганно, что дверь

была в юго-восточном углу, что, впрочем, нисколько нас не подвинуло вперёд. Во-первых, мы не знали, где был юго-восток, а во-вторых, трудно было найти угол в снежном сугробе. Я оглядывался во все стороны в надежде увидеть где-нибудь вход. Обитатели выкопали глубокий ров около тридцати футов длины вместо входа и покрыли его жердями и оленьими шкурами, чтобы предохранить от снега. Ступая неосторожно по этой непрочной крыше, я провалился именно в ту самую минуту, когда один из потревоженных нами людей выходил в одном белье, держа высоко над головой свечу, и вглядывался в темноту туннеля, чтобы рассмотреть новоприбывших. Моё внезапное падение через крышу в таком именно виде, в каком я был, конечно, не могло успокоить нервы испуганных подземных обитателей.

На мне были надеты две тяжёлые куклянки, придававшие моей фигуре гигантские размеры, два толстых кукуля из оленьей шкуры с обледенелой бахромой из чёрного медведя. Беличья маска, превратившаяся в ледяной лист, закрывала мне лицо, и только глаза, выглядывавшие из-под этой всклокоченной массы мёрзлых волос, показывали, что все эти звериные шкуры заключали в себе человеческое существо. Встретивший меня американец отступил испуганно несколько шагов назад и едва удержал свечу в руках. Я явился в таком сомнительном виде, что он имел бы право спросить: «С хорошими или дурными намерениями вы приходите?»

Когда же я узнал его и обратился к нему снова по-английски, он остолбенел. Тогда я снял маску, меховое платье и назвался. Не может быть радости более той, которую я ощутил в этом маленьком погребке, узнав в партии изгнанников двух из моих товарищей и друзей, с которыми я простился восемь месяцев тому назад, когда «Ольга» поднимала паруса в Голден Гэте в Сан-Франциско. Пожимая при прощании руки Гардеру и Робинсону, я не думал тогда, что мне придётся встретиться с ними ночью в маленьком засыпанном снегом погребке на большой пустынной степи у низовьев Анадыри. Лишь только мы разделись и уселись у яркого костра, как тотчас же внезапный переход от страданий, утомления и страха в течение целых суток дал себя почувствовать. Наши напряжённые нервы не выдержали, и через десять минут я едва мог поднести чашку кофе к губам. Стыдясь такой женской слабости, я старался скрыть её от своих соотечественников, и полагаю, что они не знают до сих пор, что Додд и я едва не упали в обморок несколько раз в продолжение первых двадцати минут вследствие

резкого перехода от пятидесятиградусного мороза к теплу и нервного напряжения, причинённого недостатком сна и тревожным состоянием. Мы чувствовали непреодолимую потребность подкрепить себя каким-нибудь сильным возбуждающим средством и попросили водки, но у них не оказалось никакого спиртного напитка. Эта слабость, впрочем, скоро прошла. Мы принялись рассказывать друг другу наши взаимные приключения, между тем как наши спутники прижались кучкой к другому углу маленькой хижины и подкрепляли свои силы горячим чаем.

Партия американцев, которую мы нашли таким образом погребённую под снегом в трёхстах верстах с лишком от Анадырска, была привезена сюда на одном из кораблей компании ещё в сентябре. Они намеревались подняться по реке на китоловной лодке до какого-нибудь поселения и потом постараться открыть сообщение с нами, но зима пришла так внезапно, и река замёрзла так неожиданно, что этот план не мог быть осуществлён. Не имея других средств к передвижению, кроме лодки, им оставалось только построить себе жилище и зазимовать здесь со слабой надеждой, что в начале весны майор Абаза пришлёт им на выручку небольшую партию людей. Они выстроили себе род подземной норы с помощью кустарника, леса, выброшенного морем, и нескольких досок, привезённых на корабле. Так они жили вот уже пять месяцев при свете ночника, не видя ни одного цивилизованного человеческого существа.

Кочующие чукчи вскоре открыли их убежище и часто посещали их на оленях, привозя им свежего мяса и ворвани, которую они употребляли вместо лампового масла. Но эти туземцы по предразсудку, о котором я уже упоминал выше, ни за что не хотели продать им живого оленя, так что все старания достать средства к переезду отсюда были тщетны. Вначале партия состояла из пяти человек — Макри, Арнольда, Робинсона, Гардера и Смита, но Макри и Арнольд за три недели до нашего прибытия отправились на удачу с большой шайкой кочующих чукчей искать какого-нибудь русского поселения. С этого времени ничего не было о них слышно, а Робинзон, Гардер и Смит жили совершенно одни.

Вот в каком положении была пария американцев, когда мы её отыскивали. Конечно, ничего не оставалось более делать, как свезти этих людей и всю их кладь обратно в Анадырск, где, вероятно, Макри и Арнольд уже ждали нашего прибытия. Я знал, что чукчи приходили в Анадырск каждую зиму для торговли и, вероятно, привезли с собою обоих американцев.

После трёхдневного отдыха, в продолжении котораго нам удалось исправить некоторыя из наших попорченных вещей, мы отправились в обратный путь вместе с нашими новыми товарищами и 6 февраля благополучно возвратились в Анадырск.

Глава 29

Сибирские племена и их особенности. Понятие о чтении и искусствах

Когда мы вернулись обратно в поселение, то все его жители высыпали к нам навстречу, но между ними мы не увидели знакомых лиц Макри и Арнольда. Много шаек чукчей приезжали в поселение с низовьев Анадыри, но никто не слышал ничего о двух американцах. Полтора месяца прошло с тех пор, как они оставили свою стоянку на реке под снежным сугробом, и если они не умерли или их не убили, то они должны были бы уже давно приехать. Я хотел, было, послать партию разыскивать их, но не имел ни малейшего понятия о направлении, по которому они отправились, ни о намерениях туземцев, уведших их с собою. И искать шайку кочующих чукчей на этих обширных степях было бы также бесполезно, как отыскивать пропавший корабль среди Тихаго океана, и ещё гораздо опаснее.

Нам оставалось только ждать и надеяться. Первую неделю после нашего возвращения мы употребили на отдых, составление журнала и на приготовление отчёта о наших изследованиях для отправки его с нарочным к майору. В это время много диких кочующих туземцев-чукчей, ламутов и коряков приходили в поселение менять свои звериные шкуры и моржовые клыки на табак. Это был для нас прекрасный случай изучить их различные нравы и образ жизни. Кочующие чукчи, посещавшие нас чаще всех, составляли, очевидно, самое могущественное племя Северо-Восточной Сибири и производили на нас благоприятное впечатление своей наружностью и обращением. Кроме одежды они мало чем отличаются от северо-американских индейцев — многие из них представляют прекрасные, могучие образцы первобытного человечества. В главных чертах они не многим отличаются от кочующих коряков, обычаи, верования и образ жизни которых я уже описывал.

Другой народец, ламуты, напротив, принадлежат к совершенно отдельному племени. Они имеют сходство с чукчами только по своему кочевому образу жизни. Все туземцы Северо-Восточной Сибири, исключая камчадалов, чуванцев и юкагиров, частью уже

обрусевших, принадлежат к одному из трёх великих племён. Первое из них, которое можно назвать индейским племенем, к которому принадлежат кочующие и оседлые чукчи и коряки, занимает часть Сибири, лежащую между шестнадцатым меридианом восточной долготы и Беринговым проливом. Это единственное племя, которое с успехом сопротивлялось вторжению русских. Оно состоит, без сомнения, из самых храбрых независимых дикарей всей Сибири. Я не думаю, чтобы это племя заключало в себе теперь более шести или восьми тысяч душ, хотя русские и насчитывают их значительно более.

Ко второму племени принадлежат все туземцы китайского происхождения, как-то тунгузы, ламуты, манжуры и гиляки на Амуре. Оно одно занимает большее пространство земли, чем оба других племени, вместе взятых, так как представители его встречаются на западе до Енисея и на востоке до Анадырска, то есть до шестьдесят девятого градуса восточной долготы. Единственные ветви этого племени, с которыми мне удалось познакомиться, — это ламуты и тунгузы. Они очень похожи друг на друга. Как ламуты, так и тунгузы отличаются стройным телосложением, прямыми чёрными волосами, тёмно-оливковым цветом кожи, более или менее узкими, косо прорезанными глазами и без бороды. Они столько же походят на чукчу или на коряка, сколько китаец походит на каманча или на сиу. Их одежда крайне своеобразная. Она состоит из мехового капора, узких меховых панталон, коротких оленьих сапог, меховых фартуков, сделанных из мягкой лосиной кожи, старательно украшенных бусами и кусочками металла, именно таких, какие носят масоны, и верхнего платья необыкновенного покроя из оленьей кожи, похожего на покрыв европейского и отделанного длинными шнурками из окрашенной оленьей шерсти вроде шинели. Это производит на вас такое впечатление, точно на них надет какой-то мундир. Мужчины и женщины очень походят друг на друга наружностью и одеждой, так что иностранцу трудно бывает их различить с первого раза. Подобно чукчам и корякам, они — кочующее племя, владеющее оленями, но образом жизни они несколько различаются от первых. Их палатки меньше и иначе построены, они не переносят с собою палаточные шесты, как чукчи, но оставляют их на том месте, где стояли лагерем, а срезают себе новые или пользуются теми, которые были оставлены другими шайками. Таким образом, шесты палаток служат им придорожными знаками. Немногие только из тунгузов и ламутов владеют большими стадами

олений. Стадо в двести или триста голов считается уже очень многочисленным, а на человека, обладающего им, смотрят, как у нас на миллионера. Стада, подобныя корякским в Северной Камчатке, заключающия от пяти до десяти тысяч голов, никогда не встречаются на западе от Гижигинска.

Тунгузы, несмотря на это, извлекают более выгод из своих оленей, чем коряки. Так, например, эти последние очень редко ездят верхом или навьючивают на них свои пожитки, между тем, как у тунгузов это самая обыкновенная вещь. Тунгузы кроткаго и тихаго нрава, легко управляемы и скоро поддаются под постороннее влияние. Они заняли такое большое пространство земли, скорее, вследствие уступчивости других племён, чем по своим завоевательным наклонностям. Их первоначальная религия была шаманизм, но теперь они все почти исповедуют православную веру и получают при крещении христианския имена. Они признают верховную власть царя и платят ежегодную дань мехами. Почти все беличьи шкуры, появляющияся на европейском рынке, покупаются русскими торговцами у тунгузов, кочующих близ Охотскаго моря. Когда я оставил Охотск в конце 1867 г., в руках одного русского купца было более семидесяти тысяч беличьих шкурок, а это ещё малая часть всего количества, привезённаго тунгузами в продолжение лета.

Ламуты, более всего родственные тунгузам, не так многочисленны, но они много походят на них своими нравами и образом жизни. В продолжение двух лет моего постоянного странствования по Северо-Восточной Сибири я встретил не более трёх или четырёх шаек ламутов.

К третьему племени принадлежат одни только якуты. Они турецкаго происхождения и преимущественно живут по Лене, от ея верховьев и до самаго Ледовитаго океана. Их происхождение не известно в точности, но говорят, что их язык до такой степени похож на турецкий или на новоосманский, что нисший класс жителей Константинополя мог бы довольно хорошо объясняться с якутом, приехавшим с Лены. Жаль, что, живя в Сибири, я не занялся настолько сравнительной филологией, чтобы составить словарь и грамматику якутскаго языка. Я имел на это прекрасный случай, но тогда я ещё не знал о его близком родстве с турецким и смотрел на него единственно, как на непонятный и трудный язык, свидетельствующий только о деятельном участии якутов в сооружении Вавилонской башни. Большая часть этого племени живёт непосредственно у Полярнаго круга и способна

выносить самую низкую температуру с меньшими страданиями, чем другие уроженцы Сибири. Врангель называет их «железными людьми», и они вполне заслуживают это название.

В Якутске, где живёт их несколько тысяч, термометр в продолжение трёх зимних месяцев показывает средним числом тридцать семь градусов ниже нуля. Такой сильный холод, кажется, нисколько не беспокоит их. Мне случалось видеть при сорокаградусном морозе якутов в одной только рубашке и овчинном полушубке, стоящими спокойно на улице, разговаривающими и смеющимися, как в прекрасный летний день, когда воздух наполнен ароматом цветов! Это самые бережливые и самые промышленные туземцы всей Северной Азии. В Сибири существует такого рода поверье, что если взять якута, раздеть его донага и оставить его среди большой пустынной степи, а потом вернуться на это самое место через год, то найдёшь его живущаго в большом, удобном доме, окруженнаго скирдами хлеба и стогами снега, владеющаго табунами лошадей и стадами и наслаждающагося жизнью, как какой-нибудь патриарх. Они более или менее цивилизовались от сношений с русскими, усвоили русский образ жизни и православную веру. На Лене они возделывают рожь, косят сено, содержат стада рогатаго скота и табуны сибирских лошадей, а питаются преимущественно чёрным хлебом, молоком, маслом и кониной. Они очень жадны. Все искусно владеют топором и только с ним одним отправляются в первобытные леса, срубают деревья, обтёсывают брёвна и доски и сооружают целые дома с оконницами и дверями с панелями. Это единственные туземцы во всей Северо-Восточной Сибири, которые способны на трудную продолжительную работу и охотно занимаются ею.

Эти три великия племени, то есть индийское, китайское и турецко-якутское, заключают в себе всех первобытных жителей Северо-Восточной Сибири, исключая камчадалов, чуванцев и юкагиров. Эти последние так изменились от влияния русских, что трудно сказать теперь, к какому племени они принадлежат. Этнологи скоро избавятся совершенно от труда решать эту задачу вследствие их неминуемаго уничтожения. От чуванцев и юкагиров существуют теперь только немногие остатки, их язык погибнет с настоящим поколением.

Большая часть туземцев, которых мы видели в Анадырске, принадлежали, как я уже сказал, к племени чукчей. Они часто посещали нас большими партиями и очень нас забавляли наивными и детскими замечаниями насчёт американцев, американских

инструментов и вообще удивительных американских вещей, которыми мы им показывали. Я никогда не забуду крайнего изумления, с которым одна шайка смотрела в мою зрительную трубу. Я вынес её в один ясный, морозный день на двор. Тотчас же толпа чукчей и юкагиров собралась вокруг меня посмотреть, что я буду делать. Заметив их любопытство, я передал трубу одному из них и велел ему смотреть через неё на другого туземца, который случайно стоял на равнине в двухстах аршинах от нас. Выражение смущения и полунедоверчиваго удивления, появившихся всё более и более на его лице, когда он увидел туземца в нескольких шагах от себя, было чрезвычайно смешно. Ему и в голову не пришло, что это был простой оптический обман. Он вообразил, что удивительный снаряд перенёс человека с того места, где он стоял, на несколько аршин от него. Держа трубу одной рукой перед глазами, он протянул другою, чтобы схватить своего одноплеменника. Видя, к своему величайшему удивлению, что это ему не удаётся, он отнял трубу и увидел человека, стоящего также спокойно, как и прежде, в двухстах аршинах от него. Ему пришла тогда мысль, что если он успеет поднести таинственный инструмент к глазам, как можно быстрее, то он застигнет человека в тот самый момент, когда тот будет подходить, поймает его, может быть, на полдороге и узнает секрет его приближения. Поэтому он стал очень медленно подносить трубу к глазам, наблюдая всё время внимательно за человеком, чтобы тот не начал двигаться слишком рано, и, когда стекло было на один дюйм от его глаза, он быстро взглянул в него. Но это оказалось бесполезным. Человек опять стоял прямо перед ним, и он не знал, как тот попал сюда. Может быть, ему удастся поймать его, если он внезапно бросится на него? Он попытался и на эту уловку, но опять неудачно, а остальные туземцы смотрели на него удивлённо, не понимая, чего он хочет достигнуть всеми этими странными движениями. Он старался объяснить им с большим волнением, что тот далекий человек внезапно являлся ему в самом близком расстоянии и что, несмотря на это, он не мог схватить его. Товарищи начали, конечно, уверять с негодованием, что человек тот вовсе не двигался, и на эту тему начался между ними большой спор.

Туземец, утверждавший, что человек на равнине приближался к нему, обратился ко мне за поддержкой, но в порыве смеха я не мог отвечать, и он побежал, наконец, к этому человеку, чтобы узнать, двигался тот или нет и как он чувствовал себя после такого мгновеннаго перемещения. Мы, свыкнувшиеся с открытиями науки,

едва можем понять то странное впечатление, которое она производят на дикаря. Но если бы высший вид существа явился бы к нам с Юпитера и показал бы нам таинственный снаряд, дающий человеку возможность быть в двух различных местах в одно и то же время, мы поняли бы ощущение бедного чукчи, смотрящего в зрительную трубу.

Вскоре после того мне случилось провести ночь на большой равнине близ Анадырска с несколькими туземцами. Я получил в это время записку от Додда с нарочным и читал её у костра. На каком-то смешном месте я громко расхохотался. Тогда туземцы толкнули один другого локтем и указывали на меня, как бы говоря: «Посмотрите на этого сумасшедшего американца! Что с ним делается?» Наконец один почтенный седовласый старец спросил меня, о чём я смеюсь. «Вот над этим», — сказал я, указывая на бумажку. Старик задумался, поговорил что-то со своими товарищами, которые тоже, казалось, погрузились в размышление, но ни один, по-видимому, не мог объяснить себе причины моего непостижимаго смеха. Через несколько минут старик поднял полуобгорелую палку, лежащую у огня и сказал:

— Представь себе, что я стану смотреть на эту палку и потом расхохочусь. Что бы ты тогда об этом подумал?

— Что? — ответил я добродушно. — Я подумал бы, что ты сошёл с ума.

— Так, — возразил он с важным самодовольством, — то же самое я думал о тебе.

Он, кажется, был очень доволен, что наши мнения о таком предмете совпадали одно с другим. Смотреть на палку и смеяться и смотреть на бумагу и смеяться — казалось ему одинаково неразумным.

Язык чукчей и коряков никогда не имел письменных знаков. Насколько мне известно, эти племена никогда не пробовали даже выражать свои мысли какими-нибудь знаками или изображениями. Написанная мысль для многих из них — понятие совершенно непостижимое. Можно себе представить поэтому, с каким удивлением и любопытством они разглядывают иллюстрированные газеты, завозимые к ним случайно посещающими эти берега матросами китоловных судов. На некоторых из этих картин они узнают изображение знакомых им предметов, но большая часть иллюстрации была для них совершенно непонятна, как иероглифы ацтеков.

Я помню, один коряк принёс мне старую изорванную модную картинку из «Иллюстрированной газеты Франка Лесли», на которой

были изображены три или четыре дамы во весь рост в кринолинах самых громадных размеров, как это было тогда в моде. Бедный коряк рассказывал мне, как он всякий раз удивлялся, что могут изображать эти странные предметы, а я, как американец, может быть, буду в состоянии объяснить ему их. Очевидно, он не подозревал, что картинка изображала человеческия существа. Я сказал ему, что эти любопытные предметы, как он их называл, были американския женщины. Он вскрикнул от удивления и спросил:

— Неужели у вас все женщины такія толстыя внизу, как эти?

Ввиду такого строгаго суждения коряка относительно костюма наших барынь я не решился сказать ему, что толщина эта была искусственная, но ответил печально, что оне все такія. Тогда он посмотрел с удивлением на мои ноги, точно хотел провести сравнение между американцем и американкой, но это ему не удалось, и он пришёл к мудрому заключению, что американцы должны принадлежать к двум различным расам.

Вообще, коряки плохо понимают иллюстрации и часто придают имеющимся на них изображениям превратное значение.

Глава 30

Дальнейшия путешествия. Приезд наших товарищей. Путешествие к Охотскому морю

<...> Время тянулось для нас очень медленно. Прошёл февраль, миновал и март, а мы всё ещё были в Анадырске, так как не получили никаких известий ни от майора, ни от наших пропавших товарищей — Арнольда и Макри. Пятьдесят семь дней прошло с тех пор, как они оставили своё жилище у низовьев Анадыри, и мы начали уже опасаться, что никогда их более не увидим. Погибли ли они от голода или же от морозов, были ли они убиты чукчами — мы ничего об этом не знали, но их долгое отсутствие было ясным доказательством, что с ними случилось какое-нибудь несчастье.

Я был крайне недоволен дорогой, по которой мы ехали из Шестакова в Анадырск. Это была бесплодная местность, по которой нельзя было перевозить тяжёлых телеграфных столбов. Она представляла обширныя снежныя степи, по которым протекало очень мало лесистых рек. Поэтому я отправился 4 марта из Анадырска с пятью санями, желая попытаться найти лучшее сообщение между Анадырью и верховьями Пенжины. Послѣ трёх дней пути мы встретили по дороге в Пенжинск посланнаго из Гижигинска с письмом

от майора из Охотска от 19 января. Тут же были письма от полковника Бёлькли, извещавшего нас о высадке партии под начальством лейтенанта Макри у Анадырской реки, и карта, показывающая точное место их стоянки. Майор писал следующее: «В случае чего, Боже избави, Макри со своей партией не прибыл ещё в Анадырск, то вы должны немедленно по получении этих писем сделать всё возможное, чтобы спасти их от слишком долгой зимовки у устья Анадыри, куда они были высажены в сентябре. Мне было сказано, что Макри только в таком случае будет послан к Берингову проливу, если будет несомненная возможность достигнуть Анадырска на лодках. Признаюсь, мне не нравятся такие неожиданности, как настоящая, приготовленная мне полковником Бёлькли. Теперь наша обязанность — сделать всё возможное, чтобы вывести их из критического положения. Вы должны достать, где бы то ни было, саней, наполнить их кормом для собак и съестными припасами и немедленно отправиться отыскивать лагерь Макри».

Все эти распоряжения я уже предвидел и исполнил, а партия Макри, или, по крайней мере, что осталось от нея, жила уже в Анадырске. Когда майор писал это письмо, он не предполагал, что мы с Доддом услышим о высадке этой партии от кочующих чукчей и догадаемся отправиться за ней до получения приказаний. Он настоятельно запретил нам всякую попытку исследовать Анадырь до следующего времени года и не ожидал, что мы поедем дальше последнего поселения. Я поспешно написал записку Додду на обледенелом полозе моих опрокинутых саней, отморозив при этой операции два пальца, и отправил посланного в Анадырск с письмами.

В полученном мною пакете заключались также и письма ко мне от капитана Скаммона, начальника флота компании, и от моего приятеля, натуралиста Долля, который возвратился с кораблями в Сан-Франциско и написал мне во время остановки на несколько дней в Петропавловске. Он умолял меня во имя интересов науки, чтобы ни один клоп или другое живое существо, какого бы то ни было вида, не ускользнуло от моей бдительности, но, читая вечером его письмо у костра, я подумал с улыбкой, что снежные степи Сибири и тридцать или сорок градусов мороза не особенно благоприятствовали для распространения клопов и для стараний собрать и сохранить их.

Считаю лишним задерживать читателя подробным отчётом об исследованиях, произведённых мною и лейтенантом Робинсоном в поисках более удобного пути для нашей линии между Пенжиной

и Анадырском. Мы нашли, что речная система Анадыри отделяется от Пенжинской только невысоким, горным кряжем, через который легко пройти и что, следуя по притокам этой последней и спустясь потом по притоку Анадыри, мы получим почти непрерывный водный путь между Охотским морем и Беринговым проливом. По берегам этих рек лес растёт в изобилии, а где его и нет, то нетрудно будет сплавить бревна в плотах. Путь этот представлял все удобства, которых можно было только пожелать. Таким образом, считая, что наши труды по исследованию были вполне вознаграждены такими результатами, мы вернулись обратно в Анадырск 13 марта.

Первый человек, встретившийся нам в городе, обрадовал нас известием о прибытии Макри и Арнольда, и через пять минут мы уже дружески жали им руки, поздравляя их с благополучным приездом и осыпая вопросами об их путешествиях и приключениях и о причинах их долгого отсутствия. Наши приятели более двух месяцев жили с кочующими чукчами и медленно подвигались окольными путями к Анадырску. С ними вообще обращались хорошо, но шайка, с которой они путешествовали, не спешила в поселение, а странствовала с ними, делая по десяти и двенадцати миль в день по обширным степям, лежащим на юг от Анадыри. Им приходилось переносить большие лишения, питаться в продолжение нескольких недель одними оленьими внутренностями и салом. Большую часть двух долгих месяцев они проводили в чукотских пологах и уже отчаялись достигнуть когда-нибудь русского поселения или увидеть цивилизованное существо, но надежда и мужество поддерживали их всё время, и они, наконец, добрались до Анадырска здоровы и невредимы. Весь их багаж, когда они въехали в поселение, состоял из четверти бутылки виски, завернутой в американский флаг! Как только мы все соединились, то тотчас же повесили флаг на шест над нашим маленьким бревенчатым домиком, сделали пунш из того виски, который проехал половину Северо-Восточной Сибири, и выпили за здоровье личностей, проживших два месяца с кочующими чукчами в самых диких, неведомых странах земного шара.

Так как все исследования относительно нашего предприятия были окончены, то мы стали готовиться к возвращению в Гижигинск. Майор приказал мне встретить его там с Макри, Арнольдом, Робинсоном и Доддом не позже 1 апреля, а март уже быстро приближался к концу. Наконец мы уложили наши вещи и 20 марта, простившись с добродушными гостеприимными обитателями Анадырска, отправились длинной вереницей саней к берегу Охотского моря, чтобы опять с новым мужеством переносить все лишения

и опасности, странствуя по необозримым снежным пустыням Восточной Сибири. Наше путешествие не отличалось разнообразием и было бедно приключениями. Поздно вечером 2 апреля мы оставили за собою бесплодные пенжинские степи и подъехали к маленькой юрте с плоской кровлей в Мальмовке, отстоящей всего на двадцать пять вёрст от Гижигинска. Здесь мы нашли людей и сани с собаками, высланные нам навстречу майором. Оставив наши тяжело нагруженные сани и усталых собак, мы сели на лёгкие нарты гижигинских казаков и при свете яркого северного сияния помчались к поселению.

Час спустя раздался далёкий лай собак и через несколько минут мы с шумом въехали в тихое поселение и остановились перед домом русского купца Воробьёва, где уже жили в наш последний приезд и где мы ожидали найти майора. Я спрыгнул с саней и, отыскивая ощупью дорогу, вошёл в тёплую, тёмную комнату, закричав:

— Вставайте!

Я хотел разбудить спящих хозяев дома.

Вдруг кто-то вскочил с пола у моих ног и, схватив меня за руку, воскликнул поразительно знакомым голосом:

— Кеннан, вы ли это?

Удивлённый, и не совсем доверяя своему слуху, я мог только ответить:

— Бёш, вы ли это?

Когда какой-то заспанный мальчик вошёл со свечой, то с изумлением увидел, как человек, одетый в толстые меховые одежды, обнимал другого, бывшего в одной только полотняной рубашке. Какое веселье было в этом бревенчатом домике, когда майор, Бёш, Макри, Арнольд, Робинсон, Додд и я собрались все вокруг кипящего самовара на сосновом столе посреди комнаты и разсуждали о приключениях, удачах и невзгодах нашей первой зимовки в Сибири! Одни из нас приехали от льдов дальней Камчатки, другие — от границ Китая, некоторые — от Берингова пролива, и все мы встретились в этот вечер в Гижигинске и поздравляли друг друга с удачным исследованием всего пути предполагаемого российско-американского телеграфа, от Анадырской губы до Амура. Все члены партии, собравшейся теперь здесь, в продолжение семи месяцев исследовали в общей сложности около десяти тысяч миль.

Вкратце я сообщу читателям о результатах наших зимних работ по исследованию. Бёш и Мегуд, оставив майора и меня в Петропавловске, отправились в русский город Николаев у устья Амура

и тотчас же принялись за исследование западного берега Охотского моря. Они прошли с кочующими тунгузами по густо поросшей лесом стране между Николаевском и устьем Амура, проехав верхом на оленях через горы Станового хребта южнее Охотска, и, наконец, 22 февраля встретили майора в этом последнем местечке. Майор совершенно один исследовал весь северный берег Охотского моря и поспешил в Якутск, лежащий в шестистах верстах западнее Охотска, чтобы там нанять необходимых работников и лошадей для нашего предприятия. Он нашёл возможным нанять тысячу якутских работников в поселениях по течению Лены за шестьдесят долларов в год каждому человеку и купить сибирских лошадей, в количестве, нужном для наших работ, за весьма умеренные цены. Он начертил дорогу между Гижигинском и Охотском и вообще имел надзор за действиями всех партий.

Макри и Арнольд исследовали почти всю местность на юг от Анадыри и по низовьям Миака и приобрели важные сведения о малоизвестном племени кочующих чукчей. Додд, Робинсон и я исследовали два пути от Гижигинска к Анадырску и нашли систему лесистых рек, соединяющую Охотское море с Тихим океаном у Берингова пролива. Мы убедились, что все туземцы мирно и хорошо расположены и многие из них были уже наняты для рубки столбов. Местность, хотя и неблагоприятная для сооружения телеграфа, не представляла, впрочем, таких препятствий, которых нельзя было бы побороть энергией и устойчивостью.

Разсмотрев обстоятельно наши зимние работы, мы остались ими довольны и нашли, что предприятие, в котором мы были заинтересованы, хотя и представляло некоторые затруднения, но, во всяком случае, подавало большие надежды на полный успех. Повторяю, что мы все остались довольны друг другом, так как каждый из нас не сидел сложа руки, а работал настолько, насколько это позволяли его силы.

Глава 31

Общественная жизнь в Гижигинске. Экспедиция майора Абазы. Внезапный переход от зимы к лету. Народные нравы и обычаи

В Сибири в апреле и мае стоит сравнительно тёплая погода и, кроме того, ещё длинные дни, что очень удобно как для путешествий, так и для работ на чистом воздухе. Прибытие в Гижигинск кораблей компании нельзя было ожидать ранее начала июня. Ввиду это майор Абаза решил употребить остающееся время

с возможно большею пользою. Отдохнув немного от своей прежней поездки, он снова отправился с Бёшем, Макри и русским исправником в Анадырск с целью нанять там пятьдесят или шестьдесят туземных рабочих и немедленно приступить к постройке станционных домов и к рубке и распределению столбов вдоль Анадыри. Мои собственные старания с этою целью по лени анадырских обывателей не имели никакого успеха. Оставалась одна надежда достигнуть чего-нибудь посредством влияния и содействия представителя гражданской власти.

В начале мая майор Абаза возвратился по последнему зимнему пути. Его поездка была вполне успешна. Бёш был назначен начальником северного участка от Пенжины до Берингова пролива и оставлен на всё лето в Анадырске вместе с Макри, Гардером и Смитом. Тотчас по вскрытии реки было приказано этой партии спуститься на лодках к её устью и ждать там прибытия из Сан-Франциско одного из кораблей компании с подкреплением и новыми запасами. В то же самое время пятьдесят туземных рабочих, нанятых в Анадырске и других поселениях, были предоставлены в её распоряжение. Мы надеялись, что ко времени, когда вода очистится ото льда, они уже успеют заготовить шесть или восемь станционных домов и нарубить несколько тысяч столбов для сплавки их в плотах и для распределения между Анадырском и берегом Тихого океана. Таким образом, приведя в исполнение всё, что было возможно при ограниченных средствах, находящихся в распоряжении майора Абазы, он возвратился в Гижигинск ожидать прибытия из Америки обещанных кораблей с людьми, материалами и пособиями для продолжения работ.

Теперь уже миновало время путешествий на собаках, потому что снег почти стаял, но так как в этой стране не существовало иного способа внутреннего пути сообщения, то наши работы должны были прекратиться, точно так же, как и всякая связь между партией анадырской и охотской до прибытия наших кораблей. Поэтому мы наняли небольшой домик над долиною реки Гижиги, меблировали его, по возможности, удобно несколькими простыми деревянными столами и стульями, увесили его бревенчатые стены географическими и морскими картами, разложили в одном углу нашу скудную библиотеку, состоящую из двух книг — Шекспира и Нового Завета. Устроившись таким образом, мы приготовились к целому месяцу, по крайней мере, сладкой лени и праздности.

Когда наступил июнь, то снег быстро исчезал под влиянием тёплого продолжительного дня. Лёд на реке по всем признакам

готовился уже тронуться, местами голая земля показывалась на солнечной стороне холмов, и всё предвещало приближение короткого, но жаркого полярного лета. <...>

Незнакомый с полярным летом путешественник, привыкший думать о Сибири, как о земле вечных льдов и снегов, конечно, будет крайне удивлён, что с появлением тёплых дней животная и растительная жизнь развиваются там с неимоверною быстротою в течение июня месяца. Лето очень коротко и продолжается всего несколько недель. Часто случается, что в начале июня в окрестностях Гижигинска можно ещё ездить на санях, а в конце этого месяца деревья уже все покрыты листьями. Скороспелки, лабрадорский чай цветут всюду на возвышенных равнинах и речных берегах, термометр в полдень достигает шестидесяти градусов по Реомюру в тени.

В Сибири нет весны в настоящем смысле этого слова. Исчезновение снега и появление растительности почти одновременны. И хотя тундры, или степи, поросшие мхом, продолжают ещё содержать в себе некоторое время воду, подобно насыщенной губке, но оне также покрываются цветами и распускающимися кустами брусники. Нигде не видно и следа долгой, холодной зимы, которая так недавно ещё властвовала над всей природой. Менее чем через месяц после исчезновения снега в 1866 г., я набрал на высокой равнине у устья реки Гижиги более шестнадцати видов цветов на пространстве в две с половиною десятины.

Животная жизнь здесь одинаково быстро развивается. Много ранее, чем береговые заливы и бухты очистятся ото льда, перелётные птицы уже начинают появляться с моря в огромном количестве. Безчисленные виды уток, гусей и лебедей — многие из них неизвестные орнитологам — кишат на всякой маленькой луже в долине и на низменностях. Чайки, ястребы и орлы постоянно вьются с резкими криками у устья многочисленных рек, скалистые же крутые берега моря буквально усеяны миллионами птиц с красным клювом, называемых обыкновенно ипатками, или морскими попугаями, которые вьют себе гнёзда в расщелинах и на выступах самых недоступных утёсов. Эти пернатые при первом выстреле из пистолета поднимаются тучами, которыя почти омрачают воздух. Кроме этих хищных и водяных птиц здесь находится также много других, не живущих стаями, и потому на них обращают менее внимания. Между ними самые многочисленные обыкновенно: домашняя ласточка, ворон, сорока, зуёк, дрозд и тетерев. Из певчих птиц, насколько мне известно, только одна встре-

чается в этой части Сибири, а именно, вид маленького воробья, обитающего на самых сухих и травянистых равнинах, близ русских поселений.

Мы временно устроили себе главную квартиру в Гижигинске. Это небольшое поселение состоит из пятидесяти или шестидесяти простых бревенчатых домов, расположенных на левом берегу реки Гижиги, милях в десяти от залива. В то время это было одно из самых важных и цветущих поселений на берегу Охотского моря. В его руках была почти вся торговля от Анадыри до Охотска. Оно служило пребыванием для местного начальника и главной квартирой для четырёх или пяти русских купцов. Туда ежегодно причаливал пароход, принадлежащий правительству, а также несколько купеческих кораблей богатых торговых домов Америки. Население его состояло преимущественно из сибирских казаков и потомков поселенцев, высланных из России и получивших свободу в награду за принудительное изгнание. Подобно всем другим оседлым жителям Сибири и Камчатки, их средства к жизни зависят, главным образом, от рыбного промысла. Но так как местность эта сверх того изобилует дичью, а климат и почва Гижигинской долины допускают возделыванье простейших овощей, то положение их, без сомнения, нисколько не хуже, чем оно было бы в России. Они совершенно свободны, могут безпрепятственно располагать своим временем и трудами. Зимой они нанимаются с собаками в извоз к русским купцам и зарабатывают достаточно денег, чтобы не лишать себя такой простой роскоши, как чай, сахар и табак в продолжение всего года. Подобно всем русским, переселенцы эти очень гостеприимны, добросердечны и услужливы, они много способствовали тому, что наша жизнь в долине зимние месяцы не казалась нам особенно скучною и монотонною, как это неминуемо должно было случиться в такой пустынной стране.

Гижигинск редко посещается американцами, и наше присутствие там несколько оживило всё общество. Лишь только обитатели поселения убедились на опыте, что эти важные американцы не считают унижением своего достоинства сообщаться с «простым народом», как засыпали нас приглашениями на чай и на танцевальные вечера. Готовые делать всё, что угодно, чтобы оживить наше однообразное существование, мы решились принимать все подобныя приглашения, и трудно было бы сосчитать, на скольких танцевальных вечерах были мы с Арнольдом во время отсутствия майора и исправника из Анадырска. Нам не нужно было

спрашивать у Егора, когда будет следующий вечер, надобно было только спросить: «Где танцуют сегодня?» — потому что мы могли быть уверены, что где-нибудь будет непременно собрание, и желали только узнать, довольно ли высок потолок в том доме, для безопасности наших голов.

Мысль пригласить людей на танцы в комнатку, недостаточно высокую для того, чтобы в ней мог поместиться человек среднего роста, покажется, может быть, нелепою. Но увлекающиеся любители удовольствий в Гижигинске далеко не такого мнения. Вечер за вечером вы увидали бы их пляшущими в комнате в семь шагов в ширину и девять в длину под музыку старой скрипки и двухструнной гитары. Танцоры отдавляли друг другу ноги и ударялись головами о потолок с самым благодушным спокойствием, какое только можно себе представить. На этих танцевальных вечерах нас угощали ягодами, чёрным хлебом и чаем до тех пор, пока мы были более не в состоянии ни есть, ни танцевать. Иногда, впрочем, сибирское гостеприимство облекается в такие формы, которые, говоря откровенно, не совсем приятны. Так, однажды, Додд и я, мы были приглашены на вечер в дом одного казака, и, по обыкновению в таких случаях, хозяин поставил перед нами целый поднос с чёрным хлебом, солью, сырой мёрзлой рыбой и маленькую бутылку, до половины наполненную какой-то жидкостью, которую он называл водкой.

Зная, что во всем поселении не было спиртных напитков, кроме находящихся у нас, Додд осведомился, откуда он достал её. Он отвечал с видимым смущением, что купил её на купеческом корабле ещё в прошлом году и сохранил для особенных случаев. Я не поверил, что бы какой-нибудь казак в Северо-Восточной Азии был в состоянии сохранить бутылку водки такое долгое время, и, видя его смущение, мы предпочли отказаться от напитка и не расспрашивать более. Может быть, это и точно была водка, но довольно подозрительного свойства. Возвратясь домой, я позвал нашего мальчика и спросил, не знает ли он чего-нибудь о напитке казака, как он добыл его и откуда водка могла явиться в такое время года, когда её не было в продаже ни у одного русского купца. Мальчик колебался с минуту, но после настоятельных вопросов объяснил нам, наконец, тайну. Оказалось, что водка была наша. Когда жители селения приходили к нам, что случалось очень часто, особенно в праздники, мы обыкновенно подносили им по стаканчику. Воспользовавшись этим, наш друг казак запасался всегда маленькой бутылочкой, вешал её на шнурке вокруг шеи, прятал

под шубой и являлся к нам под предлогом поздравить с каким-нибудь русским праздником. Понятно, мы вознаграждали его внимание водкой. Тогда казак проглатывал, сколько мог, жгучаго напитка, а потом, наполнив им рот, делал страшную гримасу, закрывал лицо рукой, как будто водка слишком крепка и поспешно бежал в кухню за водой. Так как за ним никто не наблюдал, то он вынимал свою бутылочку, выплевывал в неё последний глоток водки и возвращался через несколько минут поблагодарить за угощение. Эту хитрость он приводит в исполнение довольно долгое время и, наконец, набрал около полуштофа. Тогда он был настолько дерзок, что поставил перед нами эту выплунутую водку в какой-то старой бутылке и уверял, что сохранил её от прошлого года для необыкновенных случаев. Может ли человеческая наглость итти далее?

Тут кстати упомяну ещё об одном происшествии, которое случилось в первый месяц нашего пребывания в Гижигинске. Оно указывает на другую сторону характера народа, а именно — на его крайнее суеверие. Как-то утром я сидел один дома и пил чай, как вдруг к нам вошёл русский казак по фамилии Холмогоров. Он, казалось, был крайне чем-то встревожен и, поклонившись мне и пожелав доброго утра, тотчас же обратился к нашему казаку Вьюшину и начал ему рассказывать вполголоса какое-то происшествие, только что случившееся, которое их обоих, кажется, очень интересовало. Благодаря моему плохому знанию языка и разговору вполголоса, я не понял было в чем дело, но оно кончилось серьёзной просьбой Холмогорова, чтобы Вьюшин дал ему что-то вроде, как мне показалось, пелеринки или шарфа.

Вьюшин тотчас же отправился в маленькой чуланчик в углу комнаты, куда он обыкновенно прятал принадлежащая ему вещи, вытащил большой мешок из тюленьей кожи и начал в нём отыскивать требуемую вещь. Вытащив три или четыре пары меховых сапог, кусок сала, несколько чулок из собачьей шкуры, топор и связку беличьих мехов, он вынул, наконец, и торжественно разстелил половинку старой, грязной изъеденной молью шерстяной перелинки и, подавая её Холмогорову, начал снова искать недостающую половинку. Эта последняя оказалась ещё в худшем виде, чем первая, будто они были найдены в мешке какого-нибудь несчастного тряпичника, вытащившего их из грязной канавы. Холмогоров связал обе половинки, завернул их бережно в старую газету, поблагодарил Вьюшина за хлопоты и, поклонившись мне снова, с облегчённым видом вышел из комнаты. Недоумевая, зачем ему

понадобилась эта изъеденная молью, грязная, разорванная вещь, я обратился к Вьюшину за разъяснением загадки, которая, признаюсь, очень меня занимала и которую я никак не мог разгадать сам.

— Зачем ему понадобилась эта перелинка? — любопытствовал я. — Ведь она никуда не годится, её давно следовало бы бросить.

— Я знаю, — отвечал Вьюшин, — что это негодное старьё, но другой нет в городе, а у его дочери «анадырская боль».

— «Анадырская боль?» — повторил я с удивлением, в первый раз услыша о такой болезни. — Чем же поможет старая перелинка против мучений?

— Видите ли, его дочь попросила перелинку, а так как у нея «анадырская боль», то нужно достать для нея эту вещь непременно, всё равно, старую или новую.

Такое странное объяснение еще более удивило меня, и я стал подробнее спрашивать Вьюшина об этой необыкновенной болезни и о том, каким образом старая, изъеденная молью перелинка может исцелить её. Вот, что мне довелось узнать об этой странной болезни по собранным мною сведениям.

«Анадырская боль» так называлась потому, что впервые появилась в Анадырске. Это особый род болезни, очень похожий на конвульсии новейших спиритов. Она долго господствовала в Северо-Восточной Азии и не уступала никаким обыкновенным способам лечения. Личности, подвергавшиеся ей, преимущественно женщины, утрачивали сознание всего их окружающего, приобретали внезапную способность говорить на языках, никогда ещё неслыханных ими, особенно на якутском, кроме того, эти женщины во время приключения с ними упомянутой болезни получали временный дар ясновидения, вследствие чего описывали с точностью совершенно незнакомые им предметы. В таком положении они часто требуют каких-нибудь вещи, вид и местоположение которых объясняют, и пока вы не принесёте им такой вещи, с ними происходят сильные конвульсии, они поют песни на якутском языке, испускают странные крики и вообще приходят в положительное безумие. Ничто не в силах успокоить их, пока им не дадут желаемой вещи. Таким образом, дочь Холмогорова настоятельно потребовала шерстяную перелинку, а так как у бедного казака ничего подобного в доме не оказалось, то он должен был искать этой перелинки по всему селению.

Вот все сведения, которые я мог получить от Вьюшина. Ему самому никогда не случалось видеть личностей, одержимых такими припадками, он слышал об этой болезни только от других,

но сказал мне, что Подерин, начальник гижигинских казаков, может, без сомнения, сообщить мне все подробности об этой болезни, так как этим страдала также и его дочь. Я был удивлён встретить между необразованными крестьянами болезнь, симптомы которой так походили на проявления новейшего спиритизма, и решился разузнать как можно подробнее об этом. Лишь только майор возвратился, я уговорил его тотчас же послать за Подериным.

Начальник казаков, простой, честный старик, котораго едва ли было можно подозревать в умышленном обмане, подтвердил всё, сказанное Вьюшиным, и прибавил ещё к этому некоторыя подробности. Он утверждал, что часто слышал, как его дочь говорила на якутском языке во время своих припадков и рассказывала происшествия, случившияся на расстоянии нескольких сот миль. Майор спросил, почему же он знал, что дочь его говорила именно по-якутски. Он отвечал, что наверное не знал этого, но что язык этот не был ни русский, ни корякский, ни какой-либо иной из известных ему туземных наречий, но он своими звуками походил на якутский. Я осведомился, как же поступают в таких случаях, если больная требует чего-нибудь, что невозможно достать. Подерин возразил, что никогда не слышал о таких случайностях, и что если требуемая вещь была не совсем обыкновенна, то девушка всегда объясняла, где её можно было найти, описывая часто с величайшими подробностями предметы, которые, насколько ему известно, она никогда не видала.

Однажды дочь его попросила собаку с особенными пятнами, которую он обыкновенно запрягал в свои сани. Собаку привели в комнату, и девушка тотчас же успокоилась. Но с этого времени собака сама сделалась так беспокойна и дика, что ею почти невозможно стало управлять и волей-неволей пришлось её убить.

— И вы верите таким глупостям, такой бессмыслице? — спросил его майор с нескрываемым нетерпением.

Подерин помолчал несколько времени, посмотрел как-то странно на майора и затем ответил:

— Я верю в Бога и в Спасителя Нашего Иисуса Христа, — и набожно перекрестился.

— Всё это хорошо, и в этом вы правы, — возразил майор, но наши религиозныя убеждения не имеют никакого отношения к анадырской боли. Неужели вы верите, что эти женщины действительно говорят на якутском языке, котораго никогда не слышали, и описывают вещи, которых никогда не видали и о которых не имеют ни малейшаго представления?

Подерин выразительно пожал плечами и возразил, что верит тому, что видит. Тогда он начал нам рассказывать ещё более невероятные подробности этого недуга и таинственными силами, которыми он развивает в заражённых им лицах, подтверждая свои рассказы примером собственной дочери. Он, по-видимому, твёрдо верил в действительность болезни, но не мог объяснить, какому влиянию приписывал ясновидение и способность говорить на незнакомых языках, что принадлежало к самым её симптомам.

В тот же самый день нам пришлось быть у исправника. В разговоре с ним я, между прочим, упомянул об «анадырской боли» и рассказал некоторые случаи, слышанные от Подерина. Исправник — большой скептик во всём, а в этом в особенности — сказал, что часто слышал о болезни и что его жена твёрдо в неё верила, но, по его собственному мнению, всё это был чистый вздор, не стоящий никакого внимания. Подобных же людей, которые занимаются распространением таких нелепостей, следует подвергнуть телесному наказанию. Русское крестьянство, продолжал он, очень суеверно и готово допустить всё, а «анадырская боль» была частью собственное заблуждение, частью умышленный обман, пускаемый в ход женщинами, чтобы повлиять на своих родственников для личных выгод.

Женщина, желающая новую шляпку и не рассчитывающая получить её обыкновенным способом, находит, как последнее средство, самым удобным впасть в конвульсивный припадок и требовать шляпку, как необходимую потребность лечения. Если супруг продолжает оставаться неумолимым, то несколько искусных конвульсий и песни две, спетые на так называемом «якутском языке», обыкновенно бывают достаточными для смягчения его жестокосердия. При этом он рассказал о русском купце, жена которого была подвергнута «анадырской боли». Этому купцу пришлось как-то зимою ехать из Гижигинска в Янск за триста вёрст, чтобы достать там шёлковое платье, которое требовала его жена и которое нигде больше нельзя было найти! Конечно, женщины не всегда требуют таких вещей, в которых они могут нуждаться в здоровом состоянии. Иначе они вскоре возбудили бы подозрение в своих обманчивых супругах, отцах и братьях и заставили бы их серьёзнее отнестись к такому таинственному недугу. Но женщины и здесь перехитрили мужчин и, чтобы не навлечь на себя подозрений отцов, мужей и братьев, часто спрашивают такие вещи, которые вовсе не относятся к женским костюмам и, по-видимому, вовсе им и не нужны. Так, они требуют собак, сани, топоры и другие

подобныя ненужныя им вещи, думая этим убедить своих доверчивых мужей, что оне в своих желаньях не имеют никакой предвзвзтой цели и что это не более, как болезненный каприз.

Такое рациональное истолкование дал нам исправник о любопытном явлении, известном под именем «анадырской боли». Подобное объяснение, конечно, выставляло женскую хитрость и мужскую легковёрность в неблагородном свете, но я должен был сознаться, что объяснение было вполне разумно и давало удовлетворительный ответ на такое странное явление, как эта своеобразная болезнь. <...>

Разсказ исправника повлиял на Додда самым необыкновенным образом. Он объявил, что чувствует начальные симптомы «анадырской боли» и вполне убеждён, что подвергнется этой болезни. Поэтому он просил майора не удивляться, если когда-нибудь тот, возвратясь домой, найдёт его, Додда, в страшных конвульсиях, поющего «Jankee Doodle» на якутском языке и требующаго своего жалованья. Майор уверил его, что в случае такой крайности он принуждён будет прибегнуть к средству исправника, то есть к двадцати ударам по обнажённой спине и посоветовал ему отложить свои конвульсии до тех пор, пока казначейство сибирскаго отделения найдёт возможным удовлетворить его требованиям.

В начале июня наша жизнь в Гижигинске была большим вознаграждением за испытания предшествующих месяцев. Погода стояла тёплая и ясная, холмы и долины зеленели роскошной растительностью, день почти не перемежался, и нам нечего было больше делать, как только ходить за дичью, спускаться иногда на лодке к устью реки посмотреть, не пришёл ли корабль, и придумывать всевозможным развлечения, чтобы как-нибудь убить время.

Но лучшей частью суток были ночи. Постоянный дневной свет казался нам ещё более странным, чем почти непрерывный мрак. Мы никогда не могли точно решить, когда кончался один день и начинался другой или когда было пора ложиться спать. Как-то смешно казалось готовить постель, пока солнце ещё не село, а если мы вздумали бы ждать его захождения, то не успели бы и уснуть, как оно снова взошло бы, и тогда опять было бы странно лежать в постели.

Наконец мы положили предел нашему недоумению, заказав плотныя деревянные ставни для всех окон и зажигая в комнате свечи. Так нам удалось убедить свои недоверчивыя чувства, что была ночь, хотя солнце на дворе сияло с полуденным блеском. Когда мы просыпались, то являлось другое недоумение. Легли ли

мы спать сегодня? Или это было вчера? И какое было теперь время? Вчера, сегодня и завтра сливалось воедино, и нам было почти невозможно отличить их одно от другого. Я часто ошибался, ведя свой дневник, и зачастую разделял одне сутки надвое.

Когда Гижигинская губа очистилась ото льда, так что можно было ожидать прихода судов, майор Абаза приказал нескольким казакам постоянно находиться у устья реки, день и ночь, чтобы тотчас уведомить нас о появлении паруса.

Торговый бриг «Hallie Jackson», принадлежащий В. Б. Бордмэну из Бостона, вошёл в залив 18 июля и во время прилива вбежал в устье реки, чтобы выгрузить свой товар. Этот корабль привёз нам первую весть о внешнем мире в эти одиннадцать месяцев, и его прибытие мы приветствовали с большим восторгом. Половина населения выбежала к устью реки, лишь только узнала о прибытии корабля. Место выгрузки было в продолжение нескольких дней местом самой возбуждённой деятельности. «Джэксон» не мог нам дать других сведений о кораблях нашего общества, кроме того, что во время его отплытия в марте из Сан-Франциско их деятельно нагружали и снаряжали к отплытию. Он привёз, впрочем, с собою все вещи, оставленные нами в Петропавловске, также как и большой груз чаю, сахара, табаку и других предметов для торговли с Сибирью.

Мы убедились вследствие опыта, что платить туземцам удобно только в Охотске, Гижигинске и Анадырске, вообще же, выгоднее расплачиваться чаем, сахаром и табаком, так как эти предметы потребляются всюду и цена на них в зимние месяцы стоит чрезвычайно высокая. Работник или извозчик, просящий деньгами двадцать рублей за месяц труда, оставался совершенно доволен, если мы ему давали восемь фунтов чаю и десять фунтов сахару, что стоило не более десяти рублей, таким образом, у нас оставалась половина суммы. Ввиду этого факта майор Абаза решил раздавать как можно меньше деньгами, а уплачивать за труды товаром по существующим ценам. Поэтому он купил на «Джэксоне» десять тысяч фунтов чая и пятнадцать или двадцать тысяч фунтов сахара. Всё это он положил в казённые магазины, чтобы этим товаром уплачивать на будущую зиму за товар вместо денег.

«Джэксон» выгрузил весь товар, который должен был оставить в Гижигинске, и только что прилив стал довольно высок, и судно могло перейти бар у устья реки, как оно подняло паруса и отправилось в Петропавловск, оставив нас снова одних.

Глава 32

Долгое ожидание. Москиты. Прибытие русского корвета

Когда «Джэксон», выгрузив все свои товары, опять вышел в море, мы стали с нетерпением ожидать прибытия наших собственных кораблей и окончания долгого заключения в Гижигинске. Восемь месяцев кочующей бивуачной жизни вселили в нас такую любовь к приключениям и такую потребность возбуждения, что только постоянные странствования могли удовлетворить ей. Лишь только праздность перестала быть новизной для нас, как мы уже начали тяготиться нашим невольным бездействием и жаждали новых трудов и приключений. Мы истощили запас всех гижигинских удовольствий, прочли все газеты, привезённые «Джэксонем», обсудили их содержание до малейших подробностей, исследовали каждый шаг земли в окрестностях города и испробовали всё, что наша изобретательность могла придумать, лишь бы только убить время. Но ничего не помогло. Дни казались бесконечными, ожидаемые с таким нетерпением корабли не являлись, а москиты и комары, не дававшие нам покоя ни днём, ни ночью, положительно, отравляли нашу и без того скучную и однообразную жизнь.

Москит — этот бич северного лета — около 10 июля поднимается из сырого мха низменностей и пронзительно трубит в свою трубу, точно хочет дать знать всему живущему о своём победоносном воскрешении и готовности доставлять музыкальное наслаждение человеку и животному на самых сходных условиях. Через три или четыре дня, когда стоит тихая и тёплая погода, то вся атмосфера буквально наполняется тучами москитов и до 10 августа они преследуют и животных, и человека с кровожадностью, ничем не удерживаемой, — ни усталостью, ни состраданием. Избавление невозможно, так как всякая защита совершенно бесполезна: они преследуют всюду свои несчастные жертвы, их неутомимая настойчивость преодолевает все препятствия, которые ставит на их пути человеческая изобретательность и хитрость. Их не пугает самый густой дым. Устраивайте против них какую угодно защиту, они будут или избегать её, или же брать её приступом. Человеку остаётся одно только средство избавиться от этих ужасных насекомых — это зарыться в землю, куда, понятно, они никак не могут проникнуть.

Напрасно мы носили на головах газовые вуали и укрывались под коленкоровыми пологами. Количество наших крошечных врагов было так велико, что рано или поздно некоторые из них,

наверное, находили незащищённое отверстие и в ту минуту, когда мы воображали себя в полной безопасности, они нападали на нас со свежими неожиданными силами. Москиты вообще не упоминаются в описаниях Сибири, но ни в одной тропической стране я не видал их в таком изобилии, как в Сибири в июне. По их милости большая тундра местами совершенно необитаема, и даже покрытый шерстью олень принужден иногда искать защиты от них в более холодном горном климате. В русских поселениях они мучают собак и скотину до тех пор, пока эта последняя приходит в ярость и отчаянно борется за место в дыму у костра. Даже в Колыме, на берегу Ледовитого океана, москиты безжалостно преследуют туземцев и их домашних животных.

Все жители Гижигинска, за исключением исправника и нескольких русских купцов, в начале июня запирают свои зимняя жилища и переселяются в летняя рыболовныя стоянки на берега рек в ожидании появления сёмги. Соскучившись жить в покинутом селении, Додд, Робинсон, Арнольд и я переселились к устью реки и снова поместились в том же пустом казённом магазине, который уже занимали во время пребывания здесь «Hallie Jackson».

Весь следующий месяц нам пришлось вести крайне однообразную и скучную жизнь, но о ней я не стану много распространяться, так как не желаю злоупотреблять терпением моих благосклонных читателей. Нашу жизнь можно резюмировать в четырёх словах — бездействие, разочарование, москиты и скука, страшная скука. Ждать корабля было нашей единственной обязанностью, воевать с москитами — единственным разнообразием. Но первый не появлялся, а последние не исчезали, и, следовательно, оба занятия оказывались равно невыгодными и неудовлетворительными. Двадцать раз в день мы надевали газовые вуали, завязывали наши платья у кисти рук и у щиколотки и добросовестно взбирались на верхушку высокой скалы, чтобы поджидать появление корабля, — и двадцать же раз возвращались с обманутой надеждой в нашу пустую невесёлую комнату и изливали без ропота свою досаду на страну, на компанию, на корабли и на москитов. Нам невольно казалось, что мы были поглощены великим потоком человеческой деятельности, что наши места на свете были замещены и самое наше существование совершенно забыто.

Нам было обещано от главного инженера, что корабли с людьми, материалами и средствами для немедленного продолжения работ будут в Гижигинске и у устья Анадыри, лишь только берега очистятся ото льда. Но наступил уже август, а они всё не являлись.

Погибли ли они или всё предприятие рушилось — мы ничего не знали. Но когда неделя проходила за неделей, не принося нам никаких известий, мы стали терять всякую надежду и поговаривали уже послать в сибирскую столицу, чтобы по телеграфу дать знать компании о нашем безвыходном и неприятном положении.

Однако из всех нас не унывал один только майор в течение этих томительных месяцев ожидания. Он ни разу не жаловался на скуку и нисколько не сомневался в том, что компания будет настойчиво продолжать начатое дело. Корабли могли запоздать или подвергнутся какому-нибудь несчастью, но он не допускал возможности, чтобы предприятие было совершенно оставлено, и продолжал всё лето делать приготовления к будущей зимней кампании.

Наконец, нам надоело ожидать прибытия кораблей, которые не появлялись и в приход которых мы потеряли всякую надежду. Мне и Додду наскучило караулить корабли, и мы решили с ним возвратиться обратно в поселенье, оставив Арнольда и Робинсона одних на часах у устья реки ожидать прибытия судов.

Как-то в половине августа я занялся после полудня черчением карт для наглядного изображения наших исследований во время прошлой зимы. Я так углубился в свои занятия, что совершенно забыл обо всём окружающем, но вдруг служивший нам казак, как сумасшедший, вбежал в комнату, задыхаясь от волнения и закричал:

— Пушки! Корабль!

Я прекрасно знал, что три пушечных выстрела были сигналом, которым Арнольд и Робинсон должны были дать нам знать о появлении корабля в заливе. Мы выбежали из дома и стали нетерпеливо прислушиваться ко второму выстрелу. Нам недолго пришлось ждать. Другой, слабый, глухой гул послышался по направлению к магазину, за ним через несколько минут последовал и третий. Теперь не оставалось никакого сомнения, что прибыл давно ожидаемый нами корабль. Среди всеобщего волнения поспешно была снаряжена лодка и спущена на воду. Разместившись на ее дне на медвежьих шкурах, мы приказали гребцам отчалить. Во всякой рыболовной стоянке, мимо которой мы ехали, спускаясь по течению реки, нас встречали криками: «Судно! Судно!»

Наконец, в Волынкине, где мы остановились на несколько минут, чтобы дать отдохнуть гребцам, нам сказали, что корабль был теперь ясно виден с холмов и что он бросил якорь возле острова, называемого Матуга, в двенадцати милях от устья реки. Убежденные, что эта была не фальшивая тревога, мы поехали далее с удвоенной

скоростью и через пятнадцать минут высадились на берег у северной части залива. Арнольд и Робинсон с русским кормчим Кириловым уже отправились на корабль в казённой китоловной лодке, так что нам оставалось только вскарабкаться на вершину скалы, где стоял маяк, и нетерпеливо ожидать их возвращения.

Вскоре после полудня уже был дан сигнал о приближении корабля, и пока мы достигли устья реки, солнце уже почти село. Корабль тихо стоял на якоре посередине залива в двенадцати милях от берега с маленьким американским флагом, развевающимся на его мачте. Нам видна была казённая китоловная лодка, буксировавшая у кормы. Следовательно, Арнольд и Робинсон были на корабле, но шлюпки всё ещё висели на шлюпбалках, и не заметно было никаких приготовлений для высадки на берег. Исправник взял с нас слово, когда мы выезжали из поселения, сделать ещё три выстрела, если прибытие корабля окажется не вымыслом, а действительностью. Он никак не мог поверить, что корабль, действительно, уже был вблизи нас, потому что так часто обманывался в своих ожиданиях. Ему вовсе не было желательно проехаться даром до маяка в лодке, пока первоначальные сведения не подтвердятся окончательно. Так как теперь факт не подлежал более сомнению, то мы зарядили ещё раз старую ржавую пушку, набили её сырой травой, чтобы усилить гул выстрела, и дали обещанный сигнал, который повторился последовательными раскатами над всякой выдающейся скалой вдоль берега, и замер, наконец, далеко в море.

Исправник явился через час, и так как уже смерклось, то мы все поднялись на скалу взглянуть в последний раз на корабль, прежде чем ночной мрак скроет его совсем из вида. На палубе не замечалось никакого движения. Было уже поздно, и едва ли можно было надеяться, чтобы Арнольд и Робинсон вернулись ранее утра. Итак, мы снова отправились в казённый магазин, или «казарму», как его здесь называли, и провели половину ночи в бесплодных догадках о причинах позднего прибытия корабля и об известиях, которых он мог нам привезти.

При первых лучах разсвета мы с Доддом снова взобрались на вершину скалы, чтобы увериться, что корабль не исчез, подобно «Странствующему Голландцу», под покровом ночи, оставя нас оплакивать новое разочарование. Но наши опасения оказались напрасными. Судно не только стояло на своём месте, но ночью пришло ещё и другое. Большой трёхмачтовый пароход в две тысячи тонн приблизительно стоял в открытом море, и три малень-

кия шлюпки быстро приближались на вёслах к устью реки. Это новое открытие произвело сильное впечатление. Додд, как сумасшедший, сбежал по утёсу к казарме, объявляя майору, что в заливе находился ещё пароход и что лодки были всего в пяти милях от маяка. Мы все собрались толпой на самой высокой точке утёса, разсуждая о таинственном пароходе, появившемся так неожиданно, и карауля приближение лодок.

Самая большая из них находилась всего в трёх милях от берега и в зрительную трубу мы могли различить в продолжительных правильных взмахах вёсел опытную руку матросов, а на офицерском месте в шлюпке виднелись фигуры русских офицеров. Пароход был, очевидно, большое военное судно, но что привело его в этот отдалённый малопосещаемый уголок мира — оставалось для нас загадкой.

Наконец, две лодки поравнялись со скалою маяка, и мы в сильном волнении сошли к месту, куда оне должны были пристать. Более года прошло с тех пор, как мы не имели никаких известий из дома, и надежда получить письма и новую работу достаточно изъясняла это волнение. Самая маленькая лодка первая достигла берега, и лишь только она причалила, как офицер в синем морском мундире выскочил из нея на песок и отрекомендовался нам как капитан Сеттон с судна «Клара Белль», принадлежащего российско-американской телеграфной компании, которое два месяца тому назад оставило Сан-Франциско с рабочими и материалами для сооружения нашей линии.

— Где вы были всё лето? — спросил майор, пожимая руку капитану. — Мы ждали вас с июня и пришли, наконец, к тому заключению, что предприятие совершенно оставлено.

На это капитан Сеттон возразил, что все корабли общества оставили Сан-Франциско довольно поздно и что сверх того он был задержан в Петропавловске обстоятельствами, объяснёнными в письмах. Майор спросил у него о пароходе, стоящем на якоре за «Кларой Белль».

— Это русский корвет «Варяг» из Японии, — отвечал Сеттон.

— Что же он тут делает?

— Я слышал, — сказал капитан, — что он явился к вам за приказаниями. Полагаю, что он командирован русским правительством, чтобы содействовать сооружению вашей линии. Это, по крайней мере, мне так сказали, когда мы встретились с ним в Петропавловске. У него на пароходе находятся русский комиссар и специальный корреспондент «Нью-Йоркского вестника».

Такие новости были для нас совершенно неожиданны. Мы слышали, что морские ведомства России и Америки получили приказание послать в Берингово море для содействия компании в измерении глубины и в опускании каната между американским и сибирским берегами, но мы никак не ожидали видеть один из этих кораблей в Гижигинске. Одновременное прибытие нагруженного судна, парового корвета, русского комиссара и корреспондента «Нью-Йоркского вестника» обещало нам впереди большую деятельность, и мы поздравляли друг друга с будущими успехами сибирской партии.

Вскоре шлюпка с корвета пристала к берегу и мы, познакомившись с г. Аносовым, полковником Ноксом — корреспондентом, и с несколькими русскими офицерами, говорившими совершенно свободно по-английски, приступили к распечатыванию и чтению давно ожидаемой корреспонденции.

Все известия относительно дел общества и планов предприятия были весьма удовлетворительны. Полковник Бёлькли, главный инженер, заезжал в Петропавловск, отправляясь на север, и сообщил нам с «Варягом» и «Кларой Белль» все подробности своих дальнейших действий и распоряжений. Три корабля: «Клара Белль», «Пальметто» и «Онуард» были посланы в Гижигинск из Сан-Франциско с шестьюдесятью людьми и большим грузом всего необходимого для работ на шестьдесят тысяч долларов. Один из них, «Клара Белль», нагруженный подставками и изоляторами, уже прибыл, остальные два — с продовольствием, проволокой, снарядами и людьми были ещё на пути. Четвёртое судно с тридцатью служащими и рабочими — маленький речной пароход, нагруженный инструментами и также продовольствием, послан был к устью Анадыри, где его должен был встретить лейтенант Бёш.

Корвет «Варяг» был отправлен русским морским ведомством для содействия к проложению каната через Берингов пролив; но так как канат, заказанный в Англии, не был ещё получен, то для «Варяга» не нашлось никакого другого дела, и полковник Бёлькли послал его с русским комиссаром в Гижигинск. Вследствие того, что «Варяг» сидел около двадцати двух футов в воде, то не мог подойти ближе, чем на пятнадцать или двадцать миль к берегу, и поэтому не был для нас большой помощью. Но одно только присутствие его с особенным русским комиссаром придавало нашему предприятию официальный характер, который позволял нам успешнее воздействовать на местные власти и на народ, чем это было до сих пор.

Сначала у майора Абаза было намерение, лишь только придут корабли, тотчас отправиться в Якутскую область по реке Лене и в самый Якутск, чтобы нанять пять или шесть сотен туземных рабочих, купить лошадей и разместить их вдоль телеграфной линии. Но положение дел во время прибытия «Варяга» и «Клары Белль» в Гижигинск заставили его совершенно изменить этот план. Два судна — «Онуард» и «Пальметто» — должны были ещё притти с большим грузом, который майор хотел распределить по берегу Охотского моря под своим личным надзором. Поэтому он решил отложить свою поездку до более позднего времени года, а пока воспользоваться двумя судами, бывшими в его распоряжении. На «Кларе Белль» вместе с подставками и изоляторами, приехали также один главный мастер и четыре рабочих. Их-то майор Абаза и намеревался послать в Якутск под начальством лейтенанта Арнольда с приказанием нанять там как можно больше рабочих и тотчас же приступить к тесанию столбов и постройке станционных домов. «Варяга» он намеревался послать с продовольствием и письмами к Мэгуду, который уже почти пять месяцев жил в Охотске, не получая ни денег, ни съестных припасов, никаких известий, и который, вероятно, уже потерял всякую надежду на поддержку.

Офицеры «Варяга» за день до отплытия этого судна пригласили нас всех на прощальный обед. Хотя наши скудные средства не позволяли нам отплатить им тем же, но мы, не колеблясь, приняли их приглашение, чтобы хоть немного насладиться всею прелестью цивилизованной жизни. Все почти офицеры «Варяга», человек около тридцати, говорили по-английски, так что мы могли объясняться с ними совершенно свободно. Прекрасный военный оркестр приветствовал нас гимном «Neil Columbia», когда мы вошли на палубу, и продолжал игру во время обеда, услаждая наш слух отрывками из опер «Марты», «Травиаты» и «Фрейшютца», словом, день, проведённый нами на «Варяге», остался самым светлым воспоминанием из всей нашей жизни в Сибири.

На следующее утро, в десять часов, мы возвратились на «Клару Белль» в маленькой шлюпке этой последней, а корвет, разведя пары, снялся с якоря. Офицеры махали фуражками с четвертьдека в знак безмолвного прощания, а оркестр играл хор из «Пирата»: «Будь всегда счастлив и благословен, как теперь» — это была горькая ирония над нашим одиноким, безотрадным изгнанием!

Невесела была кучка людей, возвращавшихся в этот день к ужину, состоящему из оленины и капусты, в пустыя комнаты гижигинской

казармы! Теперь мы только оценили вполне разницу между жизнью в «обетованной земле» и существованием в Северо-Восточной Азии.

После отплытия «Варяга», «Клара Белль» была введена в устье реки, кладь её выгружена, лейтенант Арнольд с партией послан на это судно, и 26 августа во время прилива оно подняло паруса и отправилось в Ямск и Сан-Франциско, оставя в Гижигинске только прежнюю камчатскую партию, то есть Додда, майора и меня.

И вот мы опять остались втроём среди грубого и невежественного общества. Пребывание между нами английских и русских моряков промелькнуло как приятное сновидение.

Глава 33

Новое прибытие кораблей. Последняя поездка к Северному полярному кругу. Корякские проводники. Голод в Анадырске

После отплытия «Варяга» и «Клары Белль» последовал опять долгий томительный месяц ожиданий, в продолжение которого мы жили с прежними неудобствами у устья Гижиги. Неделя проходила за неделей, не принося никаких известий об ожидаемых кораблях. Наступил и конец короткого северного лета, на горах снова появился снег, продолжительныя сильныя бури предсказывали скорое приближение зимы. Прошло более трёх месяцев после предполагаемого отплытия «Онуарда» и «Пальметто» из Сан-Франциско, и их долгое отсутствие можно было объяснить только их повреждением или крушением. 18 сентября майор Абаза решил послать гонца в столицу Сибири, чтобы оттуда телеграфировать компании, спрашивая о дальнейших распоряжениях. Оставленные на следующую зиму без людей, инструментов и других материалов, кроме пятидесяти тысяч изоляторов и подставок, мы не могли никаким образом способствовать сооружению линии, и нам оставался только один исход — дать знать компании о нашем затруднительном положении.

Однако 19-го, прежде чем мы успели привести в исполнение это решение, прибыло давно ожидаемое судно «Пальметто», а вслед за ним явился и русский пароход «Сахалин» с пособиями из Николаевска. Этот последний, не завися нисколько от ветра и сидя неглубоко в воде, без затруднения перешёл бар и вошёл в реку, но «Пальметто» нужно было ещё простоять на якоре в заливе в ожидании прилива. Несколько дней погода стояла холодная и пасмурная и разразилась, наконец, бурей. 22-го ветер дул так сильно

с юго-востока, а волны бушевали так грозно, что мы стали серьёзно опасаться за целостность несчастного судна.

Так как мелководье не позволяло кораблю перейти бар у устья реки, то до прилива невозможно было подать ему никакой помощи. 23-го стало очевидно, что «Пальметто», на которого были возложены все наши надежды, должен был неминуемо сесть на мель. Его самый большой якорь оборвался, и он медленно, но верно дрейфовал на скалистый обрывистый берег на восток от реки, где он, конечно, должен был разбиться в щепки. Капитан Артур, не видя другого исхода, выпустил канат и стал против самого устья реки. Он не мог более избежать, и, конечно, лучше было набежать на песчаный бар, чем беспомощно дрейфовать на чёрную отвесную скалистую стену, где гибель была бы неизбежна. Судно храбро приблизилось на полмили к маяку и потом тяжело врезалось в песок на семифутовой глубине. После первого толчка последовало сильное сотрясение в подводной части судна, а волны между тем разбивались целым облаком брызг над его верхней палубой. Нам казалось, что оно не продержится и до утра. Когда, впрочем, вода прилива стала подниматься, то судно всё более и более начало приближаться к устью реки, и, наконец, во время самой высокой воды оно очутилось не далее четверти мили от него. Судно было очень крепкой постройки и потому потерпело менее вреда, чем мы предполагали, и когда вода убыла, оно осталось на बारे, не потерпев других повреждений, кроме потери своего фальшкиля и некоторой порчи в медной обшивке.

Судно лежало на боку под углом в сорок пять градусов, так что невозможно было ничего достать из трюма. Мы сделали необходимые приготовления для выгрузки клади в лодки, лишь только следующий прилив поднимет судно и поставит его в прямое положение. Мы мало надеялись спасти самый корабль, но вся наша забота заключалась в том, чтобы выгрузить его прежде, чем он превратится в обломки. Капитан Табезин с русского парохода «Сахалин» предложил к нашим услугам все свои шлюпки и всю наличную команду.

На следующий день мы принялись за работу с шестью или семью лодками, большим плашкоутом и пятьюдесятью рабочими. Море продолжало волноваться, подводная часть судна снова стала содрогаться. Плашкоут завяз и потонул в ста аршинах от берега с полным грузом, и множество ящиков и бочонков с мукой понеслись с приливом вверх по реке. Нам приходилось усердно работать, не покладая рук, лишь бы только спасти груз судна,

состоящий большею частью, как я уже упоминал выше, из съестных припасов. Потеря такого груза обрекала нас на голодание во время зимы, а следовательно, и наше предприятие не могло бы быть приведено в исполнение. Поэтому мы настойчиво продолжали работать на лодках, пока вода вокруг судна была достаточно высока, чтобы поднимать их. При начале отлива мы могли поздравить друг друга с приятным известием, что съестных припасов спасено столько, что наше существование вполне обеспечено даже в том случае, если судно в следующую же ночь разлетится в щепки. 25-го ветер был уже слабее, море стало утихать, и так как судно не потерпело, по-видимому, особенно серьёзных повреждений, то мы начали надеяться спасти и корабль, и груз.

С 26 по 29 сентября все шлюпки с «Сахалина» и «Пальметто» вместе с командой обоих судов были постоянно заняты перевозкой груза с корабля на берег, и 30-го половина его, по крайней мере, была благополучно выгружена. Насколько мы могли судить, ничто не должно было помешать ему отправиться в море в октябре. При ближайшем осмотре оказалось, что потери его ограничивались фальшкилем, а это, по мнению офицеров «Сахалина», нисколько не делало его неспособным к морскому плаванию и не могло помешать его отплытию.

Представилось, однако, новое затруднение. Весь экипаж «Пальметто» состоял из негров, и лишь только они узнали, что майор Абаза намеревался отправить судно в Сан-Франциско этой же осенью, они отказались итти, объявив, что корабль не способен к морскому плаванию и что они предпочитают провести зиму в Сибири, чем подвергаться опасному путешествию в Америку. Майор Абаза немедленно созвал комиссию из офицеров с «Сахалина», попросил их снова осмотреть судно и представить письменное мнение о пригодности его. Осмотр был сделан, и мнение заключалось в том, что оно вполне годно для совершения путешествия в Петропавловск, Камчатку и, может быть, даже в Сан-Франциско. Это решение было прочитано неграм, но они продолжали настаивать на своём отказе.

Представив им последствия возмущения, майор приказал заковать зачинщика в цепи, отправил его на борт «Сахалина» и заключил в угольную яму, но товарищи его не уступали. Необходимо было, чтобы «Пальметто» вышел в море при первой же возможности, так как время года было уже позднее, и он мог быть неминуемо затёрт льдом, если останется в реке позже половины октября.

Затем, как я уже упомянул выше, майору Абазе необходимо было ехать в Охотск на пароходе «Сахалин», а этот последний был уже совершенно готов выступить в море. После полудня 1 октября, когда «Сахалин» разводил уже пары для отплытия, негры обещали майору окончить выгрузку «Пальметто» и возвратиться в Сан-Франциско с условием, если он освободит законного им человека. Заключённый тотчас же был освобождён, и через два часа майор отплыл на «Сахалине» в Охотск, оставя нас одних распоряжаться по нашему усмотрению с полуразбитым кораблём и с его мятежной командой, с которой трудно справиться.

Ещё далеко не весь груз был вывезен на берег, часть его ещё находилась на судне и потому мы продолжали следующие пять дней выгружать его на лодках. Работа была трудная и утомительная. Лодки могли подходить к кораблю только в продолжение шести часов из двадцати четырёх, и эти шесть часов были от одиннадцати вечера до пяти утра. Всё остальное время корабль лежал на боку, а вода вокруг него была так мелка, что едва ли могла бы поднять даже доску. К увеличению наших опасений и затруднений наступили холода, термометр опустился до нуля и массы плавающих льдин приносились каждым приливом и отливом. Вскоре вся река была так завалена обломками льда и кусков медной обшивки судна, что мы должны были тянуть лодки взад и вперёд на канате. Несмотря, впрочем, на дурную погоду, мелководье и лёд, груз корабля медленно, но постепенно убавлялся. К 10 октября на нём осталось только несколько бочонков муки, немного солонины и свинины, что нам было не нужно, и семьдесят или сто тонн угля. Это мы решили отправить назад в Сан-Франциско вместо балласта.

Вода с каждым днём всё более и более повышалась, и, наконец, 11-го «Пальметто» в первый раз в продолжение трёх недель был в состоянии двинуться с места. Лишь только киль его освободился из песка, как его повернули в заливе носом к морю и укрепили большими верпами, приготовив к отплытию на следующий день. Испытав страшный холод предшествовавшей недели, экипаж не выражал более желания зимовать в Сибири. Кроме внезапной перемены ветра ничто не могло препятствовать благополучному выходу из реки. Ветер был, однако, благоприятен, как и прежде, и 12 октября в два часа пополуночи, на «Пальметто» снова заколебались долго отдыхавшие нижние паруса и марсели, канаты больших верпов были отрезаны, и при лёгком северо-восточном ветре он медленно вышел в залив. Никакая музыка никогда не

казалась мне такою приятною для слуха, как сердечное «Ho! Heiss! Ho!» экипажа, когда натянули шкоты брамселей по ту сторону бара! Судно, наконец, выбралось в открытое море! И пора ему было! Менее чем через неделю после его отплытия река и прибережная часть залива были так завалены ледяными глыбами, что ему не возможно было бы избежать полного крушения.

При наступлении второй зимы надежды предпринимателей были более в цветущем положении, чем когда-либо до сих пор. Корабли общества, правда, очень опоздали своим прибытием, и один из них — «Онуард» вовсе не пришёл, но «Пальметто» снабдил нас четырнадцатью работниками, большим запасом инструментов и продовольствия. Майор Абаза отправился в Якутск, чтобы нанять шестьсот или семьсот туземных работников и купить триста лошадей, так что мы надеялись к 1 февралю начать работы по всей линии, которая будет успешно подвигаться вперёд.

Теперь уже нельзя сидеть сложа руки, а надо было приниматься за дело. Тотчас после отплытия «Пальметто» я послал лейтенанта Сандфорта с двадцатью рабочими в леса Гижигинской реки выше поселения, снабдив их топорами, лыжами, санями и продовольствием, и поручил им рубить столбы и заготавливать срубы для домов, которые должны были быть впоследствии распределены в степях между Гижигинском и Пенжинским заливом. Я послал также небольшую партию туземцев под начальством г. Уимера в Ямск с пятью или шестью санями, с топорами и съестными припасами к лейтенанту Арнольду и депешами для отправления майору Абазе.

В настоящее время мне не предстояло никакого дела на берегу Охотского моря, и я намеревался поехать ещё раз на север. Мы ничего не слыхали о лейтенанте Бёше и его партии с 1 мая, а нам непременно нужно было знать, успешно ли шла рубка и сплава столбов по Анадыри и какие были его намерения и планы на следующую зиму. Позднее прибытие «Пальметто» возбудило в нас опасение, что корабль, посланный к Анадыри, также был задержан на пути, что должно было поставить лейтенанта Бёша и его партию в крайне неприятное, если не опасное положение. Поэтому майор Абаза приказал мне, уезжая в Охотск, отправиться по первому зимнему пути в Анадырск и увериться, приходили ли корабли общества к устью реки и не нуждался ли Бёш в помощи. Меня ничто более не задерживало в Гижигинске, и я уложил свои походные принадлежности, запасное меховое платье, положил на пять саней чай, сахар, табак и продовольствие и 2 ноября отправился с шестью казаками ещё раз к Полярному кругу.

Из всех моих путешествий по Сибири ни одно не было так печально, как это. Во избежание лишних издержек я не взял с собой никого из моих американских товарищей. Сколько раз, сидя одиноко у походного огня, раскаивался я в своей самоотверженной бережливости; как я часто скучал о сердечном смехе и добродушных шутках моего верного Ахата-Додда. В продолжение двадцати пяти дней я не встретил ни одного цивилизованного существа, не сказал ни одного слова на моём родном языке, а по истечении этого времени я был бы рад, кажется, поговорить с умной американской собакой. «Уединение, — говорит Бичер, — для общественной жизни всё равно, что паузы для музыки». Я же нахожу, что путешествие, совершённое в одиночестве, так же неприятно, как и музыкальное произведение, состоящее исключительно из пауз. Только самое живое воображение может найти и в том, и в другом что-нибудь интересное.

В Куиле, на берегу Пенжинского залива, я должен был проститься с моими добродушными казаками и взять себе проводниками полдюжины тупых угрюмых коряков с бритыми головами. С тех пор я ещё живее почувствовал своё одиночество. С казаками я был ещё в состоянии говорить и часто проводил длинные зимние вечера у походного огня, расспрашивая об их поверьях и предразсудках и слушая характеристические рассказы из сибирской жизни. Теперь же, не зная вовсе корякского языка, я был лишён и этого последнего развлечения. Мне приходилось довольствоваться только собственными думами и мыслями, а эти мысли и думы, конечно, не могли быть весёлаго характера и только нагоняли на меня ещё большую тоску.

У моих проводников была самая уродливая и неприятная наружность, какую можно было только встретить в поселениях Пенжинского залива, а их упрямство и тупость поддерживали во мне дурное расположение духа во всё время путешествия от Куиля до Пенжины. Только с револьвером в руке я мог принудить их к повиновению. Они не имели никакого понятия о том, как удобнее расположить стан в дурную погоду, и я напрасно старался научить их этому. Несмотря на все мои убеждения, они продолжали каждую ночь рыть глубокую яму в снегу для костра и сидеть, скорчившись, по её краям, подобно лягушкам на краю колодца, между тем, как я сам устраивал себе ночлег. Поваренное искусство было им также совершенно неизвестно, и они никак не могли проникнуть в его тайны. Почему мясо, положенное в один сосуд, варилось, а положенное в другой, совершенно сходный, жарилось,

почему одно превращалось в суп, а другое — в пирог, — всё это были вопросы, о которых они рассуждали каждый вечер и которые всё-таки никак не могли себе усвоить. Изумительны были опыты, которые они производили над содержимым этих непонятных жестяных коробок с консервами. Они мне часто подавали пироги с томатами, обжаренными в масле. Шепталу они смешивали с жареной говядиной или варили в супе, крупу они подслащивали, а сушёные консервы разбивали камнями в куски. Никогда, даже случайно, не могли они попасть на надлежащие припасы, если я сам постоянно не стоял над ними и не наблюдал лично за приготовляемым мне ужином.

Не имея понятия об этих необыкновенных американских кушаньях, они всегда с большим любопытством отведали их, и эти опыты были иногда чрезвычайно смешны. Однажды вечером, вскоре после отъезда из Шестакова, они увидели, что я ем маринованный огурец, а так как этот новый предмет был для них совершенно не знаком, то они попросили у меня кусочек огурца, чтобы его попробовать. Предвидя, какая из этого выйдут последствия, я отдал весь огурец самому грязному и дикому из них и посоветовал ему откусить как можно больше. Все его товарищи смотрели, притаив дыхание, пока он подносил огурец ко рту, чтобы увидеть, как он ему понравится. С минуту лицо его выражало смешную смесь удивления, недоумения и отвращения, и он был, кажется, готов выплюнуть откушенный кусок, но, сделав большое усилие, он превозмог себя, придал лицу своему выражение удовольствия, чмокнул губами, объявил, что это было «акмель немелькин» — очень хорошо — и передал огурец ближайшему соседу. Этот последний был равно поражён и недоволен его неожиданной кислотой, но, не желая сознаться в обманутом ожидании и услышать насмешки товарищей, он также уверял, что это великолепно, и передал далее. Шесть человек последовательно разыграли эту комедию с величайшей серьёзностью, но, когда все откусили по кусочку огурца, они разразились единодушным, удивлённым «ти-е-ее» и дали свободу долго сдерживаемому чувству отвращения. Усиленное плевание, кашель, умыванье рта снегом, последовавшие за первым взрывом неудовольствия, доказали, что вкус к пикулям благоприобретён, а не свойственен первобытному человеку.

Меня особенно забавляло то, что они обманывали друг друга. Каждый из них, сделавшись жертвой обмана, тотчас чувствовал необходимость ввести в заблуждение и своего соседа, и ни один из

них не решился сознаться, что огурец был совсем невкусен, пока все не отведали его. Несчастье любит товарищей, а человеческая природа везде одинакова.

Хотя и недовольные последствиями опыта, они, тем не менее, просили у меня и после этого кусочек из каждой жестянки, которую я открывал. Перед самым приездом в Пенжинку, впрочем, один случай навсегда избавил меня от их докучливости и внушил им такой суеверный страх к жестянкам, что они ничем не могли побороть его впоследствии.

У нас вошло в обыкновение во время остановки на ночлег ставить наши жестянки в горячую золу или уголья, чтобы содержимое в них оттаяло, и я несколько раз уже говорил моим проводникам, чтобы они их всегда прежде открывали. Конечно, я не мог объяснить им, что от скопления пара жестянки могут лопнуть. Я сказал им, что это будет «аткин» — дурно, если они не сделают отверстия в крышке прежде, чем поставят жестянку на огонь. Однажды вечером они забыли эту предосторожность, и, пока сидели, скорчившись, вокруг костра, погружённые в размышления, одна из жестянок лопнула со страшным взрывом, освободив густое облако пара, а куски кипящей баранины разлетелись по всем направлениям.

Если бы вулкан разверзся над костром, коряки не могли бы больше испугаться. Не успев убежать, они упали на спину и подняли ноги кверху с криками «каммук!» — дьявол — воображая себя совсем погибшими. Мой смех успокоил их, наконец, и им стало немного стыдно за свой минутный страх, но с этого времени они стали обращаться с жестянками, как будто бы они были наполнены разрывными пулями, и никак не могли решиться отведать кусочек содержимого в них. Я, конечно, остался этим доволен, потому что избавился от их докучливых попрошайничеств.

Однако мы медленно подвигались вперёд от Охотского моря к Анадырску. Дни были коротки, а только что выпавший снег рыхл и глубок. Часто на протяжении десяти или пятнадцати миль мы должны были лыжами прокладывать дорогу для наших тяжело нагруженных саней, и то усталые собаки с трудом только могли пробираться по этим рыхлым сугробам. Холод был так силен, что ртутный термометр, показывающий до минус двадцати трёх градусов, был почти бесполезен. В продолжение нескольких дней ртути совсем не было видно, я мог судить о холоде только по быстроте, с которою замерзал мой ужин, когда его снимали с огня. Сколько раз суп превращался в моих руках из жидкого тела

в твёрдое, а каша примерзала к жестяной тарелке, прежде чем я успевал её доесть.

Две недели спустя после отъезда из Гижигинска мы достигли Пенжины, отстоящей в двухстах верстах от Анадырска. После нас, то есть с мая, никто из посторонних не заглядывал в этот городок, и всё поселение — мужчины, женщины, дети и собаки — толпой высыпали нам навстречу с самыми радостными заявлениями. Более полугода они не видели ни одного постороннего лица и не слышали живого слова о внешнем мире. В виде выражения своего восторга они приветствовали нас полудюжиной выстрелов из старых заржавленных винтовок.

Когда я выехал из Гижигинска, то надеялся встретить где-нибудь на дороге посланного с известиями и письмами от Бёша, но я очень удивился и встревожился, узнав, что никто не приезжал из Анадырска в Пенжину и что с прошедшей весны не было никаких слухов о нашей партии. Какое-то непонятное предчувствие овладело мной, так как Бёшу было непременно приказано послать нарочного в Гижигинск по первому зимнему пути, а теперь был уже конец ноября.

К несчастью, мои предчувствия оправдались на следующий же день. Поздно вечером, когда я сидел в доме русского крестьянина и пил чай, на улице раздался крик:

— Анадырские едут!

Я поспешно выбежал из дома, встретил анадырского священника в ту самую минуту, когда тот останавливал своих собак у ворот. Моим первым вопросом было:

— Где Бёш?

Священник ответил:

— Бог его знает!

У меня сердце так и упало.

— Но где же видели вы его в последний раз, где провёл он лето, — допытывался я.

— Я видел его в последний раз у устья Анадыри в июле, — возразил священник, — и с этого времени о нём нет никаких слухов.

Ещё несколько вопросов объяснили мне всю печальную историю. Бёш, Макри, Гардер и Смит отправились в июне вниз по Анадыри на большом плоту с материалами для станционных домов, которые должны были быть построены вдоль ея берегов. Поставив эти дома в назначенных местах, они отправились на лодках к Анадырской губе ожидать прибытия кораблей общества из Сан-Франциско. Тут к ним приехал священник и прожил с ними

несколько недель, но в конце июля их скудный запас продовольствия истощился, ожидаемые корабли не являлись, и священник возвратился в поселение, оставив несчастных американцев в самом жалком положении у устья реки. С этих пор ничего не было о них слышно, и, как священник мрачно заметил, что «один Бог только знал», где они были и что с ними сделалось. Это были плохие вести, но ещё не самые худшие.

Вследствие неудачного лова сёмги в Анадыри в это лето в поселении начался страшный голод, часть жителей и все почти собаки погибли от него, и поселение совершенно опустело. Каждый имеющий довольно собак, чтобы уехать, отправлялся отыскивать кочующих чукчей, с которыми мог бы прожить до следующего лета, а те немногие, которые остались в селении, ели сапоги и обрезки оленьих шкур, чтобы поддержать своё существование.

В начале октября партия туземцев отправилась на собаках отыскивать Додда и его товарищей, но вот уже более месяца прошло с их отъезда, а они всё ещё не возвращались. Вероятно, они погибли от голода в пустынных равнинах нижней Анадыри, так как они могли взять с собою продовольствия на десять дней, и едва ли им удалось встретить на пути кочующих чукчей, которые снабдили бы их съестными припасами.

Таким образом, первые вести, дошедшие до меня из северной области, были крайне неблагоприятны, — голод в Анадырске, исчезновение Бёша с партией с июля и восьми туземцев с санями и собаками с половины октября. Конечно, это ещё более увеличило моё дурное расположение духа! Худшего положения дел нельзя было и придумать. Конечно, я не мог сомкнуть глаз целую ночь, размышляя об этих несчастиях и стараясь придумать лучший план действий. Как ни ужасна была вторичная поездка к Анадыри зимой, но я не видел средств избежать её. Факт, что ничего не было слышно о Бёше в продолжение четырёх месяцев, ясно свидетельствовал, что с ним случилось какое-нибудь несчастье, и моя прямая обязанность была отправиться к Анадырской губе и найти его, если только это окажется возможным.

На следующее же утро я начал закупать продовольствие для собак и до вечера приобрёл уже две тысячи штук сушёной рыбы и такое же количество тюленьего жира, которое, наверное, достало бы пяти стаям собак на сорок дней, по крайней мере. Потом я послал за начальником шайки кочующих коряков, разбивших случайно свои палатки близ Пенжины, и уговорил его пригнать стадо оленей к Анадырску, чтобы зарезать из него столько голов,

сколько нужно будет для снабжения пищей голодающих жителей, пока они не получат другой помощи. Я послал также двух туземцев обратно в Гижигинск с письмами к исправнику, извещая его о голоде, и к Додду, чтобы тот снарядил как можно больше саней с продовольствием и отправил бы их тотчас же в Пенжину, где я распоряжусь об их препровождении в голодающее поселение.

Сам я думал отправиться в Анадырск 20 ноября с пятью надежнейшими пенжинскими проводниками и столькими же санями. Эти люди и собаки должны были сопровождать меня до устья Анадыря, если я ничего не узнаю о Бёше до прибытия в Анадырск.

Распорядившись так, я стал и сам готовиться к новому путешествию. Холод и трудности пути нисколько не смущали меня, я думал лишь только о том, как бы поспеть вовремя, чтобы мои старания и хлопоты не оказались бы бесполезными.

Глава 34

Свидание с Бёшем. Трудная дилемма. Голод. Наём восьмисот рабочих. Предприимчивый американец. Пустыня

Я отправился в Анадырск 20 ноября, как и предполагал. Сани священника проложили уже для нас путь, и мы доехали до Анадырска скорее, чем я ожидал. Уже 22 ноября мы расположили наш стан у подошвы невысокого горного хребта, известного под именем Русского хребта, в тридцати верстах на юге от поселения. В надежде достигнуть места нашего назначения до утра мы решились ехать всю ночь, но перед сумерками неожиданно поднялась вьюга, которая помешала нам перебраться через горный проход. Около полуночи ветер немного стих, луна по временам выглядывала из-за туч, и, опасаясь, что погода может сделаться ещё хуже, мы разбудили усталых собак и начали подниматься на горы. Местность была дикая и пустынная. Снег опускался крупными хлопьями над проходом, почти скрывая из вида голыя белыя вершины, торчавшие с обеих сторон, засыпал за нами дорогу по мере того, как мы поднимались вверх.

Время от времени бледные лучи луны, пробиваясь сквозь снежные облака, освещали на мгновение обнажённые склоны гор над нашими головами. Потом они снова погружались в тёмные испарения. Ветер завывал в ущельях, и всё исчезало в тумане и мгле. Наконец, мы достигли вершины, и, когда остановились на минуту, чтобы дать вздохнуть усталым собакам, нас внезапно поразил вид длинного ряда тёмных предметов, быстро пронесившихся по обна-

жённой поверхности горы в нескольких саженьях от нас и спускающихся в ущелье, из которого мы только что выехали. Я видел их мельком, но мне показалось, что это были сани, запряжённые собаками. С громким криком мы бросились им вслед. Действительно, это были сани, и, приблизившись, я узнал между ними старую обтянутую тюленьей кожей повозку, которую я оставил прошлой зимой в Анадырске и которая, конечно, должна была быть занята американцами. С сердцем, бьющимся от волнения, я спрыгнул с саней, подбежал к повозке и спросил по-английски:

— Кто тут?

Было слишком темно, чтобы различить лица, но давно знакомый мне голос ответил:

— Бёш!

Никогда этот голос не был мне так приятен. Целых три недели я не видал ни одного соотечественника и не слышал ни одного английского слова. Одиночество и постоянно новые неудачи привели меня в совершенное уныние, как вдруг в полночь, на пустынной горной вершине, во вьюгу, я встретил старого друга и товарища, которого почти уже считал погибшим. Радостна была эта встреча! Туземцы, отправившиеся к Анадырской губе отыскивать Бёша и его партию, благополучно возвратились вместе с Бёшем, и этот последний ехал теперь в Гижигинск с известиями о голоде и за продовольствием и помощью. Вьюга задержала его так же, как и нас, и когда она немного утихла в полночь, мы оба двинулись с противоположных сторон, чтобы перебраться через горный кряж, и таким образом встретились на вершине. Мы вместе возвратились к моему покинутому стану на южном склоне гор, раздули ещё тлевшая уголья, разстелили медвежьи шкуры и проговорили до тех пор, пока стали похожи на белых медведей от падающего на нас снега, а день уже занимался на востоке.

Бёш привёз также дурные вести. Он поехал с партией к устью Анадыри, как уже сказал мне священник, в начале июня и почти четыре месяца ждал прибытия кораблей общества. Наконец их запасы истощились, и они были принуждены питаться только рыбой, которую им удавалось поймать в продолжение дня, и голодать, когда лов был неудачен. Чтобы добыть соли, они скребли доски старого бочонка, бывшего с солёной свиной и оставленного здесь Макри в прошлом году, а вместо кофе жгли рис и варили его. Наконец не стало более ни риса, ни соли, и они должны были питаться одной варёной рыбой без кофе, хлеба и соли. Живя посреди обширного мшистого болота, не имея на пятьдесят миль

кругом ни одного дерева, одеваясь в звериные шкуры за неимением другого платья, страдая часто от голода, мучимые москитами, от которых им нечем было защищаться, и, ожидая день за днём, неделю за неделей кораблей, которые всё не являлись, положение их было самое плачевное. Одно судно компании «Голден Гэйт» прибыло, наконец, в октябре с двадцатью двумя человеками и маленьким пароходом, но зима уже наступила, и через пять дней, прежде чем они успели окончить выгрузку товаров, корабль был затёрт льдом, экипаж и почти весь груз были спасены, но через это несчастье численность партии увеличилась с двадцати пяти на сорок семь человек, а соответствующаго увеличения продовольствия для ея содержания не было. По счастью, впрочем, неподалеку находились шайки кочующих чукчей, и от них Бёшу удалось приобрести значительное число оленей, мясо которых он велел заморозить и запасти для будущаго употребления. Когда Анадырь замёрзла, Бёш остался, как и Макри прошлой зимой, без всяких средств добраться до поселения, но он предвидел это затруднение и, уезжая из Анадырска, распорядился, чтобы ему выслали сани на выручку в случае, если он не успеет возвратиться на лодках до замерзания реки.

Несмотря на голод, сани были действительно отправлены, и Бёш с двумя проводниками возвратился в Анадырск на этих санях. Найдя это поселение совершенно опустошённым от голода, он, не медля ни минуты, продолжал свой путь в Гижигинск, между тем как его голодающия и утомлённыя собаки умирали на дороге. Таково было положение моего товарища, котораго я считал совершенно погибшим, не имея от него так долго никаких известий.

Между тем в Анадырске голод принёс много несчастий и бед. Вот каково было там положение дел, когда я встретился с Бёшем на вершине Русскаго хребта.

Сорок четыре человека жили у устья Анадыри, в двухстах пятидесяти милях от ближайшаго поселения. У них решительно не было никакого продовольствия на зиму и никаких средств к переезду. Анадырск был опустошён, и кроме нескольких упряжек собак в Пенжинске нельзя было найти ни одной годной собаки во всей северной области Охотскаго моря до Берингова пролива. Что можно было сделать при подобных обстоятельствах? Мы с Бёшем обсуждали этот вопрос у нашего одинокаго костра у подножия Русскаго хребта, но не могли прийти ни к какому решению.

После трёх или четырёхчасоваго тревожнаго сна мы поехали далее к Анадырску. Вечером мы приехали в город, если можно назвать городом то, что от него осталось. В двух верхних селениях —

Оселкине и Покурокове, — бывших прошедшей зимой в таком цветущем состоянии, не было ни одного жителя. Даже в Маркове жило только несколько семейств, истощённых голодом, которых, лишившись всех собак, не имели средств выехать из селения. Громкий вой собак не извещал более о нашем приезде. Никто не выходил к нам навстречу, окна домов были заколочены деревянными ставнями и до половины занесены снегом, на котором не видно было ничьих следов, и всё поселение было молчаливо и пустынно. Казалось, будто одна половина жителей вымерла, а другая отправилась хоронить её!

Мы остановились перед маленьким домиком, где Бёш расположил свою главную квартиру, и провели остаток дня в сообщении друг другу подробностей наших странствований.

Почти единственной причиной неприятного положения, в котором мы находились, был голод в Анадырске. Позднее прибытие и затем гибель «Голден Гэта» было, конечно, большим несчастьем, но оно было бы поправимо, если бы голод не лишил нас всех средств к передвижению. Существование жителей Анадырска, как и всех других русских поселений в Сибири, зависит от рыбы, заходящей каждое лето в реки метать икру. Рыба обыкновенно ловится тысячами в то время, когда поднимается по притокам рек во внутрь страны. Пока эти странствования рыбы совершаются правильно, туземцам нетрудно запастись себе обильную пищу на зиму, но один раз в три или четыре года рыба по какой-то не объяснимой причине не является. Тогда на следующую зиму всегда бывает такой голод в Анадырске, как я сейчас описывал, а часто и ещё опустошительнее. В 1860 г. более ста пятидесяти туземцев умерли с голоду в четырёх селениях на берегу Пенжинского залива, а полуостров Камчатка был столько раз опустошаем голодом со времени покорения его русскими, что его народонаселение уменьшилось более чем наполовину. Если бы кочующие коряки не приходили на выручку к голодающим со своими многочисленными стадами северных оленей, то я уверен, что оседлое население Сибири, то есть русские, чуванцы, юкагиры и камчадалы уничтожились бы менее чем в пятьдесят лет. Огромные расстояния, разделяющие селения одно от другого, и отсутствие всяких средств к сообщению летом предоставляют каждое селение самому себе и делают невозможными взаимную помощь и поддержку до тех пор, пока всякое пособие оказывается слишком поздним.

Первой жертвой голода бывают, обыкновенно, собаки. Народ, лишённый таким образом последнего средства к переезду, не может

покинуть опустошённое голодом поселение и, поев все сапоги, тюленьи ремни и обрезки сырых кож, умирает, наконец, от недостатка пищи.

В этом, впрочем, много виноваты их беспечность и непредусмотрительность. В одно лето они могли бы наловить и засушить столько рыбы, что её хватило бы им на три года, но вместо этого они запасают себе продовольствия только на одну зиму, рискуя на следующую умереть с голода. Ни тяжёлый опыт, ни громадные страдания не делают их предусмотрительнее. Человек, едва избежавший голодной смерти в эту зиму, скорее подвергнется той же опасности в следующую, чем возьмёт на себя лишний труд и наловит больше рыбы. Даже если они видят, что голод неизбежен, они не предпринимают никаких мер, хотя несколько облегчить и предупредить его, пока, наконец, не уничтожится последняя крошка пищи.

Один туземец из Анадырска говорил мне однажды, что у него осталось только на пять дней корму для собак.

— Что же вы будете тогда делать? — спросил я его.

— Бог знает, — был характерный ответ, и туземец равнодушно отвернулся, как будто в этом факте не было ничего особенно неприятного. Он думал, кажется, что если одному Богу только дано знать, что надо делать, то другим нечего и спрашивать. Отдав собакам последнюю рыбу из своего балагана, он всегда успеет подумать о том, что предпринять, а до тех пор нечего бесполезно и тревожить себя.

Известная беспечность и беспорядочность туземцев принудили, наконец, русское правительство учредить во многих местностях Северо-Восточной Сибири, так сказать, сберегательные банки, или запасные магазины. Чтобы основать их, накупили понемногу у туземцев до ста тысяч сушёных рыб или юколы, составляющих основной капитал банка. Каждая душа мужского пола в поселении обязана была по закону вносить в магазин ежегодно одну десятую всей пойманной рыбы, и никакие оправдания в неисполнении этого закона не считались уважительными. Ежегодный взнос причислялся, таким образом, к основному капиталу, так что пока он будет правильно производиться, средства магазина будут постоянно увеличиваться. В случае же недостатка в рыбе или угрожающего голода, каждый вкладчик, или, лучше сказать, плательщик подати, имел право взять заимобразно столько рыбы, сколько нужно для удовлетворения его насущной потребности с условием возвратить её на следующее лето вместе с обычным десятипроцентным взносом. Очевидно, что учреждение, возникшее

на таких основаниях и руководимое такими правилами, не может никогда лопнуть, и капитал его, состоящий из сушёной рыбы, будет постоянно увеличиваться, пока, наконец, поселение будет совсем обеспечено против возможности голода. В Колыме, русском поселении на берегу Ледовитого океана, был впервые сделан этот опыт, и он увенчался полным успехом. Магазин поддерживает жителей селения в продолжение двух самых голодных зим, и его капитал в 1867 г. доходил до трёхсот тысяч штук сушёной рыбы и каждый год приблизительно увеличивался на двадцать тысяч штук.

Анадырск не принадлежит к числу военных постов, и там не было такого запасного магазина, удобного для склада сушёной рыбы. Но если бы наши работы продолжались в Анадырске и его окрестностях и на следующий год, то мы имели в виду просить правительство об учреждении таких магазинов во всех поселениях, как русских, так и туземных, по всей нашей линии.

Однако голод в настоящем году был неизбежен, и к 1 декабря 1867 г. бедный Бёш жил в пустынном селении в шестистах верстах от Гижигинска без денег, без продовольствия, без всяких средств уехать оттуда, с беспомощной партией в сорок пять человек, оставленных у устья Анадыри и основывающих на нём одно все свои надежды. Нечего было и думать о сооружении телеграфной линии при таких обстоятельствах. Всё его желание ограничивалось только снабжением партии съестными припасами, пока прибытие лошадей и людей из Якутска дадут ему возможность продолжать работы.

Видя, что и моё пребывание в Анадырске совершенно бесполезно и что я только способствую скорейшему уничтожению скудного запаса пищи Бёша, я отправился 29 ноября с двумя пенжинскими санями в Гижигинск. Так как мне уже более не пришлось вернуться в эти северные страны, то и не представится более случая упоминать о них. Я расскажу здесь в нескольких словах всё то, что узнал впоследствии из писем о неудачах и несчатиях исследователей в этой местности.

Сани, снаряжённые мною в Гижигинске, достигли Пенжинска только в конце декабря с тремя тысячами фунтов бобов, риса, сухарей и других предметов. Бёш тотчас же отправил шесть из них с небольшим количеством продовольствия к устью Анадыри, а в феврале они возвратились, захватив с собою шесть человек из партии. Желая подвинуть хотя сколько-нибудь работы, Бёш послал этих шестерых человек на реку Миан, около семидесяти пяти вёрст от Анадырска, и поручил им разставлять столбы вдоль линии,

на лыжах. Позже была послана ещё другая экспедиция к устью Анадыри, которая 4 марта также возвратилась с лейтенантом Макри и с семью рабочими. Во время путешествия этой партии стояла очень дурная погода, так что один из рабочих, по имени Робинзон, погиб в дороге во время вьюги в ста пятидесяти верстах на восток от поселения. Его тело осталось не погребённым в одном из домов, построенных Бёшем в предыдущее лето, а товарищи его поехали далее. Тотчас по прибытии их в Анадырск они были отправлены на Миан, и к половине марта обе партии вместе срубили и разместили вдоль берегов этой реки около трёх тысяч столбов. В апреле, впрочем, их съестные припасы начали истощаться, и вскоре им также стала угрожать голодная смерть; Бёш во второй раз отправился в Гижигинск за продовольствием, собрав несколько упряжек голодных собак.

Во время его отсутствия несчастная партия на Миане были предоставлены самим себе. Уничтожив последние крохи пищи и съевши трёх лошадей, посланных им ещё ранее из Анадырска, они потеряли всякую надежду на помощь и на лыжах отправились в поселение. Это путешествие было ужасно для истощённых голодом людей, и хотя они благополучно достигли цели своего пути, но были так слабы, что, приближаясь к поселению, едва могли сделать сто шагов, чтобы не упасть. В Анадырске им удалось добыть немного оленьяго мяса, которым они и питались до возвращения лейтенанта Бёша из Гижигинска с продовольственными припасами, то есть до мая.

Этим и ограничились наши работы на вторую зиму. Что касается до практических результатов, то они были почти ничтожны. Но эти испытания развили в наших служащих и рабочих мужество, терпение и выносливость, что, конечно, при лучших обстоятельствах увенчалось бы блестящим успехом. В феврале, пока г. Нортон со своими людьми работал на Миане, термометр из двадцати одного дня шестнадцать стоял более чем на сорок градусов ниже нуля, пять раз опускался до минус шестидесяти и однажды до минус шестидесяти восьми, то есть сто градусов ниже точки замерзания воды (по шкале Фаренгейта. — *Ред.*). Тесать столбы на лыжах при температуре в сорок или шестьдесят градусов ниже нуля — само по себе нелёгкое испытание для сил человеческих. Но если к нему присоединяются ещё страдания голода и опасения погибнуть среди неведомой пустыни, то оно превосходит человеческую выносливость, и можно только удивляться, как Нортон и Макри могли совершить такие геройские подвиги!

15 декабря я возвратился из Анадырска в Гижигинск после шестнадцатидневного утомительного тяжёлого пути. В это же время прибыл туда из Якутска нарочный курьер с письмами и приказами от майора Абазы. Майор с разрешения и при содействии губернатора этой области нанял на три года восемьсот якутских рабочих с платою по шестидесяти рублей, то есть около сорока долларов в год каждому. Он купил также триста якутских лошадей и вьючных сёдел, огромное количество материалов и съестных припасов, разного рода вещей для снаряжения и продовольствия лошадей и рабочих. Часть этих людей была уже на пути в Охотск, все они должны были быть переправлены туда отдельными партиями в самом скором времени и распределены по всему протяжению линии. Необходимо было, конечно, подчинить всю эту огромную рабочую силу надзору опытных и сведущих американцев. Так как во всех наших партиях таких людей можно было найти человек пять-шесть, то майор Абаза решил послать курьера в Петропавловск за офицерами, приехавшими из Сан-Франциско на судне «Онуард», которые, по его предположению, должны были высадиться в Камчатке. Поэтому он поручил мне распорядиться о доставлении этих людей из Петропавловска в Гижигинск, сделать приготовление к немедленному принятию пятидесяти или шестидесяти якутских рабочих, послать съестных припасов в Ямск для продовольствия тамошней нашей американской партии и семьсот пятьдесят пудов ржаной муки для якутов, которые придут туда в феврале.

Чтобы привести в исполнение все эти приказания, в моём распоряжении было только пятнадцать саней с собаками, но даже и эти были посланы в Пенжинск с продовольствием на выручку лейтенанта Бёша. С помощью исправника мне удалось уговорить двух казаков ехать в Петропавловск за американцами, которые должны были быть оставлены там «Онуардом», и послать с полдюжины коряков свезти муку и разные другие припасы в Ямск и сказать лейтенанту Арнольду, чтобы тот сам прислал сани за остальными припасами. Таким образом, мои собственные пятнадцать саней остались в моём распоряжении для пособия лейтенанту Сандфорду и его партии, занятой в настоящее время приготовлением столбов на реке Тильгае, на север от Пенжинского залива.

Раз как-то в конце декабря, когда мы с Доддом объезжали стаю собак за селением, нам пришли сказать, что какой-то американец приехал из Камчатки с известиями о долго пропадавшем судне «Онуард» и партии людей, высаженных им в Петропавловске.

Вернувшись поспешно в селение, мы нашли г. Льюиса, вышеупомянутого американца, сидящим совершенно спокойно в нашей комнате за чаем. Этот предприимчивый молодой человек — агент телеграфного общества, совершенно не приученный к суровой жизни, не зная ни одного слова по-русски, проехал один среди зимы всё необитаемое пространство Камчатки между Петропавловском и Гижигинском. Он был в дороге сорок два дня и сделал на собаках около тысячи двухсот миль без других товарищей, кроме нескольких туземцев и казака из Тагильска. Он относился очень скромно к такому подвигу, хотя это была одна из самых трудных поездок, совершенных служащими в нашем обществе.

Действительно, «Онуард», как мы и предполагали, был уже более не в состоянии достигнуть Гижигинска по случаю позднего времени года, выгрузил свой груз и высадил большую часть своих пассажиров в Петропавловске, а г. Льюис был послан начальником этой партии донести обо всём майору Абазе и узнать, что им следовало делать далее.

После прибытия г. Льюиса до марта не случилось ничего особенно важного. Арнольд в Ямске, Сандфорд на Тильгае и Бёш в Анадырске старались с немногими имеющимися у них людьми подвинуть работы вперёд, насколько только это было можно. Но вследствие глубокого снега, сильного холода и повсеместного недостатка в съестных припасах все их усилия были почти бесплодны. В январе я поехал с двенадцатью или пятнадцатью санями в стан Сандфорда на Тильгае и попытался перевезти его партии на другой пункт, вёрст на сорок ближе к Гижигинску. Но во время сильной вьюги в Куэльской степи мы все были разбиты и рассеяны. Пять дней мы буквально блуждали в облаках снега, из-за которого не видны были даже наши собаки. Сандфорд с частью своей партии возвратился на Тильгай, а я с остальными вернулся обратно в Гижигинск.

В конце февраля казак Холмогоров возвратился из Петропавловска и привёз с собою троих из людей, приехавших туда на «Онуарде». В марте я получил из Якутска второе письмо и новые приказания от майора Абазы. Нанятые им восемьсот рабочих переправлялись в Охотск, и более полутораста из них принялись уже за работу и в этом городке, и в Ямске. Снаряжение и отправка остальных всё ещё требовали его личного надзора, и он писал, что ему невозможно будет возвратиться на эту зиму в Гижигинск. Он мог только доехать до Ямска, корякского поселения в трёхстах верстах от Гижигинска, и просил меня встретить его там

двенадцать дней спустя после получения его письма. Я тотчас же отправился в путь с товарищем-американцем по имени Лит, взяв на двенадцать дней продовольствия для себя и собак.

Между Гижигинском и Ямском местность была совершенно другого характера, чем всё то, что мне случалось до сих пор видеть в Сибири. Здесь не было таких огромных пустынных равнин, как между Гижигинском и Анадырском и в северной части Камчатки.

Весь берег Охотского моря на шестьсот вёрст западнее Гижигинска состоял из суровых обрывистых, почти непроходимых гор, прорезанных глубокими долинами и ущельями и густо поросших сосновыми и лиственными лесами. Становой хребет, опоясывающий Охотское море от самой китайской границы, всё время почти тянется возле самого берега. Между его боковыми отрогами спускаются сотни маленьких речек и потоков, которые текут по глубоким лесистым долинам в море. Дорога, ведущая от Гижигинска в Ямск, пересекает все эти речки и боковые отроги под прямыми углами, проходя почти посредине между главной цепью и морем. Большая часть кряжей между этими потоками ничто иное, как возвышенные обнажённые водоразделы, через которые очень легко переехать. В одном только месте, в ста пятидесяти верстах восточнее Гижигинска, от центрального хребта тянется к морю значительный горный кряж от двух с половиной до трёх тысяч футов вышины, который совершенно загораживает дорогу. У подножия этих гор проходит глубокая, мрачная Виллигинская дорога, верхний конец которой проникает в центральную цепь Становых гор и служит проходом для ветров между морем и степями. Зимой, когда воды Охотского моря теплее, чем ледяные равнины на севере гор, тёплый воздух поднимается вверх, а более холодный врывается через Виллигинскую долину, чтобы занять его место. Летом же, напротив, когда вода моря охлаждается ещё глыбами плавучаго льда, обширные степи по ту сторону гор уже покрыты растительностью и согреваются почти постоянным солнцем, вследствие чего и ветер принимает обратное направление.

На Виллигинскую долину можно поэтому смотреть, как на громадное дыхательное отверстие, которым внутренние степи дышат раз в год. Ни в каком другом месте Становой хребёт не представляет свободного прохода для воздуха между степями и морем, и поэтому неудивительно, что в этом ущелье бушует почти непрерывная буря. Несмотря на повсеместное затишье кругом, в Виллигинском проходе ветер дует, как настоящий ураган, срывая огромные массы

снега с горных склонов и унося их далеко в море. Поэтому он внушает страх всем туземцам, которым предстоит ехать по этому пути, и известен во всей Северо-Восточной Сибири под названием Бурного ущелья.

Наша маленькая партия на пятый день отъезда из Гижигинска увеличилась ещё присоединением к нам русского почтальона и трёх или четырёх саней, которые везли ежегодную камчатскую почту, и теперь приблизилась к подножью страшных Виллигинских гор. Вследствие глубокого снега, мы подвигались не так быстро, как ожидали, и только на пятую ночь нам удалось достигнуть маленькой юрты, служащей убежищем для путешественников возле устья речки Тополовки, в тридцати верстах от Виллиги. Здесь мы расположились на ночь, напились чаю и растянулись на жёстком деревянном полу, чтобы отдохнуть перед тем трудным путём, который ожидал нас на следующий день, а именно — дорога через Бурное ущелье.

Глава 35

Поездка в Ямск. Виллигинская долина. Буря. Опасный проход

<...> Почтальон же, наш товарищ по путешествию, уже несколько дней выказывал странную склонность избегать всякого труда и предоставлять нам самим прокладывать себе дорогу, тогда как он сам совершенно спокойно ехал по нашим следам. Такою хитростью он навёл на себя самую неумолимую ненависть мистера Лита. Этот последний из желания отомстить почтальону не дал ему отдохнуть и пяти часов и, указывая ему на северное сияние, уверил его, что это были первые лучи разсвета. Вследствие этого бедному почтальону пришлось встать с полночи, и теперь он усердно пролагал дорогу по крутому горному склону на рыхлом снегу в три фута глубины, рассчитывая на обещание мистера Лита догнать его до солнечного восхода.

Когда я встал в пять часов, то голоса почтальона и его людей и крики их на измученных собак ещё были слышны у нас с вершины горы. Мы сели за завтрак и нисколько не торопились, желая дать время почтальону проложить нам дорогу, и только в шесть часов утра мы выехали по следам, проложенным почтальоном.

Утро было ясное и тихое. Мы переехали горы за юртой и приближались между незащищённых долин и высоких холмов к берегу моря. Над восточными вершинами взошло солнце, снег блестел, как усыпанный бриллиантами, между тем, как отдалённые

Виллигинския вершины окрашивались нежным, бледным пурпуром. Оне казались нам такими спокойными и сияющими в своём снежном величии, точно и самая мысль о буре была совершенно чужда их гладким белым склонам и острым вершинам. Воздух был морозный и прозрачный. Теперь дышалось как-то легко и свободно, словом, все мы были в самом хорошем расположении духа. Даже наши собаки, отдохнув за ночь, теперь бежали галопом по жёсткой изрытой дороге, подбрасывая наши легкия сани во все стороны.

Мы достигли берега моря уже около полудня, а горы остались за нами. Тут же мы догнали почтальона, который остановился на время, чтобы дать отдохнуть собакам. Силы наших собак ещё были совершенно свежи, и мы снова пустились в дорогу, быстро приближаясь к Виллигинской долине.

Я уже благословлял в душе судьбу за то, что нам удастся проехать этот опасный проход в ясную погоду, как вдруг моё внимание было привлечено белым облаком тумана, которое мне казалось совершенно необыкновенным. Это облако простиралось от выхода Виллигинскаго ущелья до тёмной поверхности Охотскаго моря. Я никак не мог понять, что бы это значило, спросил проводника, не туман ли это. Но на лице моего проводника выразилась тревога, когда он взглянул на это облако и лаконически сказал:

— Это Виллига дурит!

Такой ответ не много подвинул меня вперёд, и я попросил объяснения. Но к моему крайнему удивлению и отчаянию, мне сказали, что странная белая полоса, которая мне показалась отдалённым туманом, было ничто иное, как густое облако снега, которое несла буря из ущелья. Эта буря уже начала свирепствовать в северных проходах Станового хребта. Наш проводник сообщил нам, что теперь совершенно невозможно перейти долину и что всякая подобная попытка была бы крайне опасна, необходимо дожидаться, пока совершенно стихнет ветер. Мне казалось, напротив того, что тут не предвиделось никакой опасности, а так как по ту сторону ущелья стояла тоже юрта, в которой я надеялся приютиться, то я думал попытаться пройти через этот проход. На том месте, где мы расположились, было совершенно тихо, так что даже не шелохнулось бы и пламя свечи. Но в это время я не понимал всей яростной силы урагана, который на расстоянии какой-нибудь мили от нас поднимал из ущелья снег и уносил его далеко к морю.

Наш проводник, видя, что мы с мистером Литом решили перейти долину во что бы то ни стало, пожал плечами и покачал головой, как бы говоря: «Вы скоро раскаетесь в вашей неосторожности».

Но мы не обратили на него никакого внимания и двинулись вперёд. Чем ближе мы подходили к белой туманной стене, тем сильнее начинали ощущать острые перемежающиеся порывы ветра, а небольшие снежные вихри становились всё сильнее и чаще. Проводник заметил нам ещё раз, что с нашей стороны крайне безумно подвергаться добровольно такой буре, которая нам угрожает, но мистер Лит только посмеялся над замечанием проводника, сказав, что в Сьерре Неваде он видал и не такая бури, как эти. Но не прошло и пяти минут, как мистер Лит готов был допустить, что настоящая буря в Виллиге ничем не уступает тем, которые ему приходилось видеть в Калифорнии.

Действительно, буря становилась всё сильнее и сильнее. Лишь только мы обогнули скалу, которая заслоняла вход в ущельё, как порыв ветра встретил нас с всею своею яростью. Мы положительно были ослеплены хлопьями снега и задыхались от них. Такие густые облака снега почти мгновенно скрыли от наших глаз и солнце, и ясное голубое небо, так что вся земля казалась погруженною в густой мрак. Ветер ревел, свистал, бушевал, как это обыкновенно встречается на море при сильной буре. Казалось, что в этом внезапном переходе от такой солнечной погоды к воюющей, ослепляющей буре было что-то странное, сверхъестественное, и тут только я начал сомневаться в возможности перебраться через долину.

Наш проводник бросил на меня отчаянный взгляд, точно упрекал меня за мою упорную настойчивость непременно идти вперёд, тогда как он предостерегал меня заранее, но я пренебрёг его мудрыми советами. Потом он стал подбадривать своих оплошавших собак громкими криками и пощелкиванием. Глазныя впадины этих животных были буквально залеплены снегом и у некоторых собак сочились из них капли крови, но, не смотря на все эти страдания, неутомимыя животныя продолжали бороться с непогодой. Только изредка они издавали зловеший вой. Откровенно признаюсь, что такой вой пугал меня гораздо более, чем рёв самой бури.

Минуту спустя мы уже были на дне ущелья. Но прежде, чем мы успели умерить стремительную силу, сообщенную саням быстрым спуском, как мы уже катились по гладкой блестящей ледяной поверхности реки Пропадшей и с невероятною скоростью неслись к Охотскому морю, которое находилось только в ста аршинах ниже нас. Все наши старания остановить сани от сильного напора ветра были совершенно бесполезны. Теперь только я вполне сознавал всю ту опасность, о которой намекал наш проводник.

Если нам не удастся остановить сани прежде, чем мы доедем до устья реки, то мы неминуемо очутимся в море на трёх или четырёхсаженной глубине. Тут часто происходили такие несчастные случаи, от чего река и получила своё зловещее наименование Пропадшая.

Мистер Лит и казак Подерин сидели в отдельных санях и с самого начала попали ближе, чем мы, к берегу, так что успели повернуть сани с помощью остроконечных палок. Но старый проводник и я сидели вместе на одних санях, были стеснены тяжёлыми меховыми одеждами и не могли свободно управлять или остановиться, а собаки также не были в состоянии умерить свой бег. Я полагал, что сани будут неминуемо унесены в море, если мы оба будем за них цепляться, выскочил и старался удержаться, сев сначала на лёд, а потом растянувшись на нём вниз лицом. Но всё это было бесполезно, моё меховое платье скользило по гладкой предательской поверхности, и я нёсся вниз ещё быстрее, чем прежде. Я разорвал свои рукавицы, и когда, наконец, мне встретилось довольно шероховатое место на льду, я успел схватиться ногтями за маленькую неровность на его поверхности и остановиться. Я почти не решался даже вздохнуть лишний раз, чтобы только не потерять равновесия и не лишиться своей последней точки опоры. Мистер Лит, увидев моё отчаянное положение, бросил мне свой ерстель с железным наконечником. Этот ерстель обыкновенно употребляют при спусках с гор. С помощью ерстеля, упирая им в лёд, я выкарабкался на берег в нескольких шагах от открытого моря, у устья реки.

Наш проводник всё ещё продолжал катиться вниз по истоку, казак Подерин пришёл к нему на помощь ещё с другим ерстелем, так что общими усилиями им удалось, наконец, выбраться на твёрдую землю. Теперь я был готов возвратиться и укрыться от бури, но наш проводник уже в свою очередь оказался настойчивым и не хотел мне более уступать и требовал, чтобы мы ехали далее, даже если бы нам пришлось потерять в море все сани. Он мотивировал свою настойчивость тем, что предупреждал нас, но мы тогда не хотели его слушать и потому теперь должны выпить всю чашу до дна.

В этом месте невозможно было переехать реку, и нам пришлось подниматься по левому берегу на расстоянии около полумили и притом в самую сильную бурю. Наконец мы достигли до изгиба реки, где была возможность перебраться на другую сторону. На этот раз мы переправились совершенно удачно. Мы переехали невысокий кряж на западе реки Пропадшей и доехали до другого

маленького потока, известного под именем Виллиги, у подножия Виллигинских гор. Вдоль него тянулась узкая полоса леса и там стояла где-то юрта, которую мы искали.

И вот нам необходимо было добраться до этой хижины, где бы мы могли провести ночь. А буря, между тем, всё более и более усиливалась; притом мы ещё не были вполне уверены в существовании этой юрты, и нам пришлось её искать по всей полосе леса, тянувшегося вдоль русла Виллиги. Несколько раз нам приходилось выбираться из чащи леса и возвращаться опять к Виллиге. Случалось, что, подъехав к какому-нибудь высокому снежному сугробу, мы разрывали его, думая найти под ним юрту, в которой надеялись провести ночь, но наши труды оказывались совершенно напрасными, так как под разрытым снегом оказывались одни только пни. Такое положение, конечно, сильно тревожило всех нас, но наш проводник продолжал настаивать на том, что в лесу должна быть бревенчатая юрта, в которой мы можем развести огонь, напиться чаю и провести бурную ночь под кровлей. Но в какой части леса находится эта хижина, он никак не мог этого определить и только ходил от сугроба к сугробу, втыкая в него свой ерстель. Мы уже начали приходить в отчаяние, так как приближались сумерки, и нам, чего доброго, придётся ночевать под открытым небом, дрогнуть от холода и не иметь возможности развести костра, потому что ветер был настолько силён, что, конечно, потушил бы огонь. Но судьба, вероятно, сжалилась над нами, и вскоре наши поиски увенчались успехом.

Перед сумерками мы доехали до бревенчатой хижины, усталые, голодные и промокшие до костей. По словам нашего проводника, эта хижина и была именно Виллигинская юрта. Последние путешественники, отдохавшие в этой хижине, забыли закрыть отверстие трубы, и всё небольшое помещение юрты было наполнено снегом. Мы расчистили его, сколько могли, потом развели огонь посередине хижины и, несмотря на сильный дым, уселись пить чай вокруг очага. Мы разстались с почтальоном около полудня и думали, что ему не удастся добраться до юрты, но лишь только стало смеркаться, как в лесу послышался лай собак и через несколько времени появился и сам почтальон. Теперь наша партия уже состояла из девяти человек: двух американцев, трёх русских и четырёх коряков, у нас у всех был крайне дикий и странный вид. Мы разместились все, скорчившись около очага этой низкой закоптелой хижины, и наслаждались горячим чаем, прислушиваясь к завыванию ветра.

Несмотря на то, что нас было девять человек и все мы были взрослые и сильные мужчины, но это завывание ветра наводило на всех нас какое-то странное впечатление: не то страха, не то скуки. Мы были точно отделены от всего остального мира, здесь, среди леса, занесённого снегом, в маленькой заброшенной хижине, и ещё были довольны, что могли сидеть тут, вокруг огня, и согреть наши оковенелые члены горячим чаем. Мы сидели молча, изредка только перекидываясь друг с другом отрывистыми фразами, которые, конечно, по большей части касались нашего дальнейшего путешествия. Наша юрта была слишком тесна, чтобы мы все могли расположиться в ней на ночь, и поэтому коряжки разместились на дворе, прямо на снегу, а к утру они очутились почти до половины зарытыми в сугроб.

В лесу целую ночь дул сильный и порывистый ветер, а на следующее утро буря несколько не уменьшилась. Нам было хорошо известно, что такая буря в ущелье могла продолжаться недели две подряд, а то и более, между тем как у нас было всего только на четыре дня съестных припасов для нас и корму для собак. Необходимо было что-либо предпринять. Виллигинские горы запирали нам дорогу в Ямск, потому что оне прорезывались тремя проходами в долину, по которым можно было пробраться только в хорошую и ясную погоду. Но в такую бурю, которая свирепствовала в настоящее время, даже сто проходов не послужили бы ни к чему, потому что шёл такой сильный снег, который, положительно, всё скрывал от наших глаз, так что в тридцати шагах решительно ничего не было видно. Мы легко могли вместо прохода забрести в такую глушь, откуда не знали бы, как и выбраться. Западный берег, насколько мы могли это видеть с того места, где расположились, был совершенно загромождён до самого моря на высоту семидесяти пяти или ста футов огромными снежными сугробами, которые накопились здесь с самого начала зимы. Эти сугробы заслоняли теперь всё ущелье, так что не оставляли прохода между ним и морем. Эти снежные сугробы при частых переходах от тепла к холоду стали почти такими же твёрдыми и скользкими, как лёд. А так как они поднимались почти до самых вершин утёсов, под углом в семьдесят пять или восемьдесят градусов, то, конечно, не было никакой возможности удержаться на них, а необходимо было предварительно вырубить топором ступени. Наш единственный путь в Ямск пролегал вдоль поверхности этих скользких снежных холмов, поднимающихся на три, на четыре сажени над уровнем моря. Но мы всё же не могли надеяться миновать эти

холмы без всякого несчастья, потому что при малейшем неверном шаге мы рисковали скатиться в море. Нам не предстояло никакого другого исхода и потому пришлось попытаться найти счастье. Мы привязали собак и взялись за топоры, сбросив верхнюю тяжёлую одежду.

Целый день мы работали с большим усердием и только к шести часам вечера вырубили глубокую ложбину в три фута ширины вдоль поверхности холма до места, отстоящего на милю с четвертью от устья Виллиги. Но тут нас остановило ещё худшее препятствие, чем то, которое мы только что устранили. Ровный берег, который тянулся до сих пор одной непрерывной полосой у подножия утёсов, здесь внезапно исчезал и снежная масса, в которой мы вырубили себе дорогу, круто обрывалась, не поддерживаемая снизу, в море, образуя провал, наполненный водой, футов в тридцать пять ширины, из которого поднималась чёрная отвесная скала, образующая противоположный берег. Не было никакой возможности перебраться через это место без понтонного моста. Мы устали до такой степени, что положительно приходили в отчаяние. Нам пришлось расположиться на ночлег на самом откосе, а на следующее утро возвратиться как можно скорее к Виллиге и совершенно отказаться от поездки в Ямск.

Трудно было бы найти в Сибири более дикую и опасную местность для стана, чем та, в которой нам пришлось остановиться ночевать. Когда стало темнеть, то я с беспокойством начал следить за состоянием погоды. А мы в это время находились на огромном скользком сугробе, который поднимался прямо из воды. Насколько нам было известно, этот снежный сугроб не имел другой опоры, кроме узкой полосы льда. Следовательно, при малейшем порыве ветра, кроме как с севера, могли бы нахлынуть на нас волны, которые подмыли бы и разрушили бы возвышенность и увлекли бы нас с собою в открытое море или же оставили бы нас на голой поверхности обрыва в семидесяти пяти футах над водою. Весьма понятно, что как то, так и другое представляло для нас большую опасность, и поэтому я решил поискать более удобного и более безопасного места для нашего стана.

Мистер Лит со своей обычно беззаботностью вырыл себе, как он обыкновенно выражался, «спальню» в снегу и предсказывал и мне прекрасный и покойный сон, если только я соглашусь разделить с ним его постель. Но, конечно, при таких обстоятельствах я решил лучше отказаться от его любезного предложения. Ещё до наступления утра его спальня, кровать и постель могли очутить-

ся в открытом море, а его покойный сон мог бы продлиться вечно. Наконец мне удалось найти ложбину по направлению к Виллиге. эта ложбина, по всей вероятности, была прорыта маленьким потоком на вершине утёса. В этом-то каменистом неровном русле я и расположился с туземцами на ночлег. Там мы разместились так, что наши тела образовали угол в сорок пять градусов.

Если читатель желает иметь хотя малейшее понятие о том, как мы провели ночь, то пусть он представит себя лежащим на крутой покато́й крыше какого-либо здания, над его головой будет обрыв в сто футов, а под ногами — открытое море.

Не мудрено, что при таких удобствах ночлега мы уже с разсветом были на ногах. Пока мы приготавливались к обратному путешествию к Виллиге, как один из коряков, отправившийся ещё раз взглянуть на море, скоро прибежал обратно с радостным криком:

— Теперь можно переехать! Можно переехать!

За ночь прилив принёс две или три огромные льдины и так сплотил их в заливце, что из них образовался естественный мост. Однако мы опасались, что лёд может не выдержать слишком большой тяжести, и сняли поклажу со всех саней и потом снова всё уложили по-прежнему и поехали далее. Теперь миновали, наконец, главные затруднения, хотя иногда нам и случалось прорубать себе дорогу на снежных сугробах, и чем далее мы подвигались на запад, тем берег, как предсказывали коряки, становился всё выше и шире. Лёд исчезал мало-помалу, и к наступлению сумерек мы уже сделали тридцать вёрст. На следующий день нам удалось выбраться из этой узкой дороги через долину реки Кананаги.

На двенадцатый день нашего путешествия мы достигли обширной Малкоганской степи, которая находилась на расстоянии всего тридцати миль от Ямска. Несмотря на то, что наши съестные припасы были совершенно истощены, мы не особенно этим тревожились, потому что надеялись быть к ночи в поселении. Но лишь только стало смеркаться, как поднялась вьюга, во время которой мы сбились с пути, и так как нам было опасно ехать в темноте, потому что мы могли слишком близко подъехать к берегу и с крутизны свалиться в море, которое граничило со степью на востоке, то мы решились остановиться. Мы нигде не могли найти дров для костра, но если бы нам даже и удалось развести огонь, то его тотчас же занесло бы облаками снега, яростно гонимаго ветром по равнине. Мы на земле разстелили полотно палатки и на один из его краёв поставили тяжёлые сани, чтобы его не унесло, а сами заползли под него, чтобы укрыться от снега.

Мы легли вниз лицом, а полотно, между тем яростно колотилось о наши спины.

Из мешка с хлебом мы вытряхнули последние мёрзлые корки, которые там оставались, и поели сырой говядины, которую мистер Лит отрыл в одних санях. Минут двадцать спустя мы стали замечать, что полотно палатки стало суживаться и начинало нас давить. Мы сделали некоторое усилие, чтобы привстать, но почувствовали, что прижаты к земле. Снег навалил такими огромными массами и так плотно на края палатки, что её невозможно было сдвинуть с места. Мы попытались приподняться раза два или три, но убедились, что не в силах были этого сделать, и поэтому порешили лежать спокойно, стараясь извлечь возможную выгоду из нашего неприятного положения. Конечно, пока ещё снег нас не совсем засыпал, то нам было удобнее находиться под палаткой, чем на открытом воздухе, так как здесь мы были, по крайней мере, защищены от ветра. Однако вскоре сугроб снега над нами достиг таких размеров, что мы не могли более повернуться, а свежий воздух почти вовсе и не проникал к нам. Оставалось выбрать одно из двух: или выползти на свежий воздух, или задохнуться под сугробом снега, который с минуты на минуту становился всё выше и всё тяжелее. Нам уже становилось трудно дышать, тогда я вынул свой складной нож и прорезал большое отверстие в палатке над своей головой. Через это отверстие мы все и вылезли на свежий воздух.

Но не прошло и пяти минут, как наши ноздри и глаза были совершенно залеплены снегом, и мы дышали так тяжело, точно струя воды из пожарной трубы была пущена нам прямо в лицо. Тогда мы сели на снег, скорчились, спрятали руки и головы в шубы и в таком неприятном положении стали ожидать разсвета. Но мистер Лит, любивший всегда подшучивать над подобными приключениями во время наших путешествий, закричал мне через ворот моей шубы:

— Что сказали бы наши матери, если бы оне нас увидели в таком положении?

Мне хотелось спросить у него, насколько настоящая погода могла сравниться с бурями в Сьерре Неваде, но он ушёл прежде, чем я успел высунуть голову, и я ничего не слышал более о нём в эту долгую ночь. Он исчез где-то в темноте и приютился одиноко на снегу, терпеливо вынося голод, холод и другия неудобства до самого утра. Мы просидели на этой пустынной равнине более десяти часов среди страшной вьюги, без огня, без пищи, без сна, про-

дрогшие от холода и истощённые от голода. Нам казалось, что мы никогда не дождемся разсвета.

Но вот, наконец, забрезжилось утро сквозь серые снежные облака, и мы поднялись с окоченевшими членами. Затем мы принялись откапывать наши сани, занесённые снегом. Нам в этом много помог мистер Лит, потому что без его энергичных усилий вряд ли удалось бы достигнуть успеха. Мои руки так онемели от холода, что я едва держал в них лопату или топор, наши же проводники, напуганные вьюгой, пришли в сильное уныние и, казалось, потеряли всякую способность к работе. Наконец, благодаря личным усилиям мистера Лита, наши сани были откопаны, и мы отправились в путь. Но эта короткая вспышка энергии была последним проявлением сильной воли поддержать ослабевающее и утомлённое тело, и через полчаса мистера Лита пришлось привязать к саням. Мы закутали его в медвежьи шкуры, обмотали с головы до ног тюленьими ремнями и поехали далее.

Несколько времени спустя спутник мистера Лита, Подерин, прибежал ко мне, испуганный и бледный, объявив, что тот умер. Он прибавил ещё, что как ни тряс его, но не мог добиться от него ни слова. Я скорее выскочил из саней и побегал к тому месту, где лежал Лит, также стал трясти его за плечи и старался раскрыть ему голову, которую он спрятал в шубу. К моей величайшей радости, я, наконец, услышал голос Лита, который объявил мне, что он чувствует себя совершенно хорошо и вполне надеется выдержать до ночи, а не отвечал Подерину потому, что не хотел лишний раз беспокоиться, но что мне нечего за него опасаться. Затем мне показалось, будто он что-то прибавил о «худших бурях в Сьерре Неваде», чем и убедил меня, что он ещё не совсем плох, и нечего было терять надежды, пока он ещё был в состоянии настаивать на превосходстве калифорнских бурь.

Около полудня мы добрались до реки Ямы и, проехав час или два по лесу, наткнулись на одну из якутских партий рабочих лейтенанта Арнольда. Эти люди и привели нас в свой стан, находящийся в нескольких милях от поселения. Здесь нас накормили ржаным хлебом и напоили горячим чаем, так что мы отогрели наши окоченевшие члены. Увидя мистера Лита раздетым, я удивился, как он остался жив. Когда он в прошлую ночь лежал на земле во время вьюги, то ему нанесло на шею много снега, который растаял от теплоты его тела и потом опять замёрз, так что образовал почти сплошную кору вдоль его спинного хребта, и в таком положении он проехал двадцать вёрст. Лит выдержал

это только благодаря своей удивительной силе воли и крепкому здоровью.

Когда мы согрелись, отдохнули и обсохли у костра якутов, то снова отправились в дорогу, так что к вечеру въехали в Ямск. Мы употребили целый месяц на это трудное и утомительное путешествие. Три недели спустя после нашего прибытия в Ямск мистер Лит после недолгого отдыха поехал в Охотск, где по поручению майора принял на себя надзор за якутскими рабочими. Ещё до сих пор мне припоминаются его слова, сказанные им во время вьюги и мрака той ужасной ночи, которую мы провели на Малкачанской степи: «Что сказали бы наши матери, если бы они нас увидели в таком положении?»

Впоследствии этот бедный молодой человек сошёл с ума от возбуждения и тяжёлых испытаний, подобных тем, которые я только что описывал, отчасти, вероятно, и вследствие этого злополучного путешествия в Ямск. Конец мистера Лита был очень печальный — он застрелился в одном из поселений на берегу Охотского моря.

Я с умыслом описал подробно эту поездку в Ямск, так как в ней вполне высказались все мрачные стороны путешествий по Сибири. В такой малонаселённой стране, как Сибирь, путешествия, в особенности зимою, когда они бывают сопряжены с большими или меньшими опасностями, страданиями и лишениями, далеки от какой бы то ни было привлекательности.

Глава 36

Обратное возвращение в Гижигинск. Прибытие «Онуарда». Приказание окончить работы ввиду проведения атлантического кабеля. Отъезд в Санкт-Петербург. Пять тысяч миль пути

Моя поездка в Ямск, которую я так подробно описал в предыдущей главе, была последнею, которую мне пришлось совершить по Северо-Восточной Сибири. Майор Абаза вернулся в Якутск 18 марта. Тут он окончил снаряжение и организацию наших якутских рабочих, а я отправился в Гижигинск, чтобы дожидаться там прибытия кораблей из Америки. Начиная с этого времени и до открытия навигации сибирские рабочие сделали очень мало. В марте также вернулся обратно из Петропавловска и Григорий Зиновьев, казак, посланный туда ещё зимою. С ним приехали и остальные офицеры с прибывшаго из Америки судна «Онуард», которых я послал по распоряжению майора в Ямск. Сандфорд со своею партией рабочих окончил рубку столбов на Тильгае, и я их

отправил в Пенжинск. Но так как срок найма его рабочих уже кончился, и они отказались возобновить контракты, то я остался только с пятью рабочими для продолжения дальнейших подготовительных работ.

Лёд в Гижигинской губе стал исчезать только в конце мая, а 1 июня прибыло судно к Матугским островам. Это были лодка «Sea Breeze» из Нью-Бедфорда штата Массажест и привезла нам известия из Америки от 1 марта. Оказалось, что проведение атлантического кабеля окончилось с большим успехом, и мы узнали из слов «San-Franzisco Bulletin», что ввиду такого успеха все работы по Российско-Американской телеграфной линии будут прекращены, а следовательно, и всё предприятие рушилось.

В половине июля прибыло из Сан-Франциско судно компании «Онуард» с приказанием окончить все дела, рассчитать всех туземных рабочих, собрать всех наших людей и вернуться обратно в Америку. Проведение атлантического кабеля увенчалось полным успехом, так что телеграфное общество западного Союза, потратив около трёх миллионов долларов, совершенно отказалось от проведения сухопутной линии в Россию. Нечего и говорить, что нам всем было крайне тяжело так неожиданно оставить дело, на которое мы употребили три года нашей жизни и перенесли столько страданий и лишений, терпя и голод, и холод, и изгнание. Но, нечего делать, пришлось покориться судьбе, и мы тотчас же стали готовиться к отъезду.

Вот в каком положении было дело к тому времени, когда пришлось закрыть работы. Мы исследовали весь путь от Амура до Берингова пролива, заготовили все вместе до пятидесяти тысяч столбов, построили от сорока до пятидесяти станций и магазинов, между Ямском и Охотском прорубили на пятьдесят миль дорогу по лесам и окончили всю подготовительную работу по всему протяжению линии. К следующему году мы обладали обширными средствами. Кроме семидесяти пяти американцев, у нас было в распоряжении полтораста туземцев, которые уже работали между Ямском и Охотском, и ещё шестьсот были высланы из Якутска. У нас был маленький пароход на Анадыри, и мы заготовили другой для Пенжинска; у нас было сто пятьдесят собак и несколько сотен оленей в Ямске, Охотске и Гижигинске. Мы купили триста лошадей в Якутске с огромным количеством материала и продовольствия. Начиная с 1 сентября, мы могли бы приступить к работам с тысячью рабочими. Но успех атлантического кабеля разрушил все наши надежды и ожидания. Все наши труды оказались

бесполезными. Никакое общество в мире не согласилось бы предпринимать и поддерживать постройку линии, у которой был такой соперник, как атлантический кабель.

Вся местность от Берингова пролива до Амура не представляла уже таких непреодолимых препятствий для проведения телеграфной линии. Работа была бы трудна, но исполнима. Я полагаю, что этот путь был бы удобнее для проведения линии в Китай, чем тот, который недавно предложил г. Коллинс через Алеутские острова, Камчатку и Японию.

Рабочий труд ценится очень дешево в Сибири. В Якутске можно нанять сколько угодно рабочих за сорок долларов в год на хозяйском продовольствии. В Якутске и Колыме также можно купить пятьсот или шестьсот лошадей от пятнадцати до двадцати пяти долларов за штуку. Из Америки следовало бы только привезти проволоку, изоляторы, инструменты и ещё несколько съестных припасов для некоторых мастеровых. Я вполне уверен, что если бы встретилась необходимость, то от Берингова пролива до реки Амура можно было бы провести телеграфную линию с полным успехом в какие-нибудь два года, истратив на это не более двухсот пятидесяти тысяч фунтов стерлингов.

После прибытия «Онуарда» весь конец лета 1867 г. был употреблён на собрание партий, рассеянных вдоль берега Охотского моря, на распродажу наших съестных запасов русским купцам и на приготовления к обратному путешествию. К устью Анадыри было послано отдельное судно за Бёшем и его товарищами, и мы уже более не виделись с ними. Майор Абаза уехал в Петербург сухим путём 6 августа, в начале же октября «Онуард» отплыл в Сан-Франциско и увёз с собою всех, кроме четырёх служащих в Российско-Американской телеграфной экспедиции. Лит, Прайс, Мэгуд и я — арьергард великой армии — остались в Охотске, намереваясь вернуться обратно на родину зимою через Азию и Европу — словом, мы пожелали совершить кругосветное путешествие.

Конечно, предстоящее путешествие не могло быть сопряжено с такими опасностями, затруднениями и лишениями, которые нам приходилось испытывать во время наших переездов до Сибири, хотя сравнительно и небольших по расстоянию, но продолжительных по времени, которое приходилось употреблять на них. В предстоящем путешествии нам улыбалась надежда, что с каждой верстой мы всё более и более будем приближаться к цивилизованному миру, тогда как при переездах по Северо-Восточной Сибири

нам приходилось углубляться в такие пустынные местности, по которым мало приходилось путешествовать более или менее образованным людям. Нам предстояло начать путешествие на собаках, потом переменить их на почтовых лошадей, а последних на современный способ передвижения — железную дорогу, которая должна была перевезти нас с востока европейской России в Петербург. Конечно, нам придётся провести в дороге два с половиною месяца, но это нас нисколько не страшило. Во время нашего пребывания в Сибири мы достаточно свыклись с постоянными переездами. Одно только обстоятельство омрачало все наши мысли — это неудача нашего предприятия, от которого пришлось отказаться в то время, когда на него было уже потрачено столько труда, лишений и страданий и столько перенесено опасностей!

Наша жизнь после отъезда товарищей была очень невесела в скучном поселении. Но 24 октября Прайс и я выехали из поселения на собаках в Петербург, предприняв, таким образом, путешествие в пять тысяч миль.

Я нахожу совершенно излишним описывать наше путешествие от Тихаго океана в Россию, потому что описаний таких сухопутных путешествий существует очень много, и мне нечего к ним прибавить. Скажу только, что от Якутска мы взяли почтовых лошадей и только 6 декабря, путешествуя днём и ночью, приехали в Иркутск, главный город Восточной Сибири. Мы переехали сибирскую границу 30-го числа того же месяца и только после десяти недель непрерывного пути по Сибири и Европейской России мы увидели, наконец, златоглавую Москву. Это было 3 января 1868 г...

Мы закрыли навсегда книгу, в которой были помещены все наши лишения и испытания во время путешествия по Сибири.

Вторая книга, представляемая в рубрике «Камчатская историческая библиотека», как нам кажется, может явиться дополнением к труду Дж. Кеннана в части описания быта, культуры и нравов аборигенных народов Северо-Востока Азии, тех мест, через которые за шесть десятилетий до этого проехал американский путешественник. Это — изданная в 1929 г. Владивостокским отделом государственного Русского Географического общества тиражом всего двести пятьдесят экземпляров книга Н. Н. Беретти «На крайнем Северо-Востоке России». Особую ценность ей, давно ставшей библиографической редкостью, придают изображения жилищ, средств передвижения, орудий охоты и рыболовства и бытовых предметов, позволяющие, при необходимости, реконструировать их с высокой точностью.

К сожалению, об её авторе нам мало что известно. По отрывочным сведениям, Н. Н. Беретти во второй половине 1920-х гг. был уполномоченным Внешторга РСФСР. В 1928—1929 гг. он трудился в Акционерном Камчатском обществе в качестве заместителя заведующего строительным бюро. Так, 2 апреля 1929 г. он докладывал правлению общества о ходе строительства рыбоконсервного завода № 3 в Озерной и на Опалинских рыбных промыслов на полуострове.

Н. Н. БЕРЕТТИ

НА КРАЙНЕМ СЕВЕРО-ВОСТОКЕ

Приступая к описанию быта туземцев Пенжинского и Каргинского районов Камчатского округа Дальневосточного края, я должен оговориться, что в дальнейшем буду передавать только то, что видел или слышал сам, оставляя в стороне всё имеющееся по этому вопросу в литературе и не вдаваясь в полемику с авторами различных трудов о нашем Северо-Востоке, хотя моё личное ознакомление с бытом коряков и чукчей позволило бы мне внести некоторые поправки даже в основные труды по Охотско-Камчатскому краю.

Немного истории

Предания, рассказанные мне стариками-туземцами, говорят о том, что наиболее древними обитателями района, расположенного севернее и северо-восточнее Гижиги, являются коряки. Чукчи пришли

сюда гораздо позднее, очевидно, с севера. Ко времени прихода их коряки уже владели большими табунами оленей, которых у чукчей не было. Чукчи напали на коряков с целью отбить эти табуны и, вследствие неподготовленности коряков к военным действиям, одержали верх над ними. Один из притоков р. Таловки носит название «Имлана», что по-русски значит «изломалось». Происхождение этого названия старики-коряки объясняют так: на этой реке во время первой коряцко-чукотской войны происходила ожесточённая и продолжительная битва.

Когда все стрелы были израсходованы и поломаны, противники начали драться копьями, последние тоже изломались. Поэтому туземцы и назвали место битвы «Имлана». Проиграв первую войну, коряки начали усерднейшим образом готовиться к мести.

С момента вылета стрелы из лука до момента попадания её в цель проходит некоторый промежуток времени, достаточный для того, чтобы ловкому человеку отскочить в сторону и не быть убитым. Но недостаточно быть ловким, нужно быть ещё в высшей степени чутким, чтобы услышать характерный звук, сопровождающий момент спуска стрелы с тетивы. Эти свойства коряки начали развивать после первой войны у своих детей. Чуткость развивалась с помощью огня. Подкравшись к ребёнку, его обжигали острым раскалённым предметом. Тренируя таким образом своих сыновей в течение всего детства, коряки достигали того, что ребёнок от малейшего шороха или прикосновения отскакивал в сторону. Ловкость развивалась борьбой, бегом и т. п. Закончив тренировку, отец испытывал своего сына: послав его куда-либо, отец крался за ним с луком и в удобный момент пускал в него стрелу. Если юноша хорошо усвоил себе то, что ему прививалось с детства, и был достаточно чуток и ловок, он отскакивал, и стрела пролетала мимо, если нет, он падал замертво, поражённый стрелой отца.

Таким образом велась подготовка подрастающего поколения к новой войне.

Вторая чукотско-коряцкая война возникла опять-таки по инициативе чукчей, которые, очевидно, не довольствовались отнятыми в первую войну табунами. Время этой войны относится уже к первому появлению русских и иностранцев на Камчатке, так как некоторые коряки тогда имели уже огнестрельное оружие, чукчи же его не имели и даже никогда не видели. Более раннее знакомство коряков с оружием объясняется местом жительства последних: коряки жили и живут до сих пор по побережью и близости от него, тогда как чукчи расселены значительно дальше от

морского берега. Вторая война окончилась быстро, чукчи были побеждены. Главной причиной их поражения была паника, навешенная на них огнестрельным оружием. Старики туземцы говорят, что чукчи приняли выстрелы из ружей за гром небесный и раны от пуль за ранения от молнии.

В самом деле, легко представить себе ужас дикаря, когда он увидит своего товарища мёртвым с пульной раной в груди, происхождения которой он себе не может объяснить. В настоящее время коряки рассуждают так: у чукчей табуны сильно размножились, они стали богатыми и теперь с нами им драться не из-за чего.

Сейчас эти два племени живут дружно. Оседлые коряки Апукского района говорят, что кочующие чукчи должны давать им оленьё мясо, так как пасут свои табуны на коряцкой земле, и чукчи не отказывают им в этом. В голодные годы при недоходе рыбы они даже подгоняют свои табуны к коряцким селениям и кормят коряцкое население. В других районах я не обнаружил никаких притеснений в отношении чукчей со стороны коряков.

Мне кажется, что оба племени, безусловно, родственные. Наружностью они различаются так мало, что многих трудно отличить друг от друга. Образ жизни, традиции, верования почти одинаковы, языки очень схожи между собой, в большинстве слов всё дело в ударении. Тот, кто говорит по-коряцки, всегда сможет объясниться с чукчей, и наоборот. Должен сказать, что и у самих коряков язык не везде одинаков, например, коряки-каменцы не совсем свободно могут объясниться с апукскими. То же самое можно сказать относительно обычаев и верований, хотя, например, в проведении мелочей празднования имеются некоторые различия, обряд погребения также имеет несколько вариаций, жертвоприношение собак совершается не везде одинаково. Однако провести параллель и сказать, что такие-то черты быта присущи исключительно чукчам, такие-то исключительно корякам в тех местностях, которые мною обследованы, затруднительно.

Единственно, что обращает на себя внимание при сравнении, это большая дикость и неразвитость чукчей. В их обычаях и нравах есть некоторые черты большей некультурности и жестокости, у коряков они уже изжиты, и если встречаются, как исключение, то только у особо неразвитых и упорных по части исполнения обрядов старины.

В дальнейшем изложении быт этих, безусловно, родственных племен мы будем относить к тем и другим и оговаривать только существенные различия в обычаях. Ввиду того, что чукчи ведут

исключительно кочующий образ жизни, всё, что будет говориться об оседлом туземном населении, будет относиться исключительно к корякам.

Рождение и детство

У коряков рождение ребёнка обычно не сопряжено ни с какими церемониями. Рождение отмечается только тем, что соседи сойдутся, попьют чай, поедят мясо, поговорят и разойдутся. Имя ребёнку даётся в честь одного из предков. Сына-первенца непременно называют именем деда.

У чукчей рождение ребёнка сопровождается различными церемониями. Если в день рождения погода ясная, ребёнка выносят из юрты и обмывают снегом; в это время бьют молодого оленя, снимают с него шкуру и, не разрезая её, всовывают в неё ребёнка и подвешивают в пологе. Если родится девочка, то при рождении ей дарят важенку, которой ставят на ухо особенное клеймо. Весь приплод от этой важеньки впоследствии идёт в приданое этой девушке. Если подаренная важенка сдохнет, не дав приплода, то это считается очень плохим признаком, предвещающим смерть или неудачную жизнь девушки.

В том пологе, где родился мальчик, чукчи иногда убивают оленя, и это считается первым жертвоприношением ребёнка. При рождении мальчика ставят около дверей юрты копьё. Интересная церемония бывает при выборе имени у некоторых чукчей. В пологе подвешивается на тонком ремне камень, родственники новорожденного садятся и начинают произносить по очереди разные имена, смотря всё время на висящий камень. Новорожденный получает то имя, при произнесении которого камень шелохнулся. Интересно, что через несколько дней после рождения ребёнка стойбище перекочевывает на другое место. Там, где находился полог, ставится куст из жердей, чем дают всем знать, что юрту ставить здесь нельзя — «грешно».

Ребёнка одевают в шкуры оленя. Одежда сделана таким образом: торбаса, штаны, сшитые вместе с лифом, имеющим широкую прорезь для головы, в которую и всовывают ребёнка. На ночь ребёнку надевают имеющий форму тела, сделанный из лахтака, ларги или дымленной ровдуги и наполненный мхом (мох время от времени меняют) мешок для того, чтобы не пачкал постелей, на которых он спит вместе с матерью. Днём ребёнок спит в люльке, подвешенной не в пологе. Дети очень грязные, их никогда не моют.

Сплошь да рядом можно наблюдать, как в трескучие морозы, когда и в самой юрте очень холодно и отовсюду продувает ветер, ребёнок бегаёт совершенно голый или же вытащив руку из своей одежды. Грудь его, благодаря большому разрезу, никогда не бывает хорошо закрыта. Отношение родителей и окружающих к детям очень хорошее и внимательное.

С малолетства ребёнка приучают ездить на собаках и ловить рыбу. Можно наблюдать, как карапузы семи-восьми лет везут воду на щенках, а впереди запряжена маленького роста собака. Первая пойманная мальчиком рыба — гордость семьи. Это значит, что он может уже самостоятельно работать. Некоторые коряки делают для детей игрушки: кукол из шкуры оленя, собак, изображения оленей, нарты, сделанные из дерева или кости, но такие игрушки встречаются редко.

Брак

У коряков и чукчей, не обращенных в христианство, существует многоженство.

Вступают в брак очень рано. Часто мальчик и девочка, не достигшие ещё половой зрелости, считаются уже мужем и женой, двенадцатилетняя жена переезжает в юрту десяти-тринадцатилетнего мальчика. Самое вступление в брак связано с обычаем «отработки невесты». Мужчина, желающий жениться, является к родителям невесты и живёт у них неопределённое время, как бы в работниках, обычно исполняя самую тяжёлую работу. Такое положение может длиться до трёх лет, после чего отдают ему невесту-дочь или отказывают, подарив ему при уходе, как бы в насмешку, суку.

У кочующих туземцев отработка невесты заключается в продолжительном уходе за табуном в наиболее трудное время — летние месяцы. По состоянию табуна судят о достоинствах жениха. Вообще, при выборе жениха главное внимание обращается на его работоспособность и прилежание. В некоторых местах можно наблюдать такую картину: к юрте подъезжает нарта с дровами и останавливается, но привезший дрова в юрту не идёт, а ждёт приглашения. Это приехал жених. Если родителям невесты он желателен, то его приглашают, и он остаётся на период отработки, если же не желателен, то его просто не пригласят войти, он постоит некоторое время, потом отвезёт свои дрова обратно и больше свататься не будет. Если жених и невеста живут в одном и том же селе-

нии, то не обязательно, чтобы первый на время отработки переходил на жительство в юрту невесты, он проводит там целый день, ночевать же приходит в свою юрту.

Если вступают в брак ещё детьми, то это делается по воле родителей. Бывает так, что чуть ли не от рождения детей родители сговариваются о том, чтобы впоследствии их поженить. Мальчик лет девяти-десяти, а иногда и ранее, уже начинает отрабатывать невесту. Он исполняет в доме будущего тестя разные мелкие работы: подвозит воду и т. п. Когда эта «отработка» закончена, девочка, будущая жена, переезжает в юрту родителей мальчика, но до половой зрелости им не позволяют спать в одном пологе, а если это происходит у бедных, где есть только один полог, то детям не позволяют спать рядом. У туземцев существует установленное обычаем право, запрещающее вступать в брак близким родственникам, за соблюдением этого права строго следят. Если жених, сговорившись с невестой, увезёт её, не отработав срока, установленного его родителями, то брак считается недействительным, и жену отбирают силой от мужа. Если в брак вступают взрослые люди, то в большинстве случаев это происходит с согласия и желания брачующихся, без какого-либо принуждения со стороны родителей. Несмотря на дружеские и подчас носящие коммунистический характер отношения между кочующими и оседлыми туземцами, браков между ними никогда не заключается; кочующий никогда не отдаст свою дочь за оседлого и наоборот.

В большинстве случаев вступление в брак не сопровождается никакими религиозными обрядами, никаких торжеств и празднеств не устраивается. В лучшем случае соберутся родственники, попьют чай, поговорят и разойдутся. Это событие не сопровождается даже битьём в традиционный бубен.

Только у некоторых кочующих чукчей сохранился обычай обставлять брак торжественностью и религиозными обрядами; некоторые в момент приезда новобрачных убивают оленя и тёплой ещё кровью мажут молодым лоб, щёки, руки, ступни ног и другие места. Значение этого обряда, к сожалению, выяснить мне не удалось.

При выборе жениха родители невесты, если они богаты, не стремятся выдать её за богача, а выбирают хорошего, дельного и прилежного человека. Сплошь да рядом выдают за бедного работника, принимают его к себе в юрту, дают табун, но до смерти родителей он не является полным хозяином этого табуна, а только имеет право брать из него, сколько надо для прожития, оленей, пыжичьих и выпороточьих шкур бесконтрольно. Многие богатые кочующие

стремятся даже выдать своих дочерей за бедняков, преследуя этим цель иметь в табунах хозяйский присмотр в лице зятя. У оседлых коряков никакого приданого невеста не получает, а также и жених не даёт никакого выкупа. У некоторых же кочующих приданое состоит из табуна, расплотившегося от важеньки, подаренной девочке при её рождении. Табун в некоторых случаях достигает нескольких сот голов.

Женитьба на второй и третьей жёнах сопряжена с такими же обычаями; следует отметить, что в этом случае туземцы, вполне зрелые и даже старики, женятся на девочках, не достигших половой зрелости. Отношение их к такой молодой жене чисто отеческое, пока она не вырастет.

Семейная жизнь

Жена, безусловно, не раба своего мужа. Она имеет голос в решении разных семейных вопросов, в её домашнее хозяйство муж не вмешивается. Битьё жены — редкое явление. Если муж плохо обращается, жена всегда найдёт защиту у своих родственников; встречается нередко уход жены вследствие плохого обращения с нею мужа. Мною отмечен случай, когда жена ушла из-за ворчливого характера и грубого обращения не мужа, а свёкра.

Есть случаи расхождения супругов после двадцатилетней совместной жизни. Встречаются и такие факты, когда муж прогоняет свою жену. В этом случае причина — безнравственное поведение жены. Во многих описаниях быта коряков и чукчей говорится о том, что туземцы своим друзьям и вообще уважаемым ими русским гостям предоставляют своих жён на ночь, выказав этим как бы уважение. В исследованном мною районе такой обычая нет, и местные старожилы говорят, что и раньше этого не было, наоборот, туземцы стараются всемерно охранять своих жён от каких бы то ни было попыток в этом отношении со стороны русских.

Мне приходилось несколько раз ночевать в стойбищах кочующих в то время, когда хозяина не было дома. Всегда женщина, исполнив все свои обязанности, требуемые обычаем гостеприимства, или совсем уходила из юрты, или же, во всяком случае, не оставалась на ночь одна, а приглашала какую-либо старуху из соседней юрты и ночевала с нею вместе не в пологе.

Один из местных жителей рассказал мне такой случай из его жизни. Однажды ночью он явился в полог, где ночевали исклю-

чительно женщины. Заметивший это старик-хозяин ничего ему не сказал, но поджог оставленную вне полога его одежду.

В селении Каменном один русский сделал попытку снискать благосклонность корячки. Родственники были настолько обижены этим поступком, что направили жалобу в гижигинскую милицию. Надо иметь в виду, что туземцы очень боятся и не любят подавать какие-либо жалобы, они всегда стараются как-нибудь помириться, не прибегая к помощи властей, но в этом случае они не стерпели.

Конечно, есть и исключения из общего правила. Я встретил в семье коряка по имени Ненен трёх его вышедших замуж дочерей, мужа которых выгнали их от себя за безнравственное поведение. Об этой семье туземцы отзываются как об исключительной и не уважают её.

Кочующие туземцы при дальних и продолжительных поездках берут часто с собою своих жён. Как кочующие, так и оседлые туземцы при переездах стараются создать для жены, иногда едущей с маленьким ребёнком, возможные удобства. Сзади нарты они делают так называемую «кракву» — сидение со спинкой и боковинами, из палок и ремней, а некоторые даже подобие возка, в который женщины укрываются от ветра и пурги.

День туземца

Каждая мелочь в однообразной жизни туземца превращается в событие. Когда вы подъезжаете к селению или к стойбищу, из юрт выходит всё население посмотреть, кто приехал, узнать — зачем, откуда, какие привёз новости. Если приехал гость, то женщины немедленно удаляются в юрту и начинают хлопотать около костра, спешно приготавливая чай, мужчины же остаются на дворе, со всевозможными подходами расспрашивают приезжего об интересующих их новостях. Кончив установку нарты, привязав собак и накормив их, вы направляетесь в юрту.

Первое впечатление не из приятных: ничего не видно из-за наполняющего юрту дыма, от которого вы начинаете задыхаться, кашлять. Надо скорее сесть или же низко наклониться, чтобы спастись от дыма. Но постепенно глаза начинают привыкать к полумраку и дыму, и вы начинаете различать женщин у костра, рассматривающих вас с любопытством. Из дыма вырисовывается бесконечное количество жердей, поддерживающих потолок юрты, на жердях развешаны меховые одежды для просушки и растянуты

для той же цели шкуры зверей. На полу стоят чайники, котлы и примитивная деревянная посуда, тут же лежат собаки, беспеременно пьющие воду из общего с людьми «котла» и облизывающие деревянные блюда, на которых через несколько минут вам же будут подавать варёное мясо.

С противоположной от двери стороны вы видите полог. Зная, что в нём нет дыма, что в нём тепло, вы торопитесь раздеться и войти в него. Женщины помогают вам снять кухлянку и другую одежду, выбивают из неё снег. Эта процедура кончена, и вы входите в полог. Там всё чёрно от копоти так называемой «лейки» — банки с нерпичьим жиром и заложённым в неё фитилём, сделанным изо мха. Под потолком натянуты ремни, на которых висит одежда и бубен. В пологе окон нет, целый день там горит лейка, чадно, но дыма нет, а главное, тепло; садитесь на пол, на оленью шкуру. Вслед за вами является в полог хозяин, завязывается разговор. Через несколько минут влезает в полог одна из женщин, просит на заварку чай, после чего вносят в полог деревянный поднос и ящик с посудой. Эта посуда завёрнута в грязную тряпку, которой перед чаепитием вытирают чашки и блюдца. Когда всё приготовлено и в полог внесён большой медный чайник, входят все обитатели юрты и начинают в полном смысле слова священнодействовать, каждый пьёт чай до седьмого пота. По мере того, как становится жарче, начинают раздеваться: мужчины сбрасывают с себя гагагли, женщины спускают одежду до пояса. Чаепитие закончено, подонки из чашек сливаются обратно в чайник, самые чашки старательно вылизываются одной из женщин, вытираются грязной тряпкой, складываются в ящик и уносятся из полога. Всё это заканчивается с тем, чтобы через час или два чаепитие начать сначала, но с небольшим изменением, заключающимся в том, что перед чаем подают оленьё мясо, нарезанное большими кусками, костный жир, языки или саламату. Все вооружаются охотничьими ножами и начинают есть долго и основательно, причём кусок мяса держат в руках и не откусывают от него отдельные кусочки, а, ухватив нужную часть зубами, отрезают, проводя ножом около самых губ.

Днём женщины редко сидят в пологе, у них много работы вне его: они носят воду или лёд, поддерживают огонь в костре, раздельывают убитых для пищи оленей, шьют и чинят одежду, выделывают оленьи шкуры для одежды, для полога и юрты, «чистят», по-своему, посуду. Мне пришлось наблюдать, как одна корячка чистила эмальированный таз. Вместо того, чтобы его просто вы-

мыть водой, она соскабливала с него грязь маленькой палочкой и ногтями.

Самое приготовление каждодневной пищи не занимает много времени, зато с праздничными блюдами — саламатой и костным жиром — им приходится повозиться. Для приготовления саламатов нужно ножом изрубить на мельчайшие кусочки мясо и перемешать его с костным жиром. Всё это делается необычайно грязными руками. Для приготовления костного жира нужно камнем расколоть кости.

Женщины ни зимой, ни летом не сидят без дела. Если выдалась свободная минута, женщина берёт оленьи жилы и начинает сучить нитки. Летом у женщины ещё больше дела: на ней лежит обязанность снести всю упромышленную рыбу с берега к вешалам, разделать рыбу, повесить, наблюдать за просушкой.

Труд мужчины и женщины строго разделён, и мужчина никогда не будет делать женскую работу. На обязанности мужчины лежит промысел рыбы, пушного и морского зверя, разъезды по всевозможным делам, а иногда и без дела, на собаках и оленях и уход за последними.

Часто во время хода рыбы можно наблюдать картину, когда женщина, не разгибая спины, целый день трудится над разделкой рыбы, тут же сидит её муж или брат и ничего не делает, и ему даже в голову не придёт помочь женщине в этой тяжёлой работе.

В зимние дни, если мужчина никуда не уехал, он почти ничего не делает, изредка съездит за дровами, остальное время сидит и глубокомысленно жуёт табак и пьёт чай, prepares для жевания лемешину, растирая табак вместе с золой ольховника в оригинальной деревянной посудине, или же чистит ружьё.

Но вот наступила ночь, в полог вносят шкуры, раскладывают их на полу, делают из них что-то вроде подушек, вносят так называемый «конёк» — сосуд для нечистот, раздеваются все догола и ложатся спать с тем, чтобы утром начать снова свой однообразный день.

Взаимоотношения туземцев

У коряков и чукчей существует обычай «дружбы», заключающийся в следующем. Каждый оседлый туземец имеет одного или нескольких «друзей» среди кочующих. По первому снегу кочующие ездят к своим оседлым друзьям, забирают у них жир, лахтаков, ремни, если есть, патроны, чай, табак и т. п. и за взятое ничего не

платят. Через две-три недели оседлые в свою очередь едут к кочующим друзьям и забирают у них оленье мясо, пыжики, выпоротки, пушнину и т. п.

Такие поездки оседлые совершают по несколько раз в зиму. Как те, так и другие не считают это куплей-продажей, а просто помогают друг другу. Несомненно, оседлый получает от кочующего больше, но бывает и обратное явление.

Никогда кочующие туземцы не допускают, чтобы оседлые голодали. В те годы, когда бывает недоход рыбы, и, как следствие, оседлым туземцам грозит голод, кочующие подгоняют свои табуны к селениям и бесплатно целый год кормят оленьим мясом всех жителей и дают корм для собак. Это не рассматривается как подавание, каждый кочующий считает это своим долгом. Несомненно, что кочевники смотрят на табуны, сами не сознавая этого, как на общественную собственность, но если сказать кочевнику, что табун не твой, а общественный, он обидится и будет говорить, что он единоличный хозяин, и, вместе с тем, будет распоряжаться табуном не как собственник. Он будет помогать и кормить безвозмездно бедняков, и если будет нужно, то отдаст весь табун, чтобы предотвратить голод.

Встречаются между кочевниками и такие, которые любят поломаться над бедняком-оседлым: если последний попросит мяса или оленьих шкур, то сперва кочевник начнёт плакаться, ругаться и т. д., тут оседлый молчит и терпеливо выслушивает, в конце же концов кочевник удовлетворит просьбу, даст, что может, — про таких оседлые говорят, что он сердитый, но добрый, и не обращают никакого внимания на ругань.

Все туземцы чрезвычайно гостеприимны, они считают своим долгом кормить гостя и его собак, сколько бы времени гость ни прожил, а при отъезде дать ему на дорогу мяса, рыбы и корма для собак.

Взаимоотношения оседлых коряков между собою носят двойственный характер, в них есть много общинных черт, но вместе с тем и много собственного. Так, например, во время весеннего промысла на морского зверя добыча делится поровну между всеми участниками, преимущество имеет только хозяин байдары, получающий несколько лишних лахтаков как бы за пользование таковой. Во время осеннего промысла каждый охотник берёт себе всю свою добычу. Когда кто-либо промыслит белуху или кита, добыча делится между всеми жителями селения. Пушнина всегда является собственностью охотника.

Во время морского промысла коряки, не имеющие оружия, едут на охоту в качестве гребцов на байдарках, покупают и передают охотникам патроны, что даёт им право на получение части добычи.

При установке сетей на морского зверя, обыкновенно несколько хозяев соединяют свои сети для совместного лова. Деление добычи бывает различно: в некоторых местах добычу делят поровну, в других получает добычу тот, в чей кусок сети она попала.

По взаимоотношениям между собой и кочующими сильно отличаются от вышеописанных оседлые коряки, живущие в районе бухты Корфа. Здесь на них сказалось в большей степени влияние миссионеров. У них отмечается какая-то двойственность: и от своих они отстали, и к русским не пристали. Взаимоотношения с кочевниками у них поставлены на чисто коммерческую ногу: давая жир кочевнику, корфовцы заранее условливаются, сколько за этот жир они должны получить оленьего мяса. Во взаимоотношениях между собою они тоже более практичны: промышленный морской или пушной зверь во всех случаях является собственностью охотника, не прочь они также и обмануть друг друга, подсунув недоброкачественную вещь или взяв чрезмерно высокую цену, воспользовавшись нуждою соседа.

Вообще нужно сказать, что кочевники искреннее и честнее оседлых. Сталкиваясь чаще с камчадалами, оседлые переняли от последних много отрицательных черт, научились торговать. Можно встретить коряков, которые не прочь использовать обычай «дружбы» и неразвитость кочевников в личных целях.

Про всех коряков и чукчей всё же можно с уверенностью сказать, что в нужде они всегда помогут друг другу, не дадут голодать отдельным семьям и поделаются с ними последним куском.

Обычное право

До сих пор у некоторых чукчей хозяин считается полным властелином своей семьи и имеет право над жизнью и смертью любого члена её, причём имеется только одно весьма своеобразное ограничение: он не имеет права убить кого-либо из своих домочадцев из ружья, а может проделать это только ножом или копьём.

Мне пришлось беседовать с чукчей по имени Юльту, кочующим в районе селения Апуки, который убил двух своих жён, племянника и сына. Эти убийства были совершены несколько лет тому назад, ещё при царском правительстве. Начальник уезда хотел арестовать Юльту и предать суду. Было отдано распоряжение

чукотским старостам привезти его, но последние отказались, заявив, что по их обычаям он не совершил преступления. Когда же начальник уезда попытался арестовать его без помощи чукотских старост, те заявили, что всё равно не выдадут Юльту. Этот чукча произвёл на меня отталкивающее впечатление, лицо у него зверское, держит себя он очень заносчиво, видно, что вся семья перед ним трепещет. Таких преступных типов в настоящее время среди чукчей осталось очень мало, а среди коряков их, пожалуй, совсем нет. Коряки относятся к Юльту, безусловно, отрицательно, но всё же считают его правым и не принимают против него никаких мер. Это доказывает, что понятия о правах главы семьи, установленные веками, ещё не отжили и твёрдо держатся среди туземцев.

Часто встречается убийство стариков детьми. Дожив до глубокой старости и потеряв трудоспособность, отец просит сына, чтобы последний его убил. Обыкновенно сын и вся семья начинают уговаривать отца, чтобы он изменил своё решение, если же старик упорствует, то сын подчиняется и убивает отца. Если отец, изъявивший желание, чтобы его убили, умер, не дождавшись приведения в исполнение сыном его воли, это считается очень нехорошим поступком сына, так как, по верованиям туземцев, в таком случае умершему отцу будет очень плохо на том свете. Бывают случаи, что у сына не поднимаются руки убить отца, в таких случаях старики проявляют громадное упорство.

В Вилюнейском районе имел место случай, когда отец, нарисовав кружок на оленьей шкуре, заставил сына стрелять в него, как в цель, а сам, спрятавшись за оленью шкуру, подставил лоб к тому месту, где на противоположной стороне был нарисован кружок. Так он заставил своего сына невольно убить его.

Несколько лет тому назад в Гижигинском районе произошёл исключительный случай: один коряк, влюбившись в чужую жену, убил её мужа и забрал себе понравившуюся женщину. На этот поступок коряки реагировали по-своему. Они отняли у убийцы табун, всё его имущество и женщину, самого же его заставили работать поочередно у разных хозяев, причём последние заставляли его делать самую тяжёлую работу, плохо кормили и одевали его. По прошествии нескольких лет коряки решили, что убийца исправился, вернули ему табун и имущество и женили на другой женщине, но решительно не позволили сойтись с той, ради которой он совершил преступление.

Как реагировали бы коряки и чукчи на воровство чего-нибудь друг у друга, ответить я затрудняюсь, так как случаев кражи среди

них я не замечал. Они народ чрезвычайно честный. Если изредка и случаются какие-либо жульничества и обманы, то это делается не в отношении друг друга, а в отношении русских и камчадалов, если же принять во внимание, что последние только и занимались до сих пор изысканием способа обмана коряков и чукчей, то станет понятным, почему и туземцы стараются иногда обмануть камчадалов и русских. Дурной пример заразителен. Если чукчи выбирают старосту (теперь председателя родового совета), то подчиняются ему беспрекословно и вместе с тем строго следят, чтобы он был справедлив и не злоупотреблял своей властью. Их принцип: живи сам, но давай жить и другим, причём они настолько нравственны, что без всяких побуждений с чьей-либо стороны живут по принципу наибольшей свободы. Никто из них не позволяет себе сделать что-либо в ущерб своему соседу.

Многие кочующие коряки даже не выбирают старост, каждое стойбище живёт само по себе, и всё же никаких недоразумений между ними не бывает, хотя интересы их часто сталкиваются, особенно при выборе пастбищ. В этом случае, если пастбище занял один из них, никогда никто другой не позволит себе никаких притязаний.

Обычаи коряков и чукчей при их взаимоотношениях настолько вкоренились, что даже отрицательное влияние русских и камчадалов, поддерживавшееся царским правительством, не смогло разрушить веками сложившихся традиций и их обычного права, основанного не на страхе перед наказанием, а исключительно на нравственности.

Пища

Основная пища туземцев — оленьё мясо и рыба, приготовленные весьма примитивно. Рыбу обыкновенно вялят, а так как развешивают рыбу не под крышей, а просто на открытых вешалах и режут её для вяления не на достаточно тонкие пластинки, вяленая рыба в большинстве случаев получается немного протухлая. Нет никакой разницы в приготовлении этой рыбы для собак и для людей.

Во время хода рыбы пища несколько разнообразней: они поджаривают мелкую рыбу, не потроша её и не очищая от чешуи, нанизав на толстую проволоку как шашлык; варят пупки, очень любят варёные головки. В зимнее время небольшое разнообразие в рыбную пищу вносит мелкая рыба, называемая по-местному «харитонами», которую ловят уже во время морозов в прорубях, что

даёт возможность сохранить её в мороженом виде и зимой делать из неё строганину — сырую рыбу, мелко наструганную ножом.

В голодные годы коряки и чукчи иногда бывают принуждены есть так называемую «кислую рыбу», заготовленную для собак; для еды, обыкновенно, выбирают из ям менее протухшую рыбу.

Рыба является основным средством для существования оседлых туземцев, оленьё мясо — кочующих. Едят оленьё мясо, главным образом, варёное, причём его не разваривают, а вынимают из кипятка, когда оно немного проварится и посереет сверху, внутри же куска оно ещё сырое. Туземцы любят, чтобы мясо было слегка тухлое. Для этой цели с наступлением морозов они бьют жирных оленей, оставляют мясо в юрте, чтобы оно немного протухло, а затем уже замораживают и в таком виде пускают его в пищу в течение зимы.

С осени также заготавливают вяленое мясо, для чего бьют оленей до наступления морозов. Естественно, что это вяленое мясо из-за несовершенства приготовления всегда бывает тухлое, вид мяса тёмно-синий, едят его в сыром виде.

Кости оленей никогда не выбрасывают, после каждой еды их собирают, когда же накопится значительное количество, их толкут, а затем вываривают. На поверхность котла всплывает костный жир, который считается лакомым кушаньем, и это, действительно, очень вкусное, нежное и питательное блюдо. Из мяса готовят так называемое «саламата» — это мелко толчённое варёное мясо, смешанное с костным жиром.

Самыми лакомыми кушаньями считаются суп из брюшины и суп из вымени важенки. Для приготовления супа из брюшины последняя берётся у только что убитого оленя, без очистки, со всеми отбросами, находящимися в ней. После кипячения получается жидкость зеленоватого цвета, которую процеживают через сложенную в несколько рядов рыболовную сетку, после чего прибавляют жир и ягоды, ещё раз кипятят и в таком виде едят. Приготовление супа из вымени важенки ещё проще. У только что убитой стельной важенки вырезают вымя, стараясь не разлить молоко, кладут его в котёл, прибавляют воды и кипятят.

Громадное значение для оседлых туземцев имеет мясо и жир лахтаков, нерп, ларг, акиб, белух и, как редкость, китов. Мясо едят, главным образом, варёное, жир едят сырой и топлёный, в последнем случае его употребляют как приправу к рыбе-юколе, которую макают в жир и едят. Жир считается лакомством, и в годы плохого промысла едят его в праздники.

Некоторые коряки и чукчи разнообразят свою пищу приготовлением каши из стеблей травы, а в праздники — из стеблей травы, кетовой икры, ягод и нерпичьего жира, смешанных вместе. Все туземцы очень любят чай, который пьют обыкновенно без сахара, но не потому, что они не любят сахару, а потому, что не имеют средств на его приобретение. Некоторые не имеют даже возможности купить чай, тогда они заменяют его какой-то травой, от которой кипячёная жидкость имеет ярко-жёлтый цвет и горьковатый вкус.

Туземцы очень любят рисовую кашу, приготовленную обыкновенным способом, но без соли. Хлеб им готовить негде за неимением печей, а делают они из муки лепешки на нерпичьем жире или постном масле. Рис и мука вследствие чрезвычайно низкой покупательной способности населения играют очень малую роль; для примера скажу, что на человека в год не приходится больше десяти фунтов муки. Соль коряки и чукчи ни в какую пищу не кладут и не любят её, они говорят, что люди, употребляющие в пищу соль, теряют остроту зрения.

Болезни

Описания всех существующих болезней сделать я, конечно, не могу, так как этот вопрос узко специальный. Мне резко бросилась в глаза малая приспособленность организмов чукчей и коряков к борьбе с болезнями. Болезнь протекает очень ускоренно. Человек редко выздоравливает и, обыкновенно, скоро умирает, зато болеют туземцы очень редко.

Многие думают, что между чукчами и коряками распространён сифилис, мнение это ошибочно. Проехав шесть тысяч километров, я встретил только одного сифилитика в последней стадии с провалившимся носом. Принимая же во внимание, что никаких лечебных средств у туземцев нет, нужно полагать, что сифилис распространён незначительно, так как в противном случае было бы, несомненно, большое количество больных в последней стадии, что, конечно, бросилось бы в глаза. Встреченный мною сифилитик ходит с завязанным тряпкой лицом, спит отдельно от других, ест из отдельной посуды.

Большее распространение имеет трахома. Эта болезнь развивается очень быстро и протекает трудно, что объясняется примитивностью жизни туземца, грязью жилья, постоянным дымом в юрте. Мне пришлось наблюдать несколько десятков случаев больных трахомой.

До сих пор туземцы не имеют никаких лично ими изобретённых средств лечения болезней. Заболев, прибегают к шарлатанству шаманов и различным заговорам. Заговор от некоторых болезней делается над шкурой зайца, которая потом вешается в юрте. Заговор от головной боли производится над тонкой верёвкой, которая носится на голове. Если человек страдает кровотечениями из носа, то отпускает себе косы и делает соответствующие заговоры. Словом, всякую болезнь лечат особым заговором.

Для лечения ран туземцы не употребляют никаких средств, а просто завязывают грязную рану, иногда даже не промыв водой, в лучшем же случае протерев чистым снегом. Мне пришлось наблюдать случай, когда коряк приложил к ране нерпичий жир, а поверх завязал грязной тряпкой.

Около бухты Натальи я встретил одного чукчу, у которого правая нога была вершка на два короче левой и совсем не действовала. Для того, чтобы передвигаться, он употреблял длинную палку, которую держал обеими руками и, упираясь ею, прыгал на одной ноге. Он не представлял себе способа передвижения на костылях, когда же я показал, как сделать костыли и как на них ходить, он был страшно удивлён, и радости его не было конца, настолько это облегчило ему трудную задачу передвижения.

Чукчи и коряки ко всякой медицинской помощи относятся с большим недоверием и их трудно уговорить принять какое-нибудь лекарство. В отношении же кочевников, далеко живущих от берега моря, оказание медпомощи почти невозможно. Думаю, что они, за редким исключением, не согласятся лечиться, и обычным дипломатическим ответом будет: «Отцы наши не лечились, и мы не будем».

Спиртные напитки

Все без исключения туземцы очень любят спиртные напитки и вообще наркотические средства. Если бы имелась у них возможность свободно приобретать спирт, то можно с уверенностью сказать, что не меньше тридцати процентов своего бюджета в среднем они тратили бы на его приобретение. Запаса спирта вы никогда не найдёте ни у одного туземца: как только его раздобудут, они не успокоятся до тех пор, пока не выпьют полностью. Туземцы пьют до тех пор, пока не свалятся, а проспавшись, опять принимаются за уничтожение новых порций спирта.

Туземцы скоро пьянеют, часто буйствуют, некоторые начинают шаманить. Мне пришлось наблюдать, как один туземец, выпив

четверть чашки водки, в двадцатиградусный мороз разделся догола и катался по снегу, выкрикивая всякий вздор, другие слушали эти пьяные бормотанья и принимали их за предсказания будущего. Тот же туземец в пьяном виде шаманил и мне и говорил невообразимые глупости.

Для приобретения спирта туземцы ничего не жалеют, отдают за него часто последнее имущество. Так, в бухте Корфа один коряк отдал японцам за десять бутылок спирта десять медвежьих шкур. Спирт в руках местных спекулянтов нередко являлся одним из главных орудий эксплуатации туземцев. Подпоив туземцев, спекулянты забирали за бесценок пушнину и рухлядь. В настоящее время спирт достать в посещённом мною районе трудно, а потому туземцы стали изготавливать его сами. Летом они собирают ягоды, складывают их в «акибы пупки» — мешки, сделанные из шкур акибы — и в таком виде сохраняют до морозов. Самая перегонка спирта из этих ягод очень примитивна: ягоды кладутся в медный котёл с крышкой с прорезанным в ней отверстием, в него вставляются стволы дробового ружья. Котёл с ягодами подогревается, пар попадает в стволы, где охлаждается при помощи льда и снега, и спирт стекает из ствола в подставленный сосуд.

Громадный вред приносит туземцам их пристрастие есть мухоморы. На реку Хайлино, недалеко от бухты Корфа, осенью в большом количестве приезжают туземцы, раскидывают около пятнадцати-двадцати пологов и палаток, устраивают вешала и занимают сборкой и сушкой мухоморов. Срывая мухомор, стараются не повредить его, так как, по их представлениям, повреждённые мухоморы мстят за себя тем, кто их съест. Туземцы говорят, что если съесть головку мухомора, а ножку оставить, то под дурманом будет казаться, что отнялись ноги.

Некоторые туземцы просто едят сорванные мухоморы, другие приготавливают из них, смешивая с ягодами и водой, что-то вроде супа; это лакомое кушанье считается готовым после того, как выкипает определённое количество воды. Наевшись мухоморов, туземец на следующий день пьёт свою мочу, от которой опять пьянеет.

Интересно, что туземцы, живущие в районе бухты Корфа, никогда не едят мухоморов своего собственного сбора, а только покупные. На этот счёт у них существует суеверие, по которому они полагают, что если съесть мухомор, сорванный лично, последний непременно отомстит: виновник или заболевает, или с ним случится какая-нибудь неприятность. Цена на мухоморы в разных местах различна, колеблется от одного до трёх за оленя-самца.

Еда этих мухоморов сопряжена с разным религиозным вздором. Коряки и чукчи убеждены, что будучи «под мухоморами», как они говорят, они видят вещие сны, общаются с душами предков и могут другим лицам предсказывать будущее.

Старик-коряк Эккой, кочующий на Тайгоносском полуострове, рассказал мне по этому поводу следующее: наевшись мухоморов, он испытывал, будто он временно умер. Состояние очень приятное, не чувствуешь ничего земного, видишь, как живут предки на том свете, какие у них табуны, юрты, где и как они кочуют. Он меня уверял, что, наевшись мухоморов, он иногда видит во сне место, где есть дикие олени, идёт туда на следующий день и, действительно, убивает.

Подобные суждения мне приходилось неоднократно слышать от туземцев. Многие из них истолковывают сны, которые они видят, наевшись мухоморов, как просьбу предков убить для них оленя, что выполняют беспрекословно.

Кроме вреда для здоровья, пристрастие есть мухоморы приносит любителям также и большой материальный ущерб.

Спорт

Необходимость по условиям промысла и всего уклада жизни в северной стране преодолевания больших расстояний создала благоприятные условия для развития среди туземного населения основных видов спорта — бега и езды на собаках и оленях. Однообразие жизни сделало из коряков и чукчей страстных спортсменов.

Два основных вида спорта — бега и езда на собаках — взаимно дополняют друг друга, так как при плохой дороге и в зависимости от рельефа местности, постоянных подъёмов, подчас весьма крутых, езду часто приходится «облегчать нарту», то есть соскакивать и бежать рядом с ней. В зависимости от этого, с малых лет начинают развивать у детей пристрастие к бегу постоянной тренировкой, приучают их воздерживаться от излишеств в пище, создавая этим лёгкость тела и правильность дыхания. Для развития мускулов заставляют детей делать большие переходы, посылая пешком из одного селения в другое, давая срочные поручения, для развития азарта устраивают детские состязания в беге.

С малых лет приучают ребёнка к езде на собаках. Зимой можно наблюдать, как ежедневно малыши семи-восьми лет везут воду или дрова на маленькой детской нарточке, в которую впряжены щенки и одна большая собака.

Для развития ловкости дети часто играют в сделанный из травы, обтянутой шнуром ларги или акибы мяч, который они гоняют палками по земле. Для игры делятся на две группы, выигрывает та группа, которая преодолет сопротивление противников и угонит мяч как можно дальше.

Интересно наблюдать, как дети в двадцатипяти-тридцатиградусный мороз борются на снегу, раздевшись до пояса и натерев тело снегом.

Получая с детства надлежащую закалку и тренировку, коряки и чукчи отличаются ловкостью и выносливостью. Отличаясь флегматичностью и ленью, вместе с тем они страстно любят езду на собаках и оленях. Сев на хорошую запряжку, туземец прямо перерождается: куда девается его лень, флегматичность, он ловок, весь горит азартом. Ни одна поездка не проходит без того, чтобы туземцы не «простягались» — погонялись между собою. Мне сколько раз приходилось наблюдать следующее: едет спокойно целая вереница нарт, вдруг все срываются, и начинается гонка. Собаки визжат от ударов остолом, которым заставляют собак бежать скорее. Вот один начинает перегонять другого, момент критический, жалеть своих ног уже не приходится, и коряк соскакивает с нарты и бежит рядом с нею. Собаки, почувствовав облегчение, прибавляют ходу, противник делает то же самое, начинается двойное состязание: и собак, и их хозяев. Поразмывшись таким образом, в течение пятнадцати-двадцати минут отдыхают, всё опять входит в колею, и продолжается спокойная езда до новой вспышки.

Лучшие ездоки пользуются большим уважением среди туземцев, они имеют возможность выбирать самых «богатых» и красивых невест — всякая пойдёт за такого ездока. Обыкновенно в семье один из сыновей, самый ловкий, ездит на лучших собаках, из потягов своих братьев и родственников ему разрешается брать собак, каких он хочет. Вся семья гордится им.

Время от времени отдельные туземцы устраивают свои личные праздники, которые состоят из состязаний в беге и езде и примитивного пиршества. Если устраивает праздник оседлый туземец, то состязание бывает на собаках, если кочующий, — то на оленях. Устраивающий праздник ставит для состязающихся призов. Если устраивает кочующий, то почти всегда хорошего ездового оленя, если оседлый, то собаку или нартовое костье (подполозки, сделанные из китовых костей).

Выезд на гонку сопровождается рядом церемоний, основанных на суеверии: раскладывают небольшой костёр, в который бросают

жир, разную траву и т. д. Над костром ставят три жерди, образующих как бы рёбра пирамиды. Старуха или старик совершают установленные для этого случая заклинания, и только после этого начинается гонка, причём все участники обязательно должны проехать мимо этого костра на определённом расстоянии.

На назначенном месте конца состязания ставят приз. У туземцев есть обычай, по которому друг спортсмена, прибывшего впереди, имеет право взять себе приз последнего, если успеет первым дотронуться до него, поэтому, подъехав к месту, гонщик бросает свою нарту и бежит как можно скорее к призу, чтобы не дать возможности своим друзьям завладеть последним.

Некоторые распределяют призы между прибывшими первым и последним. Интересно в данном случае посмотреть, как участники состязания, отчаявшиеся приехать первыми, стараются попасть на последнее место, причём непременным условием взятия приза является обязательство — ни разу не остановиться в дороге. Сколько здесь проявляется искусства со стороны состязающихся при старании ехать как можно медленнее и вместе с тем не остановиться ни разу!

После окончания гонки начинается празднество, бьют в бубен, едят суп из брюшины и другие лакомства, все разговоры сосредоточены исключительно на прошедшей гонке, обсуждается каждое действие гонщиков, анализируется правильность приёмов и т. д.

На гонки обыкновенно съезжаются спортсмены из разных селений или стойбищ, каждый житель села поддерживает своего гонщика и переживает его победу или поражение. Последнее буквально граничит с обидой для всего села, оно начинает готовиться к реваншу. Жители села дают своему гонщику лучших собак, устраивают новые праздники для того, чтобы дать возможность спортсмену обогнать своих противников и тем самым снять позор с себя и с селения или стойбища.

Борьбой занимаются наиболее сильные юноши, причём состязания бывают, главным образом, во время ярмарок.

Костюм и внешний вид туземцев

Костюм коряков и чукчей сделан из оленьих шкур. Мужчины у себя дома одеваются в так называемые гагагли — односторонние кухлянки мехом внутрь, снаружи крашенные кедровником в тёмно-жёлтый цвет, брюки тоже мехом внутрь и на ногах торбасы. В дорогу вместо гагагли надевают кухлянку, вторую

пару брюк, в большинстве случаев сделанных из оленьих или волчьих лапок — камысов.

Женщины носят на ногах такие же торбасы, как и мужчины, штаны, сшитые вместе с лифом и рукавами, шерстью наружу. Эта одежда не имеет никаких застёжек, в неё влезает через широкий разрез, сделанный в форме декольте. Выходя из юрты, они надевают поверх домашней одежды гагаглю или кухлянку.

Шапок ни мужчины, ни женщины не носят, а надевают так называемые «малахай», — меховые капора.

Форма праздничной одежды такая же, как описана выше, только сшита эта одежда более аккуратно, на ней много сделанных из меха вышивок, а у некоторых одежда расшита шелками и бисером. На праздничные гагагли нашивают так называемые корольки и шаркунцы. Франтихи делают одежду из белых и чёрных меховых полосок, скомбинированных во всевозможные рисунки. Гагагли обшивают собачьим мехом, выдрой или росомахой. Малахай обшивают лисицей или песцом.

Летняя одежда такая же, как и зимняя, только делается она из так называемого голого, то есть имеющего короткую шерсть меха, или же из подстриженного меха.

Некоторые делают одежду из ровдуги — это оленьи шкуры с выдерганной шерстью, имеющие сходство с замшей.

Летом торбасы делаются из шкур нерпы и акибы, которые менее промокают, чем оленьи, и дымленины — оленьей шкуры с выдерганной шерстью, соответствующим образом выделанной и продымлённой, чем достигается наименьшая промокаемость.

Во время пурги поверх кухлянок туземцы надевают «камлейки», имеющие форму кухлянок, сделанные из ровдуги или материи. Надеваются они для того, чтобы пургой не набивало снег в мех кухлянки. Как правило, коряки и чукчи надевают свою меховую одежду на голое тело, только в последние годы некоторые из них начали носить рубашки, сделанные из материи, нижних кальсон до сих пор никто из них не носит.

Коряки и чукчи никогда не моются, отчего их смуглое тело делается ещё чернее от грязи.

Мужская причёска очень своеобразна: вся голова бритая, за исключением полоски, идущей вокруг головы. Длинные волосы этой полоски некоторыми заплетаются в жиденькие косички, в концы их вплетается бисер или бусы.

Бороды и усов туземцы не носят, причём бороду они не бреют, а выдергивают особыми щипчиками.

Все женщины делают причёску, состоящую из прямого пробора посредине головы и двух кос, на концах которых вплетены бусы. На затылке между косами, как бы для скрепления их между собой, надеваются ленты или кусок ровдуги, разукрашенные бисером, бусами или блестящими пуговицами. К ушам женщины привязывают нитки бисера. На руках носят браслеты, сделанные из меди, бисера. Они очень любят разные брошки и т. п., которые привязывают на нитках к ушам или прикрепляют к волосам.

Многие, главным образом чукчанки, татуируют себе лицо. Эта татуировка состоит из одной или двух полос на носу и на лбу, на щёках татуируют крестики или кружки. Способ татуировки весьма примитивен: берут иголку с намазанной сажей ниткой и протаскивают под кожей; сажа остается и зарастает. В зависимости от такого способа, татуировка имеет не сплошные, а симметрично прерывающиеся линии.
















Можно часто встретить мужчин и женщин, носящих верёвку вокруг головы: это заговор против головной боли.

Зачатки счёта и письменности

Как общее правило, коряки умеют с трудом считать до ста; умеющие считать больше ста составляют исключения. Счёт у них своеобразный — по пяткам:

- 1 — анан;
- 2 — анан ниях;
- 3 — наях (местами — рукка);
- 4 — ниох (местами — ракка);
- 5 — мыллын;
- 6 — анан мыллын (один и пять);
- 7 — ниях мыллын (два и пять);
- 8 — наях мыллын (три и пять);
- 9 — ханняяйчин или ниох мыллын (четыре и пять);
- 10 — минигитти;
- 11 — минигитти анан (десять и один);
- 16 — минигитти ана мыллын (десять, один и пять);
- 20 — ниях минигитти (два раза по десять) или хырык;
- 30 — наях минигитти (три раза по десять);
- 60 — наях хырык (три раза по двадцать);
- 100 — анансто (происхождение русское);
- 1 000 — титятя (очевидно, тоже русского происхождения).

У некоторых коряков в селении Каменном я видал записные книжки, куда при помощи своеобразных знаков они записывают, главным образом, кому они должны или кто им должен. Например, они обозначают:

Рубли и единица	I
Десять	X
Сто	⊗
Копейки	(точки)
Гижига и гижигинец	
Пенжино и пенжинец	
Оседлый коряк	
Кочующий туземец	
Кирпич чаю	
Кухлянка	
Выпороток	
Пыжик	
Олень	
Лисица	
Табак	
Белки и горностаи	
Гора	
Тунгус	
Река	

Совершенно очевидно, что селение Гижигу они изображают домом с крестом, а селение Пенжино — домом без креста, потому что в Гижиге есть церковь, а в Пенжино церкви нет.

Обозначение оседлого коряка знаком, изображающим что-то вроде лодки, произошло от того, что все оседлые туземцы живут на берегу рек и в их жизни лодки или байдары имеют большое значение. Значок, обозначающий кочующего туземца, похож на юрту.

Тунгус обозначается ёлкой потому, что в большинстве случаев тунгусы живут в лесах.

Так же можно найти объяснение почти всем знакам.
Записи в книжках имеют следующий вид:



Это обозначает: пенжинец должен пять выпоротков, одну лисицу и десять белок, или



Это значит: тунгус, живущий между большой и малой сопками, должен одну кухлянку и сто белок.

Часто встречаются палки с зарезами на них (бирки), некоторые кочующие при помощи зарезов на палках отмечают, сколько за определённый период убили оленей или сколько оленей задрали волки. Каждая десятая зарубина делается больше.

Коряки и чукчи исчисляют время по луне, счёта по месяцам и годам не знают. Условливаясь с ними о встрече, приходится объяснять им, что вот, дескать, приезжай, когда будет вторая полная луна или когда будет новолуние, половина луны и т. д. Как общее правило, ни один коряк и чукча не знает, когда он родился и сколько ему лет, что, конечно, является вполне естественным при таком времясчислении.

Верования, суеверия и праздники

Какой-либо общей для всех веры у чукчей и коряков, безусловно, нет. Оседлые коряки селения Каменного, например, представляют себе, что есть главный хозяин «бог», который находится, как они говорят, «там», указывая рукой вверх. У этого главного бога, называемого по-коряцки Яхытнын, есть два помощника: первый море, которое они представляют себе как кормильца и называют анакан-мама, и второй огонь — мелыгын. Коряки, живущие по реке Авеково, говорят, что есть бог, которого они не знают, у него несколько помощников: огонь, море, луна и другие.

Легенда о сотворении мира говорит, что главный бог для сотворения земли и коряков послал своего помощника по имени Хуйкинеху, у которого была жена Митты и сын Эмелхут. Этот Хуйкинеху, враг русских, не желая жить вместе с ними, ушёл от коряков при первом появлении русских. По его учению, земля растёт; уходя

от коряков, Хуйкинеху сказал им, что вернётся тогда, когда земля настолько вырастет, что почти совсем покроет убитого им и поставленного вертикально кита и последнего будет видно не более, как на одну ручную четверть. Ненависть этого Хуйкинеху к русским настолько велика, что если его место пребывания будет открыто последними, он — «великан» — перевернёт землю.

По понятиям авековцев, добро — это бог «Чахэчгын», зло — это чёрт «Тынэ Ньюлтанолан». Чёрт заставляет людей делать зло. Загробная жизнь им представляется продолжением земной. Тому, кто не делал зла на земле, будет в загробной жизни хорошо, кто делал зло — будет жить там плохо, причём эта плохая жизнь будет вечная и сам человек прекратить её не в силах: «захочет утопиться, не утопится, захочет зарезаться, не сможет».

Они присваивают грибам-мухоморам какую-то пророческую силу и утверждают, что, наевшись мухоморов, во сне получают предсказание и распознают добро и зло.

Авековские коряки обожествляют луну. У них существует интересная легенда о луне. Однажды злая мать прогнала из дома свою дочь; последняя пошла к реке, села там, стала смотреть на луну и сказала ей: «Что мне делать, даже ты, луна, обо мне не печалишься». После этих слов луна спустилась, схватила девушку вместе с окружающими кустарниками и поднялась обратно на небо. С этих пор на луне появились пятна. Через год злой матери приснилась дочь, взятая луной, и рассказала, что на луне есть пицца только в то время, когда луна прибывает. Как только луна начинает убывать, девушке нечего есть, и она от голода жует рукава своей одежды. С тех пор коряки стали в определённые дни «кормить девушку» на луне, в честь чего возникли праздники, во время которых на крышу юрты выносятся пицца, как жертва луне и девушке.

Отмечается обожествление некоторыми туземцами кита, медведя, волка и других зверей. Охота на кита сопряжена с разными заговорами, приметами: коряки верят, что убить кита не может тот, кто не знает заговора. В процессе самой охоты следят за приметами, например, как кит посмотрит, как повернётся. Приметам придают известные значения, определяют по ним, хочет ли кит умирать, и если нет, по их мнению, коряки не считают нужным охотиться за ним, так как «всё равно не убьёшь». То же самое относительно медведя.

Отдельные скалы, сопки, а иногда небольшие площади тундры обожествляются коряками, они называют их «аппапелями». Название это распространено повсеместно. Некоторые коряки (авековцы),

однако, уверяют, что это название дали камчадалы, коряцкое же название «нутэлэн».

Трудно выяснить, что, собственно говоря, представляют собою эти «аппапели» в понятиях туземцев. Некоторые сравнивают их с христианским крестом, другие с иконами. В большинстве случаев на мой вопрос, что такое аппапель, коряки и чукчи отвечали «это аппапель», показывая своим ответом, что они и сами не отдают ясного отчёта. Для меня не подлежит сомнению, что отождествление аппапеля с иконой или крестом — толкование не коряцкое, а является показателем некоторого влияния христианства на их верования.

В каждой юрте есть свой «домашний аппапель», которого некоторые называют «асыгэн»; представляет он собою обыкновенную доску около метра длины, около двадцати сантиметров ширины. Верхняя часть закруглена, имеется шейка, таким образом, образуется как бы голова. В этой доске много дыр. Происхождение этого «асыгэна» вполне понятно. Это доска, при помощи которой и деревянного сверла добывался огонь в те времена, когда других способов добывания огня коряки ещё не знали, отсюда и произошло обожествление.

Своим божествам коряки и чукчи приносят кровавые и бескровные жертвы. Оседлые туземцы приносят в жертву собак, кочевники — оленей. Самая церемония жертвоприношения собаки происходит следующим образом. Один из туземцев берёт собаку за правую переднюю лапу и зажимает ей рот, второй берёт за задние лапы, хозяин собаки одной рукой берёт собаку за левую переднюю лапу, другой рукой колет её прямо в сердце копьём. Если же жертвоприношение происходит где-нибудь в дороге, и под руками нет копья, то колют её ножом. Во время жертвоприношения приговаривают, смысл приговора: или благодарение боже-ству за удачу в промысле, удачную поездку и т. д., или же просьба о помощи. Убитой собаке прокалывают шею колом, вбивают другой конец кола в землю, и в таком виде собака висит некоторое время.

В селении Алука церемония жертвоприношения иная. У убитой собаки распарывают живот, вытаскивают часть кишок так, чтобы один конец держался в животе, другой конец один из коряков держит над головой; приносящий жертву ходит кругом убитой собаки, подлезая под вытянутые кишки, и в это время произносит свой приговор. Собаку они не насаживают на кол, а просто бросают на том месте, где убили. В жертву приносят только хороших собак.

Приносимого в жертву оленя убивают непременно копьём, а затем съедают. Мясо убитого оленя может брать себе кто хочет, но кости взять нельзя, так как если бы не все кости остались на месте жертвоприношения, то на том свете на олене нельзя будет ездить предкам или богу, которым он принесён в жертву. В жертву приносят лучших ездовых оленей.

Для бескровного жертвоприношения употребляются всевозможные товары, продукты и прочее, главным образом, чай, табак, китовые кости, рога. Во время праздников кормят бога специально приготовленной кашей.

Жертвы приносятся по разным поводам: во время установленных праздников, весной, перед спуском байдар в море и началом весеннего промысла на морского зверя, перед наступлением зимы, когда окончательно устанавливают на берег байдары, при болезни, при удачном промысле, при удачной охоте на кита или медведя, во время собачьих или оленьих гонок, когда приходят одними из первых, после плохого или хорошего сна и т. п. Некоторые коряки приносят в жертву до восьми-девяти собак ежегодно.

Ни один туземец не пройдёт мимо аппапеля, не принеся ему в жертву хотя бы немного чаю, табаку или чего-либо другого. Отправляясь в дальний путь и проезжая мимо аппапеля, некоторые коряки дают обещание, что если поездка будет удачная, то они принесут в жертву собаку. Такой случай произошёл на моих глазах. Возвращаясь из очень трудной и дальней поездки, мои каюры принесли в жертву аппапелю собаку. Когда же я начал их уговаривать не делать этого, они мне ответили, что обещали это богу, отправляясь в путь, и теперь, если они не сдержат обещания, от этого им будет худо.

Между «аппапелями» есть, как говорят коряки, «сильные» и «слабые». Сила их создаётся разными случайными причинами. В мою осеннюю поездку мне пришлось остановиться около реки Тылхай. Так как лёд ещё не установился, то переправы не было. Прожил я на берегу реки два дня, на третий день утром зашел ко мне в палатку каюр-коряк, который с радостью сообщил о том, что он дал вчера немного табаку и чаю местному аппапелю, прося остановить лёд на реке, и «вот сегодня аппапель исполнил его просьбу». Коряк прибавил, что этого аппапеля коряки считали до сих пор слабым и почти никогда не приносили ему жертв, теперь же, когда он показал свою силу, коряки будут уважать его больше. Мне так и не удалось убедить коряка, что аппапель тут не при чём.

В зависимости от верований отдельных групп у коряков и чукчей существуют различные праздники. Оседлые коряки на охотском побережье летом входят в юрту через дверь, зимой через верхнее отверстие по лестнице. Закрытие осенью и открытие весной летнего входа сопровождается празднествами. В назначенное время все члены семьи берут головни из костра, горящего в юрте, тушат его окончательно, а с головнями выходят к морю и со всевозможными приговорами бросают головни в море. Одновременно на берег выносятся кашеобразная масса, заранее приготовленная из кетовой икры, стеблей какой-то травы, ягод и нерпичьего жира. Выбросив головни, вся семья буквально набрасывается на эту кашу и поедает её, хозяин же юрты в это время высказывает, обращаясь к морю, свои пожелания на будущее и благодарность за прошедшее. Если дело происходит осенью, то, выйдя из юрты, запирают окончательно летний ход и возвращаются в юрту по зимнему ходу, если весной — наоборот. Вернувшись в юрту, хозяин достает своего домашнего аппапеля и при помощи деревянного сверла добывает из него огонь, которым зажигает в юрте новый костёр. Затем начинается пиршество, едят лучшие кушанья, домашний аппапель ставится также на стол и его угощают кушаньями и табаком, накладывая всё это в специально сделанный небольшой ровдужный мешочек, привязанный к аппапелю. Кроме того, ему надевают что-то вроде галстука из сухой травы. Во время праздника бьют в бубен, танцуют однообразный танец, заключающийся в качании туловища направо и налево.

По количеству дыр на домашнем аппапеле, просверленных для добывания огня от трения деревянным сверлом, можно определить, сколько лет этот аппапель уже существует.

Рассматривая одного из таких, я обратил внимание на то, что некоторые дыры сравнительно с другими очень малы. На мой вопрос о причине этого, коряк откровенно сознался, что за последние годы он в праздники уже не добывает огня при помощи трения, а, просверлив немного аппапель для проформы, поджигает костёр спичками.

У авековских коряков бывает четыре праздника: первый — когда ставят зимний ход, второй — в следующее полнолуние после первого, третий — в следующее полнолуние, после того, как дни начинают прибывать, и четвёртый — весной, когда снимают зимний ход в юрте и открывают летний.

В праздновании их наблюдаются некоторые различия. В первый и четвёртый праздники добывается огонь при помощи сверле-

ния домашнего аппапеля, но головни от старого костра не бросают в море, а зарывают в землю, пища выносится не к морю, а на крышу юрты. Между различными приговорами с пожеланиями на будущее и благодарностями за прошлое произносятся фразы: «Тлее кемей сапыль кэсэтылан опта камый насхин кэмеге опта вы птат твыте» (буквальный перевод: «Бог, погляди на моих детей хоть немного»). Смысл: «Пожалей моих детей больше, чем мать пожалела свою дочь, которую забрала луна»). Вынос пищи на крышу юрты, очевидно, обозначает кормление девушки, забранной луною, о чём выше уже упоминалось. После описанной церемонии пищу уносят в юрту, где часть её бросают в костёр, часть съедают. В остальном все праздники проводятся, как описано выше.

Удачная охота на кита празднуется несколько дней. Берут оболочки почки, печёнки, лёгких кита, из них делают двенадцать бубен, раздают их ближайшим родственникам. Начинается праздник, в течение десятка дней бьют в бубны, пугая этим грохотом убитого кита и тем предохраняя себя от мести. Лучшие кости кита приносятся в жертву аппапелю, китовый ус, остальные кости и часть жира и мяса берут себе участвовавшие в промысле охотники, а остатки может брать любой туземец.

Праздник медведя в разных частях района проводится различно, но смысл его везде один и тот же. Значение праздника — оградить себя от мести убитого зверя. Медведь, по их верованиям, был когда-то человеком, но, рассердившись на людей, ушёл в тундру, преобразился в зверя и с тех пор мстит.

У тайгоносских коряков церемония празднования следующая: ставят в юрте череп убитого медведя, воткнув кедровые ветки в глаза, нос, рот и уши. В мешок, сделанный из травы, кладут, если убита медведица, кирку, нож, обутки, жир, серёжки, корольки и другие принадлежности женского костюма. Если убит медведь, то кладут носок, крючки для рыбы, ремень, лахтак, жир и другое. В юрту приглашают постороннего человека, он должен надеть на себя шкуру медведя, взвалить себе на плечи мешок с указанными выше вещами и медленно удалиться из юрты. В это время в удаляющегося стреляют холостыми зарядами. Вещи, находящиеся в мешке, берёт себе тот, кто надевал шкуру медведя и в которого стреляли, самую же шкуру медведя берёт охотник, упромысливший медведя; череп приносится после описанной церемонии в жертву аппапелю. Смысл праздника — откупиться от убитого медведя, чтобы тот не отомстил. В некоторых местах туземцы перед головой убитого медведя произносят разные заговоры

и стараются обмануть медведя, говоря ему, что его убили не коряки, а русские.

Праздник волка проводится таким образом: шкуру убитого волка вешают на дерево, около неё ставят копьё и кругом водят хоровод.

Некоторые коряки устраивают летом праздник тельбы, до проведения которого они не продают ни одного выпоротка.

Каждый коряк верит, что если он не проживёт два-три года в той юрте, где жил его отец, жизнь его будет несчастной. Благодаря этому суеверию, иногда приходится наблюдать, что семья живёт в полуразвалившейся юрте, а рядом стоит пустая хорошая новая юрта, принадлежащая тому же хозяину.

Каждый случай в жизни туземца сопряжён со всевозможными суевериями. Одному из моих каюров какой-то старый коряк (в селении Пахача) дал маленькую веточку кедровника, и эту ветку мой каюр вёз с собою около пятисот вёрст до самого дома, и только подъехав к своей юрте, он её бросил. В продолжение всего путешествия он твёрдо верил, что если бросит ветку, то с ним случится какое-либо несчастье.

Гаданья также играют громадную роль в жизни туземца. Перед выездом в дальнюю дорогу обыкновенно гадают на лопаточные кости нерпы или оленя. Эту лопатку нагревают на углях до тех пор, пока не образуется трещина, по форме которой и предсказывают, удачная ли будет дорога; если выйдет, что перед отъездом будет неудача, то меняют назначенное к выезду время, если не на день, то хотя бы на час.

В царское время упорно вводилось христианство среди коряков, но попытки миссионеров не увенчались успехом. Отмечается некоторое влияние христианства на верования коряков, живущих в окрестностях селения Гижиги и бухты Корфа, где жили миссионеры. Православие, безусловно, не привилось среди коряков, но некоторые отдельные моменты в коряцком толковании вошли в их верования. К ним я отношу сравнение аппапеля с иконой или крестом, веру в чёрта, наказание за грехи в загробной жизни.

Более сильное влияние оказало христианство на коряков, живущих в районе бухты Корфа. Но в результате они не имеют никаких верований, они просто необычайно суеверны, христианство ворвалось не только в их узкие верования, но исковеркало весь их быт, отдалило их от остальной массы, главным образом от кочевников. Несмотря на то, что они и «крещёные», они всё же справляют свои чисто коряцкие праздники, с той разницей, что не приносят крова-

вых жертв, а в отношении бескровных тоже более расчётливы. Дорогих вещей и продуктов в жертву не приносят, а стараются «откупиться от бога» какой-нибудь ничего не стоящей дрянью.

В 1923 г. коряки, живущие в бухте Корфа, попросили священника уехать и перестали являться к нему для исполнения разных обрядов. С первым же пароходом священник собрался ехать и попросил у коряков, чтобы они его отвезли в лодке на пароход, последние спросили у него за провоз до парохода (около десяти вёрст) сто рублей, мотивируя: «Ты, священник, брал с нас за крещение или свадьбу по лисице — вот теперь нам заплати».

Лично мне не приходилось видеть настоящих шаманов. Один раз только пришлось видеть, как пьяный коряк катался голым по снегу в двадцатипятиградусный мороз и порол всякую ерунду, называя себя шаманом. Находившиеся при этом коряки слушали его пьяный бред и истолковывали по-своему. По рассказам местных жителей, камчадалов и самих коряков, мне представляется, что в посещённом мною районе, как они говорят, «сильных шаманов» нет, а слабые шаманы влияния на население не имеют. Самое шаманство состоит в следующем: в темноте шаман бьёт в бубен и кричит буквально до иступления, а затем начинает пророчествовать и давать советы, что нужно сделать, чтобы больной выздоровел. Эти советы сводятся, обыкновенно, к жертвоприношению собаки. Многие коряки начинают шаманить, наевшись мухоморов.

Эксплоатации шаманами местного населения не отмечается. За шаманство они ничего не требуют; по-видимому, в районе, действительно, нет шаманов, превративших свою специальность в источник добывания средств. Шаманы, как правило, занимаются промыслом наравне со всеми, шаманят же скорее из любви к искусству, без корыстных целей.

Сожжение трупов покойников

Коряки и чукчи обычно сжигают трупы покойников; это сопряжено с различными церемониями, неодинаковыми у всех. Есть много вариантов, в зависимости от того, кочующий или оседлый был покойник и в каком районе кочевал. В мае 1925 г. мне пришлось присутствовать при сожжении трупа в селении Каменном. Интересно было наблюдать, как жёны покойного собирали его на «тот свет». Они советовались между собою, во что его одеть, какой нож положить с ним на костёр, сколько галет, табаку и т. д. Это производило такое впечатление, как будто они собирали всё это

не для трупа, а для живого человека, отправляющегося в дальнюю дорогу, приходилось слышать фразы, что такой-то предмет покойнику не понадобится.

В день сожжения труп одели в очень хорошую, совершенно белую кухлянку с великолепным расшитым шелками упованом, белые штаны, малахай и торбасы, тоже очень красиво расшитые, затем вынесли из юрты и положили на нарту. Вместе с трупом положили копьё, лук, несколько стрел, нож, лейку, подставку для лейки, трубку, немного чаю, табаку, сахару, галет, остатки от шкур, из которых была сшита одежда. Всё это привязали к нарте, и родственники и друзья, не впрягая собак, потащили труп к месту сожжения, где для этого заранее были приготовлены дрова. До места сожжения труп шли провожать почти все мужчины села Каменного. Женщин и детей, за исключением двух жён и ребёнка умершего, не было. Дойдя до места сожжения, провожающие вернулись домой, осталось человек пятнадцать мужчин, которые начали складывать костёр. Жёны и ребёнок умершего сели на нарту, где лежал покойник, одна в ногах, другая в изголовье; последняя взяла палочку, разукрашенную жёлтыми нитками с привязанными к ней кусочками пуха и начала беспрерывно размахивать ею около лица покойного, что производило впечатление, как будто она отгоняет от лица мух. Никаких слёз не было.

Когда костёр был сложен, несколько мужчин подняли труп вместе с нартой на костёр, где разрезали ремни, вынули труп из нарты и положили на костёр вместе со всеми привезёнными пожитками. Жёны в последний раз посмотрели в лицо покойнику, закрыли его куском ровдуги, отошли от костра, сели на землю, немного поплакали и пошли домой, не оборачиваясь на костёр. Пустую нарту с костра сняли трое мужчин, отвезли её на расстояние ста шагов, поставили и ушли домой. По уходе жён, недалеко от приготовленного костра с трупом в его изголовье на расстоянии двух саженей разожгли небольшой костёр, затем головнями от этого костра разожгли второй костёр по левую руку от трупа и, наконец, головнями от последнего разожгли костёр, на котором лежал покойник, предварительно завалив труп сверху дровами. Во время сожжения с трупом обращались очень бесцеремонно, подкладывали под него дрова, приподнимали его кольями и т. д. Никаких слёз и других признаков печали у присутствовавших я не замечал, наоборот, они смеялись, шутили друг с другом, боролись.

По прошествии одного часа пятидесяти минут коряки в последний раз подложили под остатки трупа дрова, забили кол на расстоянии

одной сажени от костра с правой стороны изголовья, накидали в форме пирамиды вокруг костра ветви кедровника и ушли от костра гуськом. Когда подошли к первому попавшемуся кусту, остановились, шедший впереди коряк пошептал что-то, затем вся группа обошла кругом куста, то же самое повторили, подойдя к первой попавшейся кочке. После этого каждый отрезал по кусочку ремня от нарты покойного, и, бросив на землю, в строгом порядке, гуськом, не обгоняя друг друга, все ушли домой.

У кочующих на Тайгоносском полуострове коряков в юрту умершего приезжают его друзья и родственники. Приезжие кладут свои нарты на крышу юрты в том месте, где лежит труп, оленей привязывают к юрте в месте, ближайшем к трупу. Одежду, сделанную из белых шкур оленя (неприменно домашнего), привозят родственники в том случае, если покойник при жизни не заготовил её себе сам. Из юрты мертвеца вывозят на нарте, у входа кладут несколько поперечных жердей. Когда нарту вташат на эти жерди, в неё впрягают оленей и начинают раскачивать. Если получается скрип, это обозначает, что покойник на впряжённых оленях не хочет ехать, тогда впрягают других оленей, и эта процедура длится до тех пор, пока нарта сойдёт с жердей без скрипа.

Заготовленный для сожжения трупа костёр обставляется по углам четырьмя воткнутыми копьями. Ввезя труп за колья, два из них кладут на землю, как бы закрывая вход к костру. По окончании все присутствующие уходят с места сожжения с другой стороны и кладут на землю два оставшихся воткнутыми кола, тем самым, как бы отрезают покойнику и этот путь возвращения с «того света». Оленей, привезших покойника, убивают, мясо их варят и едят. Оставшееся мясо можно брать с собой с места сожжения, но ни в коем случае нельзя брать кости, так как, по понятиям коряков, если взять кости, то покойник не сможет на «том свете» ездить на этих оленях. В некоторых местах, уходя от костра, все присутствующие проходят мимо старейшей женщины, которая каждого проходящего ударяет горящей головней.

Табуны оленей и уход за ними

Определение места кочевья зависит исключительно от наличия хороших пастбищ для оленьих табунов. Как правило, кочующие туземцы совершают кочевки в узко ограниченном районе в течение трёх зим, после чего укочевывают далеко в другой район и через такой же промежуток времени снова возвращаются на прежнее

место. Такие переселения объясняются условиями произрастания мха. На летнее время табуны перегоняют ближе к берегу моря.

Нормальным считается табун около двух тысяч голов. Бедные хозяева обыкновенно соединяют свои табуны для совместного хождения. Табунов меньше двухсот голов мне видеть не приходилось. Состав табунов по полу животных бывает различный. Как правило, можно сказать, что чем меньше табун, тем больший процент в нём самок — важенок. Нормальным соотношением я считаю 40—45 % самок и 55—60 % самцов в осеннее время. К весне же это соотношение значительно изменяется вследствие убоя самцов на мясо. Большая часть самцов «выкладывается», производителей оставляется не более двадцати пяти — тридцати самцов на тысячу важенок.

Самый способ «выкладывания» чрезвычайно примитивен: самца несколько человек валят на землю и держат, а хозяин перекусывает зубами соответствующие места. Самцы и самки большую часть года ходят вместе, только в период тельбы, в апреле и мае, табуны разделяют, важенок пасут в более укрытых от ветра местах, где есть кустарники, самцов же держат на большом расстоянии, чтобы они не мешали тельбе и не топтали телят.

Уход за табуном чрезвычайно примитивен. Зимой днём не всегда при табуне имеется сторож, только ночью один-два туземца охраняют табун от волков. В зависимости от наличия мха перегоняют с одного места на другое. Летом с табуном гораздо больше хлопот: олени волнуются вследствие укусов слепней и комаров, стараются убежать от них, благодаря чему табун находится в постоянном движении. Не доглядел пастух, и табун разбежится в разные стороны. Время от времени табун необходимо гонять на водопой, что тоже, принимая во внимание волнение оленей, задача не из лёгких. Очень тяжёлая и большая задача — это отделение перед тельбой важенок от самцов. В данном случае кочевники всегда помогают друг другу, так как одно стойбище справиться с этим делом не в состоянии. Во время тельбы ведётся постоянное наблюдение за тем, чтобы важенка не бросила своего телёнка. В малых табунах в таких случаях важенку связывают и к ней подтаскивают телёнка и держат её связанной до тех пор, пока она не привыкнет. В больших табунах, при малом количестве людей и большом количестве важенок, сделать это не представляется возможным, а потому, обыкновенно, телёнка, брошенного матерью, убивают, а важенку убивают после того, как она в течение двух лет после тельбы бросает телёнка. Молоком важенок коряки для

личных потребностей почти не пользуются, только в очень редких табунах доят одну-двух важенок — это проделывается ртом. Пососав ртом молоко, его сплевывают в сосуд, во время доения важенка лежит связанная. От одной важенки в сутки получается одна-полторы бутылки очень густого, на вкус сладкого молока.

Перегонка табунов к побережью, подчас за несколько сотен вёрст, начинается, как только стает снег и вскроются реки. Обратная кочёвка на зимние места производится с таким расчётом, чтобы перегон был закончен до первого снега. Зимой табун никогда не перегоняется на большое расстояние, потому что оленям это грозит падежом. Объясняется это трудностью добывания оленьими мха, для чего олень должен разрыть ногами снег, часто сильно прибитый ветром. Как общее явление, только наиболее сильные олени наедаются зимой досыта, более же слабые живут впроголодь. Отсюда понятно, что большой переход голодных животных окончательно подрывает их силы.

Коряки и чукчи никогда не ездят на оленях верхом и не перевозят грузов вьюком, так как считают это «грехом», а потому летние переходы табунов, когда нельзя запрягать оленей в нарты, для сопровождающих табун людей чрезвычайно тяжелы: им приходится не только идти пешком, но и тащить на своих плечах всё необходимое. Этим объясняется, что при летней перегонке табунов к морю уходят с ними только мужчины, юрты с семьями остаются на месте. С табуном всегда идёт сам хозяин, не рискуя доверить его работникам в летний, наиболее ответственный период. Считаясь с необходимостью весь свой скарб нести на своих собственных плечах, пастухи на лето берут с собой только самое необходимое, редко кто имеет с собой палатку или полог, укрытием от непогоды служит выделанная медвежатина, на ноги одевают непромокаемые «сары», сделанные из шкуры акибы или ларги.

У табунов три главных врага: гололедица, эпидемические болезни и волки, для молодняка же, кроме того, ещё и пурги.

Осенью, когда случается, что после дождя сразу наступает мороз, мох обмерзает, и олень не в состоянии его добывать; начинается массовая голодовка и падеж. С болезнями оленей туземцы совсем не борются и не знают никаких лечебных средств. Самая опустошительная — копытная болезнь, поражающая табуны в летние месяцы. С наступлением зимы, когда приходится оленям добывать себе корм, разгребая снег копытами, больные копытной болезнью олени сделать этого не могут, они постепенно тощат и в конце

концов сдыхают. Выздоровление от копытной болезни случается очень редко, обыкновенно пропадают все сто процентов больных.

Волки также наносят большие опустошения в табунах. Мною отмечен случай, когда в один налёт волки задавили тридцать шесть оленей; характерно, что они задавленных оленей бросают, вырвав и съев только язык. Обыкновенно, конечно, волки не дают столько оленей. Главный вред их налётов заключается в том, что они разгоняют табуны, и хозяева не бывают в состоянии отыскать впоследствии всех своих оленей. Особенно большой вред волки наносят, когда ворвутся в табун важенок во время тельбы: испуганные самки бросаются в бегство и дают телят или теряют их. Нанесённый волками ущерб исчисляется в каждом случае десятками, а иногда и сотнями телят. Нормальный падёж оленей в годы, когда нет эпидемий, в среднем около тридцати процентов приплода данного года. Эта цифра достигает такой внушительной величины, главным образом, за счёт падежа новорождённых телят, причиной гибели которых в большинстве случаев бывает пурга, во время которой телята отбиваются от матерей и замерзают.

Каждый хозяин клеймит своих оленей, чтобы не смешать с чужими, но и помимо этого туземец обладает в отношении оленей прекрасной памятью. Хозяин всегда узнаёт, не разглядывая клейма, своего оленя, если таковой попал в чужой табун. Не зная счёта и не зная поэтому числа оленей в табуне, хозяин или работник, обойдя табун, всё же сразу заметит пропажу оленя и сможет описать его приметы. Не выходя из юрты, хозяин указывает по приметам, какого именно оленя убить, и работник найдёт его в табуне из нескольких тысяч голов.

Туземцы никогда не убивают на мясо первого попавшегося оленя. Наиболее сильных оленей-вожаков, которые обыкновенно идут впереди табуна и разрывают снег, давая возможность доставать мох более слабым, никогда не убьют. Обыкновенно бьют тех, относительно которых существует опасение, что они не выживут зиму. Этим объясняется, что жирное мясо можно достать только в начале зимы. Нормальный приплод считается в среднем сорок процентов общего числа голов табуна.

Жилище туземцев

Устройство юрт оседлых коряков, живущих по охотскому побережью в селениях Парень, Куял, Тылхай, Микино, Шестаково, Лываты, Ерночки, Речка, Каменное и Таловка, показано на схе-

матическом чертеже (фиг. 1). Юрта коряков, расселённых на восточном побережье Камчатки в селениях Телечики, Вивинское, Витвей, Хайлино, Култушное, Олюторка, Пахача, Апука и других гораздо примитивнее, холоднее и в дождливое время протекает (фиг. 2).

Первый тип юрт сделан из двойного ряда жердей с засыпкой между ними землёй и обкладкой сухой травой первого ряда их. Толщина засыпки около 70 см. Наклонная часть юрты и крыша держатся на толстых брёвнах *А*, перекрытых балками *Б*. В крыше сделано отверстие *Д*, служащее для выхода дыма и вместе с тем являющееся дверью в зимнее время и единственным окном. Закрывается это отверстие щитом только ночью, в то время, когда очаг в юрте не топится. Пристройка *В* с дверями *е* и *ж* — летний вход в юрту, зимой же дверь закрывается наглухо; самая пристройка служит складом для продуктов и другого. Дыра *з*, закрытая вязкой соломой *и*, и дверь *е* открываются зимой во время топки очага для вентиляции. Входят зимой в юрту при помощи лестницы *л* в отверстие *д*. Самая лестница (фиг. 3) устроена из пластины толстого дерева с выдолбленной внутренней частью. Дыры, служащие как бы ступенями, сделаны такой величины, чтобы можно было поставить ногу. Верхняя усечённая пирамида *к*, *м*, *н*, *о* служит для защиты отверстия *д* от заноса снегом во время пурги, тут же складываются дрова и другие предметы. Очаг *р* расположен немного отступя от середины в сторону летнего хода; сделан он из больших камней, уложенных в форме небольшой ограды, вышиною в 18 см, диаметр огороженного места 70—107 см. Над очагом, на высоте 175 см, уложены две жерди, на которые складывают дрова для просушки. В некоторых юртах встречаются нары, в большинстве же случаев их нет, а спят прямо на земле, подложив оленьи шкуры и хвою.

Отсутствие нар, безусловно, имеет свои причины, так как чем ниже сидишь или лежишь в юрте, тем чище воздух от дыма. В каждой юрте имеется от одного до трёх пологов, сделанных из оленьих постелей, ровдуги или дрели. Величина их зависит от состоятельности хозяина и величины юрты.

Внутреннее устройство юрт второго типа, преимущественно встречающихся на восточном побережье, одинаково с первым. Разница заключается в том, что некоторые туземцы, живущие в этих юртах, не ставят лестницы и круглый год ходят через летний ход. Наружное устройство различно: нет верхней усечённой пирамиды; самая юрта сделана из одного ряда жердей, обложена землёй и дёрном. Юрта второго типа врыта в землю гораздо глубже,

чем первого, размеры как пола, так и высота меньшие. Характерно, что для постройки юрты не требуется ни одного гвоздя, скобы и т. д., вообще железных частей, за исключением цепи или проволоки, которые служат для подвески чайников или котлов над очагом.

Юрты кочующих коряков и чукчей устроены из целой системы тонких жердей, связанных между собою ремнями и покрытых сверху выделанными и сшитыми между собой оленьими постелями (фиг. 4). Основными при постановке юрты являются жерди *a*, *b*, *c*, связанные ремнём так, чтобы концы их уходили вверх за перевязку и служили как бы гнездом для укладки концов жердей, держащих крышу юрты. Форма юрты — правильный восьмигранник высотой 145—180 см, на который надстроена сперва усечённая восьмигранная пирамида, на последнюю — восьмигранная пирамида. Стороны восьмигранника представляют собою правильные прямоугольники *g*, связанные между собою диагональной жердью *d*, и подпёрты с внутренней стороны наклонными жердями *e*. Наклонные плоскости усечённой пирамиды образуются жердями *k*, лежащими с одной стороны на верхних сторонах прямоугольников *g*, с другой — на жердях *m*. Последние, в свою очередь, лежат на поставленных наклонно жердях, имеющих на концах форму рогатки (*n*). Верхняя пирамида образуется жердями *l*, лежащими нижними концами на жердях *m*, верхними в гнезде, получившемся от соединения основных жердей *a*, *b*, *c*. Жерди *o* и *p* с перекладиной *e* служат для подвески над костром чайников и котлов.

Вся вышеуказанная система жердей покрывается оленьими постелями так, чтобы в середине крыши осталось круглое отверстие диаметром около 106 см, служащее для освещения юрты и выхода дыма. Сверху юрта увязывается ремнями.

Для перевозки юрты с места на место существуют специально приспособленные сани. На фиг. 5 показаны сани, приспособленные для перевозки жердей. Верхняя часть саней наклонная, к ней прикрепляют концы жердей и везут их волоком.

Для постелей, покрывающих юрту, тоже имеются специальные сани. Разборка юрты продолжается не более часа, причём каждая вещь кладётся на сани на предназначенное ей место. Сборка юрты занимает приблизительно столько же времени.

Во время сильных ветров, чтобы юрту не сорвало, её дополнительно крепят ремнями, кладут на крышу сани, жерди и т. д. Внутри юрты обязательно имеются пологи, не более трёх, сделанные из

оленьих постелей. Количество пологов зависит, в большинстве случаев, от количества жён у хозяина юрты.

Юрты кочующих тунгусов устроены так же, как и у коряков и чукчей; разница в том, что жердевое основание покрывается не оленьими постелями, а ровдугой. Размеры юрты значительно меньше. В юрте пологов не делается, а спят в меховом мешке все вместе. Жерди значительно тоньше и легче. Тунгусы для передвижения редко употребляют сани. Передвижение совершается верхом, перевозка тяжестей — вьюком на оленях. Юрта перевозится в специально приспособленных вьюках, чем и объясняется её лёгкое устройство.

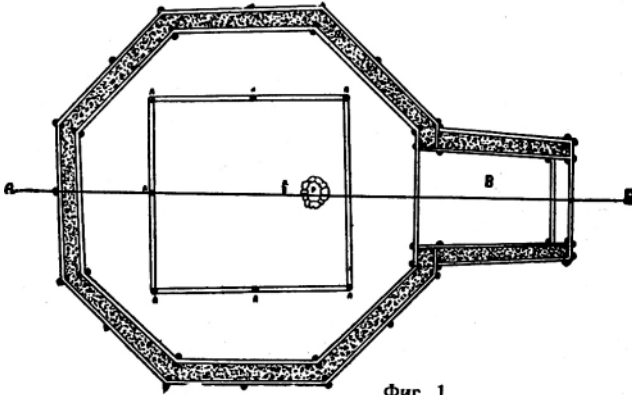
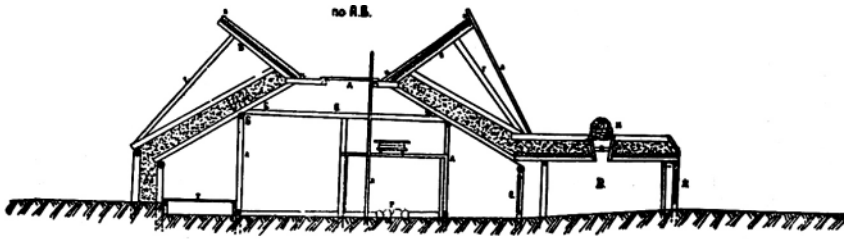
Ежегодно приходится заменять приблизительно половину оленьих постелей, покрывающих юрту, причём обычно полог ежегодно делается новый, старый же полог идёт на крышу, где служит ещё не менее двух лет. На лето юрта покрывается старыми, негодными для зимы постелями. Для устройства самой маленькой юрты требуется тридцать две постели.

Выделка оленьих шкур для устройства юрты производится обычным способом, каким выделывают вообще меха. Сшивка постелей производится кручеными оленьими жилами.

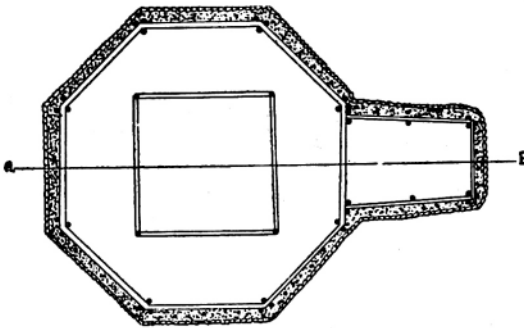
В обследованном мною районе я нашёл только одну юрту, в селекции Апука, в которой была поставлена железная печь, костром же пользовались исключительно для варки пищи. Туземцы упорно не желают вводить какие бы то ни было новшества в свои жилища. В селекции Каменном один туземец по имени Хачилевин купил дом русского типа, этот дом стоит уже несколько месяцев пустым. Хачилевин живёт в своей старой юрте и боится переселиться. Разум ему говорит, что в доме жить лучше. Он в разговоре со мною искренне соглашался с моими доводами за переселение, но всё же предрассудки оказались сильнее разума, и дом до сих пор пустует.

На лето многие оседлые коряки оставляют свои юрты. В районе бухты Корфа летом они живут в дрелевых палатках. Некоторые семьи, собравшись по нескольку, устраивают себе юрты из постелей, обычно очень маленькие, а так как в них живёт по нескольку семейств, то теснота и грязь в них невообразимая. Переселение в летние жилища происходит в апреле.

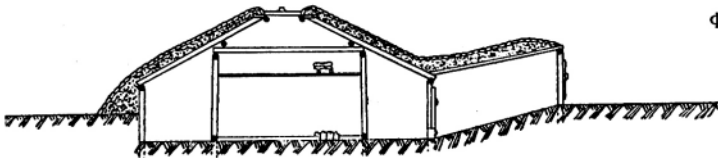
У некоторых туземцев, например, паренцев, имеются так называемые летники. Всё селение Парень, живущее зимой километров за двадцать пять от берега моря, на лето переселяется к берегу моря в летники; летний посёлок носит название «хаимчик».



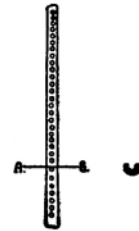
Фиг. 1.



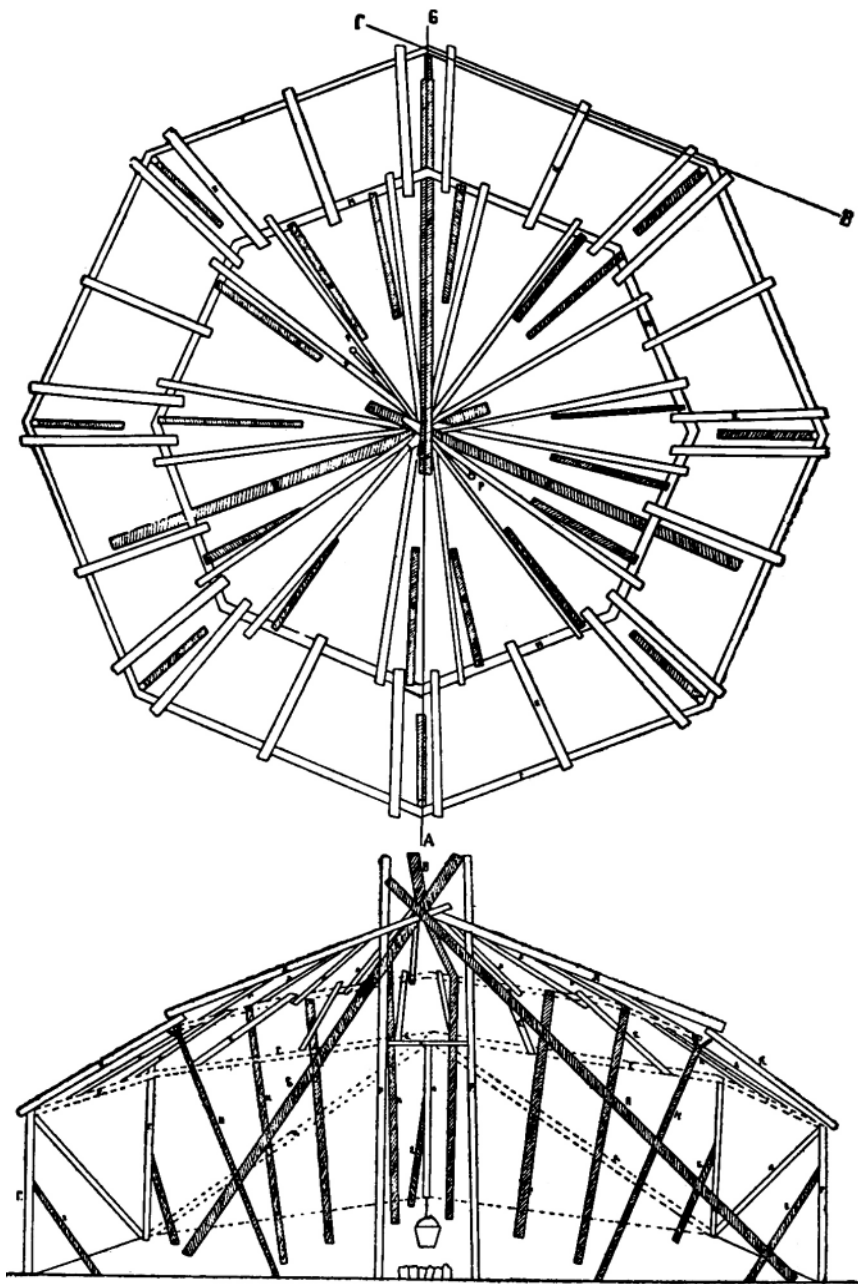
по Я.Б.



Фиг. 2.



Фиг. 3.



Фиг. 4.

Юрты в этом посёлке устроены так же, как и зимние, но меньшего размера. Некоторые туземцы летом живут под перевернутыми байдарами, когда же последние уходят в море, то семья живёт без какой бы то ни было крыши.

Хозяйственные постройки туземцев

Хозяйственные постройки очень несложны. Главное внимание обращено на то, чтобы хранимые юколу, нерпичий жир, мясо и другие съестные припасы не могли достать собаки. Для достижения этой цели амбарчики устраиваются не непосредственно на земле, а ставятся на высоте около 2,13 м (одна сажень. — *Ред.*) на куст из жердей (фиг. 6).

Помост, на котором строится амбарчик, обычно квадратный, величиною около 4,26 м, самая постройка не более 2,5 кв. м площадью и приблизительно такой же высоты. Постройки сделаны очень непрочны и неряшливо, рубка стен не выдерживает ни малейшей критики, крыша тоже. Никаких запоров и замков у амбарчиков не делают: собаки не могут достать из-за высоты, а других воров среди туземцев нет. Помост огорожен высоким забором с двумя или тремя рядами жердей, находящимися на расстоянии друг от друга около 50—70 см, служащими для просушки юколы.

Амбарчики, поставленные непосредственно на земле, встречаются очень редко; у них конструкция более прочная, двери обычно заваливаются брёвнами и принимается ряд других мер для ограждения хранимого от собачьих налётов.

Для сушки юколы устроены юкольники, представляющие собою жерди, вбитые в землю и перекрытые между собою перекладинами, на которые вешается для просушки юкола.

Несмотря на то, что такая примитивная просушка в случае дождливого времени ведёт к порче юколы, туземцы до сих пор почти не устраивают юкольников под навесом, и таковые можно встретить только как редкое исключение.

Предметы домашнего обихода

Почти в каждой юрте оседлых коряков имеется стол (фиг. 7) высотой около 35 см, длиной в 106—140 см, шириной около 70 см. Крышка стола не прибита. Когда запачкают или прольют что-либо на одну сторону крышки, её переворачивают на другую. Внутри стола есть ящик, куда складывают всякое барахло без разбора.

В каждой юрте как оседлых, так и кочующих туземцев, имеются деревянные подносы (фиг. 8), служащие для установки чашек; небольшие корытца (фиг. 9), в которых подают мясо и жир для еды; деревянный крючок (фиг. 10), служащий для выбивания снега, налипшего во время пурги на одежду и обувь; чашка для растирания лемешины (жевательный табак) (фиг. 11), самое растирание производится длинной палкой с верхним утолщённым концом; сосуд для нечистот (фиг. 12), сосуд для воды вместимостью около двух-трёх вёдер (фиг. 13).

К сосуду приделаны ремни для переноски его на спине. Все вышеуказанные предметы устроены из дерева. Ложки делаются из кости, форма их скорее напоминает черпак (фиг. 14), чем ложку. Для вытаскивания мяса из котла имеются крючки, сделанные из толстой проволоки.

В юртах оседлых коряков имеется подставка для леек (фиг. 15), состоящая из двух поставленных горизонтально досок, соединённых между собою двумя вертикальными палками. Лейка представляет собою кусок листового железа с загнутыми краями, самой разнообразной формы.

Чайная посуда хранится в специально для этого сделанных ящиках, часто обитых железом или лахтаком. При укладке в ящик посуду завёртывают в грязную тряпку или ровдугу.

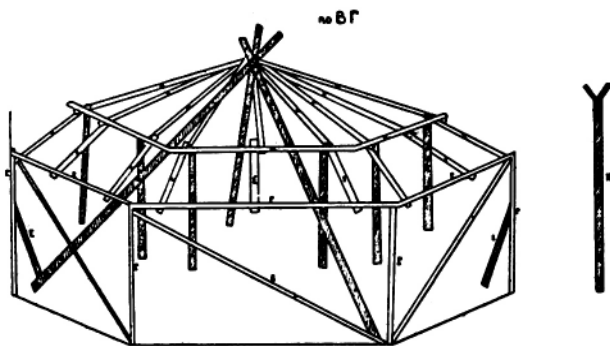
Из фабричных изделий в каждой юрте встречаются медные чайники и котлы, эмалированных туземцы не любят, у некоторых имеются эмалированные тазы и тарелки. Дома туземцы употребляют для чаепития фарфоровые чашки и блюдца, которых имеется у них очень ограниченное количество. В дорогу большинство из них берёт эмалированные кружки.

Байдара

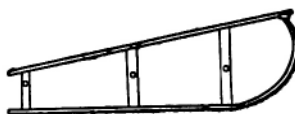
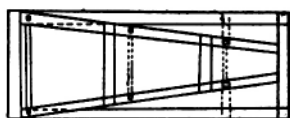
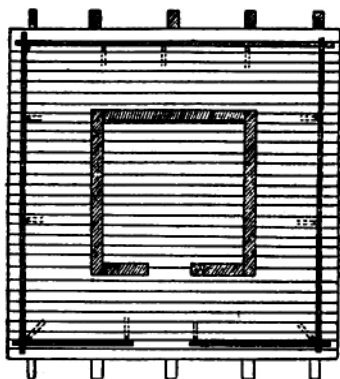
Байдара представляет собою систему тонких и узких дощечек, связанных между собою китовым усом или, за неимением такового, нерпичьими ремнями.

Этот каркас обтянут нерпичьими лахтаками. Размеры байдар от 6,4 до 10,6 м длины, ширина кормы до 140—210 см, носа до 210—280 см, грузоподъёмность до четырёх тонн. Несмотря на то, что байдара не имеет киля, на воде она очень устойчива.

Вес не более 130—160 кг. Железных частей в байдаре нет никаких, ни одна доска не соединена с другою в шип, доски просто притянуты китовым усом или ремнём. Лахтаки сшивают

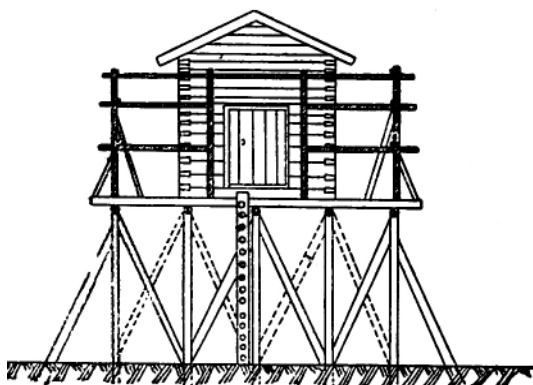


Фиг. 4.

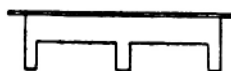


Фиг. 5.

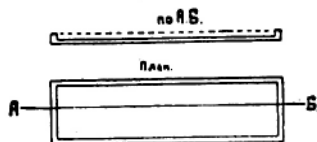
Фиг. 6.



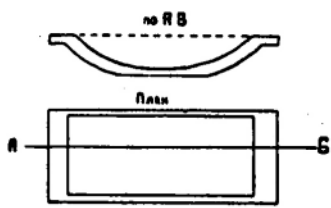
Фиг. 6.



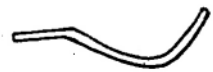
Фиг. 7.



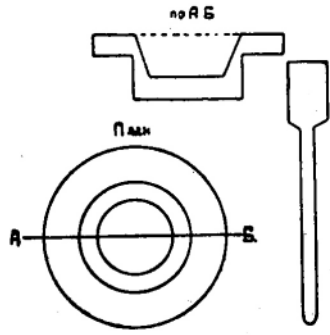
Фиг. 8.



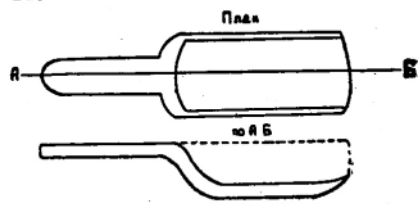
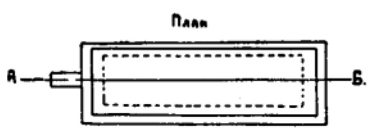
Фиг. 9.



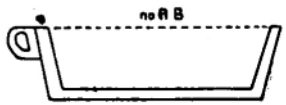
Фиг. 10.



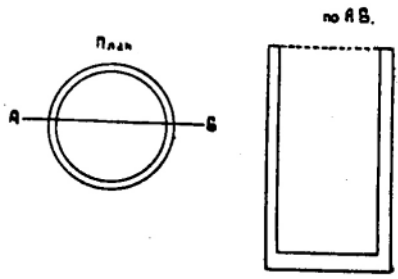
Фиг. 11.



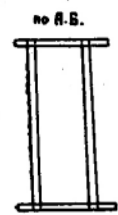
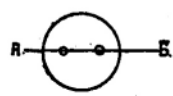
Фиг. 14.



Фиг. 12.



Фиг. 13.



Фиг. 15.

нитками, сделанными из оленьих жил; шов обыкновенный, которым сшивают меха.

Самое устройство скелета байдары видно из схематического чертежа (фиг. 16) и пяти разрезов к нему. На обтяжку байдары идёт от девяти до двенадцати лахтаков. Руля не имеется, управляется байдара при помощи кормового весла (фиг. 17); управлять ею, несмотря на всю примитивность, очень легко.

Весла (фиг. 18) пристраиваются к байдаре без уключин, при помощи двух ременных петель, привязанных к бортам с двух сторон перпендикулярно веслу.

Парус (фиг. 19), сделанный из дрели, парусины или ровдуги, ставится ближе к корме, чем к носу, парусная мачта на дне вставляется в специально сделанное гнездо, на уровне же верха бортов байдары в большинстве случаев привязывается ремнём к перекаладине.

На носу байдары имеется деревянная вилка, через которую вытягивают из воды ремнём пойманного на носок зверя.

Обязательная принадлежность каждой байдары — багор (фиг. 20), большей частью с железным наконечником, но до сих пор ещё встречаются багры с костяными наконечниками. Главное назначение багра — отталкивать от носа байдары плавающие льдины.

Ценность большой байдары около 450 руб., которые слагаются из следующих элементов: стоимость лахтаков, идущих на обтяжку в количестве двенадцати штук, по 25 руб. — 300 руб., ремни и китовый ус около — 50 руб., работа, затраченная на устройство скелета байдары, шивку лахтаков и обтяжку, приблизительно 100 руб.

Лахтаки служат не более двух лет, после чего становятся, безусловно, негодными и опасными для обтяжки байдары. Двухгодовалые байдарные лахтаки не имеют ценности и для других хозяйственных нужд, как потерявшие прочность. Например, сделанные из них же подошвы к торбасам пронашиваются не более, чем в недельный срок.

Коряки стараются менять лахтаки на байдаре ежегодно, так как после одногодного употребления лахтаки не теряют своей ценности. Такие лахтаки употребляются местным населением для подшивки сар и вообще обуви, так как имеют свойство не растягиваться от сырости и при просушке не теряют формы и не затвердевают. Прочность не уступает лахтакам, не бывшим в употреблении.

Наблюдалось, что местные купцы давали туземцам напрокат для байдар лахтаки на один сезон, после чего пускали их в продажу на местном рынке без всякой уценки.

Для обслуживания байдары требуется не менее семи человек, когда на море нет плавающих льдин, и не менее восьми при их наличии. Один сидит на корме и управляет байдарою, другой на носу с багром следит за плавающими льдинами и отталкивает от них байдару, остальные шесть человек — гребцы на трёх парах вёсел, по одному веслу на каждого. Когда нет в море льда, на носу человек не ставится. В больших байдарах обязанности распределяются так же, только количество гребцов зависит от количества весел.

Дисциплина при обслуживании байдар строжайшая, все беспрекословно подчиняются старшему, последний управляет байдарою при помощи кормового весла. Отдыхают гребцы по команде, отдых очень непродолжительный, всего пять-десять минут в час. Ближайшая пара гребцов к корме сидит лицом по направлению движения и как бы отталкивает от себя вёсла, остальные гребцы сидят спиной в направлении движения и гребут нормально. Если в байдаре есть люди сверх требуемого для обслуживания количества, им сидеть без дела не дают, они помогают грести, дергая весло за ремень, привязанный к его концу, помогая непосредственному гребцу. Сидят они во время этой работы на дне байдары за спиною гребца.

Для временной починки пробоин в каждой байдаре имеется нерпичий жир, которым затыкают дыру снаружи.

Как гребцы, коряки поразительно выносливы. У туземцев наблюдается определённая боязнь моря. У них есть масса своих примет, предсказывающих погоду, и если налицо примета (часто ошибочная), предсказывающая ветер, в море они не выйдут. При плавании держатся преимущественно возле берега, редко рискуя отойти от него с целью сокращения пути.

Плавание на байдаре связано со многими повериями и суевериями религиозного характера: при спуске на воду весной и при окончании сезона устраиваются религиозные праздники. Туземцы верят, что тот, кто не знает соответствующих заклинаний, не будет удачно плавать на байдаре.

На каждой байдаре имеется свой «хозяин» — это деревянная доска с большим количеством углублений в ней (фиг. 21), первоначальное значение этой доски — это добыча огня при помощи деревянного сверла, откуда и произошли углубления

на доске. Поскольку туземцы — огнепоклонники, постольку ими обожествлена и эта доска. Без «хозяина» байдара не выйдет в море. Для добычи огня у них имеются спички и кремни, «хозяин» же в настоящее время играет роль только религиозного символа.

На носу байдары имеется обычно небольшое количество лемешины, прилепленной к деревянной вилке — это жертвоприношение «хозяину».

Малая байдарка

Длина малой байдарки — около 1 м 77 см, ширина около 70 см, высота, не считая верхнего деревянного обруча, — 18—22 см. Каркас сделан из тонких досок, связанных между собою китовым усом или нерпичьими ремнями, и обтянут одним большим нерпичьим лахтаком снизу и сверху (фиг. 22). Стоимость байдарки около 45—50 руб., считая лахтак 30 руб., китовый ус и ремни 5—7 руб., работу 13—15 руб.

Когда в байдарку садится человек, она погружается настолько, что остаётся не более вершка от воды до бортов. Во время плавания вода перекачивается поверх байдарки и не попадает во внутрь благодаря обручу *б*.

Для большей безопасности некоторые пришивают к обручу кожу и, сев в байдарку, покрываются по грудь ею, другие накидывают на обруч свою кухлянку, что тоже препятствует проникновению воды.

Гребец сидит непосредственно на дне. Управляют байдаркой при помощи двух вёселок (фиг. 23), похожих на маленькие лопатки, длиной около 31—35 см, шириной 10—13 см. Эти лопатки привязаны к байдарке на ремне длиной около 70 см.

Обязательная принадлежность байдарки — крючок на кривой палке (фиг. 24), исполняющий функции багра. Кривая форма палки объясняется неудобством укладки на верх байдарки прямого багра. Этот багор прикрепляется к верхней плоскости байдарки двумя петлями.

Назначение байдарки — подкрасться к замеченному с большой байдары зверю, лежащему на плавающей льдине. Человек, садящийся в байдарку, надевает белую кухлянку и старается во время движения не шевелиться, чтобы не спугнуть зверя и чтобы последний принимал байдарку с человеком за плавающую льдину. Гребля, туземец действует исключительно кистями рук,

не шевеля самими руками. Оттолкнувшись вёселками в воде, он не вынимает их, а возвращает в исходное положение, поставив ребром против воды.

Бат

Бат делается из твёрдого дерева, у которого выдалбливается сердцевина. Длина бата 3,7—5,8 м, ширина 53—70 см, высота 53—62 см.

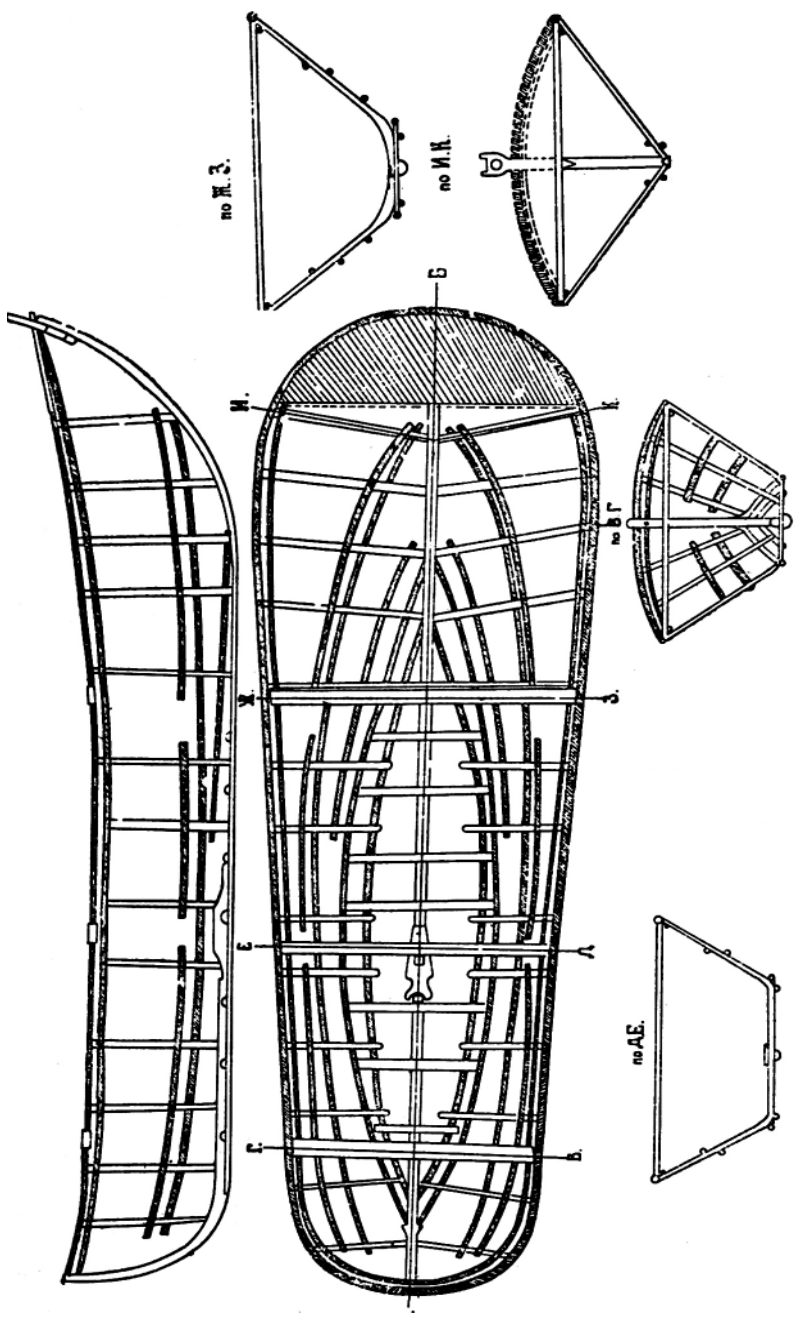
Управляют батом при помощи двухстороннего весла. На воде он очень вёрткий, гребцу нужно много искусства, чтобы всё время поддерживать равновесие тела и не перевернуться. Во избежание этого некоторые туземцы при плавании по горным речкам с быстрым течением кладут на борт бата перпендикулярно к нему две-три жерди длиной около 4,3—5,4 м, которые при правильном положении бата воды не касаются и не препятствуют движению, а в опасные моменты предохраняют гребца, препятствуя бату перевернуться. Бат настолько лёгок, что без особых усилий на нём можно плыть против любого течения.

Стоимость бата 15—20 руб. Употребление батов самое разнообразное: их применяют при ловле рыбы, гоняются за нерпами, зашедшими во время прилива в реки и не успевшими выйти с отливом, устраивают из батов что-то вроде паромов, спаривая и страивая их во время весенней распутицы, когда лёд на мелких реках уже тронулся. Едущие на собаках везут с собою баты для переправы.

Лодка

Основанием лодки в большинстве случаев является колода, выдолбленная из толстого дерева, наставленная сверху четырьмя досками по две на каждый борт. Толщина досок 3—4 см. Глубина колоды у носа и кормы около 22 см, посередине — около 15,5 см. Длина лодки около 6,4 м. Первые дуги от кормы и носа на расстоянии около 1,4 м, остальные на расстоянии около 71 см друг от друга. Ширина лодки около первой дуги, считая от носа, 102 см; второй — 128 см; третьей — 133 см; четвёртой — 133 см; пятой — 115 см.

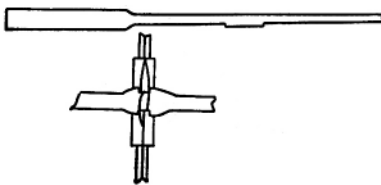
Общая глубина лодки около 53 см. На носу и корме поверх колоды поставлены доски шириной около 18 см, каковые образуют тупые верхи носа и кормы.



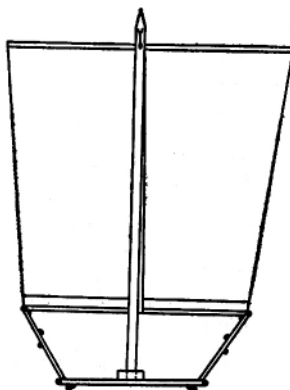
Фиг. 16.



Фиг. 17.



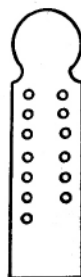
Фиг. 18.



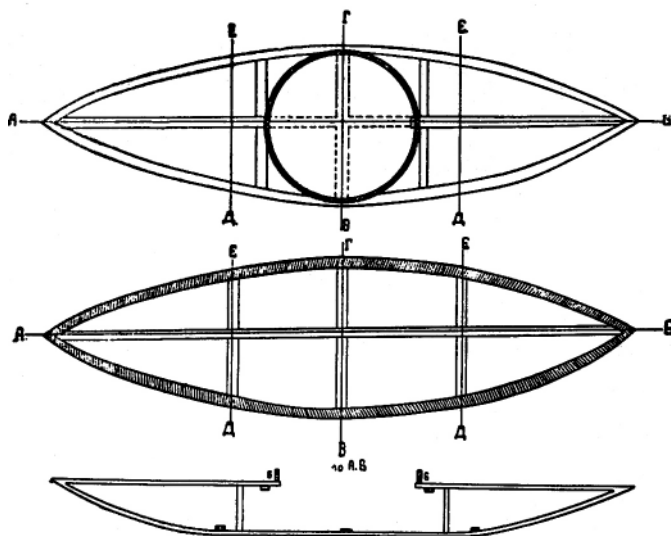
Фиг. 19.



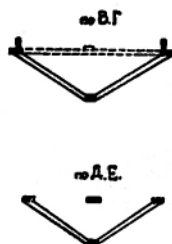
Фиг. 20.



Фиг. 21.



Фиг. 22.



Лодка на воде недостаточно устойчива. Передвижение по течению на вёслах вверх по реке вследствие быстрого течения местных рек невозможно. Для передвижения иногда пользуются парусом, большей же частью тянут лодку на бечеве волоком или непосредственно люди, или собаки. Передвижение очень медленное и трудное вследствие неудобства берегов. Часто тянущим лодку приходится бродить чуть ли не по пояс в холодной воде. Для перевозки лодки впрягают шесть-восемь собак.

Собачья нарта и упряжь

Длина нарты (фиг. 25) от 2,8 до 4,3 м, ширина между наружными гранями полозьев 53 см, высота от полозьев до вязков 22—27 см.

Нарта делается из берёзы. Полозья толщиной до 6,6 см насаживаются на копыльях *к* при помощи шипов и туго притягиваются нерпичьим ремнём. Каждая пара копыльев *к* соединена между собой вязком *в* и стянута ниже и выше вязка нерпичьими ремнями. Передние загнутые концы полозьев прикреплены ремнями к барану *б*, который, в свою очередь, притянут ремнями *р* к передней паре копыльев и тем удерживает концы полозьев в согнутом состоянии. На вязки *в* кладутся доски *г* толщиной не более 1,3 см. Передние концы досок прикреплены к бруску *е*, который, в свою очередь, прикреплен к барану *б* ремнями. Тонкие бруски *а*, называемые вардинами, привязаны к верхним концам копыльев *к*; вардины, соединённые с досками *г* ремненным переплётком, образуют место, куда кладётся груз для перевозки. Дуга *д*, притянутая к первой паре копыльев ремнём, служит для поддержания нарты от переворачивания на кочках и косогорах.

Остол (фиг. 26) служит для задерживания и останавливания нарты. Нижний конец его просовывают сверху одного из полозьев у соединения их со второй парой копыльев и, действуя как рычагом, тормозят, по местному выражению «буровят», держа верхний конец остола правой или левой рукой, в зависимости от того, с какой стороны нарты сидит ездок, по местному выражению «каор».

Груз, который везут на нарте, заворачивают в кусок материи или ровдуги, называемый «чумом», и туго привязывают к вардинам ремнём, называемым «поваром». Как при постройке, так и при починке нарты не употребляется ни одного куса железа, все части соединяются ремнём. При починке употребляются деревянные гвозди конической формы, забиваемые в просверленные дыры вместе с кусочком ремня, что гарантирует прочность.

В дороге часто приходится делать мелкие починки нарты, необходимыми инструментами для которых являются коловорот с перкой или сверло местного типа, топор и нож. Эти инструменты каждый каюр обязательно возит с собой.

Наиболее частыми являются поломки полозьев, копыльев и другого. Сломавшиеся полозья чинят при помощи деревянной накладке около 53 см длиной (фиг. 27). В сломанных полозьях и накладке просверливают несколько дыр, в каждую пару продевают ремень, образующий собою петлю, затем в просверленные дыры вбивают берёзовые гвозди, концы которых срезают заподлицо с нижней гранью полозьев. Прочность починённого места достаточна, так как держат не только гвозди, но и положенный петлёй и зажатый гвоздями ремень.

Во время бездорожья иногда полозья настолько стираются, что ехать дальше нельзя, запасных же полозьев с собой нет; в этом случае к нижней грани полозьев прибавляют теми же деревянными гвоздями с кусочками ремня сплошные накладки, большей частью составленные из нескольких кусков, за неимением на месте подходящего лесного материала. Запасных копыльев обычно с собой не возят, при поломке их укрепляют вспомогательной рогаткой (фиг. 28), притянутой ремнём.

В случае поломки шипа у копыльев, их или делают короче и вырезают новые шипы, если же укоротить нельзя, то ставят приставной шип (фиг. 29) и притягивают его ремнём.

Сломанную дугу чинят при помощи бруска (фиг. 30), туго привязанного ремнём.

Собачья упряжь состоит из потяжного ремня (фиг. 31), прикрепляемого к нарте кляпом, продетым в кольцо *л*, привязанное к барану *б*. К потяжному ремню при посредстве алыков пристёгиваются собаки. Потяжной ремень состоит из нескольких кусков длиной около 1,5 м, соединённых между собой железными кольцами. К одному концу приделан кляп для прикрепления к нарте, к другому — кольцо, за которое пристегивают передовых собак; к кольцам, соединяющим отдельные части потяжного ремня, пристёгиваются попарно собаки.

Наиболее распространены так называемые прямые алыки (фиг. 32), на особенно же старательных собак надевают косые (фиг. 33). Алыки делаются из юфтевой кожи, лахтака и толстой парусины. На середине ремня, прикрепляющего самый алык, имеется два железных колечка *а*, соединённых между собой заклёпкой, на которой они вертятся. Ставятся эти колечки, учитывая

привычку собак вертеться на месте прежде, чем лечь, для того, чтобы собака не запутала алык. Существенная разница между прямым и косым алыком заключается в том, что прямой обхватывает живот собаки ремешком *б*, косой же не обхватывает, а пристёгивается при помощи петли *в* и кляпика к ошейнику собаки. Косой алык для собак менее удобен: при большой натяжке он через ошейник давит на горло собаке. Употребляют его с целью заставить собаку тянуть с меньшим напряжением и тем спасти её от надрыва, по местному выражению, «от затыгивания».

Езда на собаках

Максимальной нагрузкой нарты считается по 16 кг груза на собаку. Ездить на собаках начинают при первом снеге, когда реки и озёра затанутся льдом. В это время езда очень тяжёлая, снега недостаточно, приходится часто ехать по голой земле, если же принять во внимание кочки, которыми тундра сплошь покрыта, станет понятной трудность передвижения. Каждую минуту каюру приходится соскакивать с нарты и поддерживать за дугу от переворачивания. Собаки, ещё жирные, не втянулись в работу, скоро устают. Дневной перегон не более тридцати-сорока километров, а иногда и меньше.

Следующий период отличается пургами, наваливает много снега. Если пурги не сопровождаются ветром, то снег покрывает тундру толстым мягким слоем, иногда в 70 см и более, собаки и нарта проваливаются, передовым собакам приходится грудью пробивать дорогу в снегу. По местному выражению такая дорога называется «убродом». Чем снегу больше, тем, конечно, труднее ездить, у собак не хватает силы тянуть нарту и пробивать дорогу, тогда приходится впереди нарты пускать лыжников, которые лыжами уминают снег, по их следу собаки тянут нарту. В зависимости от глубины уброда иногда приходится пускать до трёх лыжников впереди, идущих гуськом.

При глубине рыхлого снега до 18 см собаки могут идти без лыжников. Скорость движения по уброду от шестнадцати до двадцати семи километров в день. От ветров верхний слой рыхлого снега уплотняется, то есть образуется на поверхности толстая твёрдая кора, по местному выражению «убой», который настолько крепок, что собаки и нарта не проваливаются, езда становится лёгкой, в день можно проехать на хороших собаках до девяноста — ста десяти километров. Единственный недостаток этого пути —

то, что снег ветром «убивается» не везде ровно, местами получают складки, похожие на морские волны — «заструги».

В это время мелкий кустарник покрыт глубоким снегом, объезжать его не приходится, как это делается осенью, дорога имеет наиболее прямое направление.

Если ветер недостаточно силён, то верхний слой убитого снега не имеет достаточной толщины и прочности, ноги собак проваливаются, а иногда проваливается и нарта. Такая дорога хуже уброта. От постоянных провалов у собак начинают болеть ноги, они боятся итти, и их приходится буквально избивать, чтобы заставить двигаться вперёд. Такая дорога местными жителями называется «проломом». Наиболее легко и быстро можно ехать по следу нескольких прошедших нарт, что редко встречается, так как частые пурги заметают следы.

Осенью и зимой для лучшего скольжения полозья нарты обледеняют. Каждый каюр под одеждой возит бутылку с водой. Время от времени нарту переворачивают, берут небольшой кусочек оленьей шкуры, обливают его водой и проводят быстро по полозьям, отчего образуется на них тонкий слой льда. Вся эта процедура местными жителями называется «войда».

Поздней весной ездят исключительно ночью, днём ездить невозможно, тающий снег превращается в жижицу, по которой нарта идёт очень тяжело, собакам же чересчур жарко от весеннего солнца, и они скоро устают. Ночью почти всегда бывают небольшие морозы, на снегу образуется ледяная корка достаточной толщины для того, чтобы нарта и собаки не проваливались. Дорога очень лёгкая, за ночь можно проехать сто десять — сто тридцать километров. Местные жители называют такую дорогу «настом».

В тёплые ночи ледяная корка бывает недостаточно прочна и не выдерживает проходящих собак и нарты. Сплошь и рядом бывает так, что проваливается только один полоз, благодаря чему нарта переворачивается. Под ледяной корой рыхлый снег пополам с водой буквально засасывает провалившиеся ноги или полозья нарты, вытащить нарту очень трудно. Соскакивать с нарты приходится, предварительно надев лыжи, так как без них провалишься по пояс. Такая дорога называется местными жителями «растороп». При такой дороге обыкновенно не ездят, а предпочитают устроить дневку, так как проехать можно не более пяти — десяти километров, да к тому же измучишь себя и собак.

Для весенней езды полозья нарты подбивают китовыми костями, а за неимением их — железом. Подбитая костями или железом

нарта скользит с удивительной лёгкостью по «насту». Зимой подбивка полозьев чем бы то ни было не практикуется, так как легче всего ехать на нарте с деревянными полозьями с «войдой».

Продолжительность весенней езды приблизительно до 20 мая, после чего езда очень затруднительна, так как вскрываются реки, и запоздалым путникам приходится преодолевать большие трудности при переправе. Обыкновенно везут с собой баты, но и на них не всегда предоставляется возможность переправиться из-за быстроты течения, и приходится ехать вверх по реке, иногда несколько десятков вёрст в поисках переправы.

В некоторых местах собак и нарту перетаскивают через реку ремнём. Путь значительно удлиняется, так как выбирают для езды места, где ещё есть снег. Едут, главным образом, по обочинам рек. Выбрать дорогу так, чтобы всё время был снег, невозможно, и очень часто приходится ехать по голой земле.

Если полозья нарты не подбиты китовыми костями, то ехать почти невозможно, собакам подчас не хватает сил стащить нарту с места. При переправе через ручейки часто приходится соскакивать с нарты в воду, чтобы помочь собакам или не дать нарте опрокинуться. Каюр в лучшем случае едет всё время с промоченными ногами, в худшем — мокнет по пояс. Груз на нарте подмокает, отчего становится вдвое тяжелее. Максимальная нагрузка нарты этого периода — не более восьмидесяти килограммов. За одну ночь можно проехать не более двадцати восьми километров.

Собаки, обучение их и уход

Коряки и камчадалы говорят: «С собакой нужно и обращаться по-собачьи», и это совершенно верно. Лаской обучить местную породу собак невозможно. Собака должна знать только одного хозяина. Достигается это следующим образом: хозяин всегда кормит собак, не доверяя этого никому, и никогда ни один камчадал и коряк, держащие хороших собак, никому не позволят на них ездить. Основное обучение заключается в том, чтобы заставить собаку бояться своего хозяина и безусловно ему подчиняться. Собака должна знать команды: остановка, направо, вперед. Для остановки ей кричат «таа», направо — «тах-тах» или «подь-под», налево — «хух» (это слово произносится гортанно и похоже на отхаркивание), вперед командуют — «хак». Для того чтобы заставить собак бежать быстрее, по местному выражению «понужать их», употребляются различные чисто индивидуальные способы: свистят, шикают, кри-

чат слово «хоть», стучат остолом о дугу, ломают маленькие палочки, понужая звуком перелома, и многие другие.

Ко всему этому приучают собак при помощи беспощадного избияния их, во время которого приговаривают слово, к которому приучают. Бьют собак настолько сильно и долго, что человек в один приём избить весь потяг, то есть десять собак, не в состоянии. Делают это с передышками в два-три приёма; бьют не только плетью, но и толстой палкой и остолом.

В некоторых местах практикуется такой способ обучения: непокорную собаку крепко привязывают к колу, покрывают моржовой шкурой и колотят по последней палками, чем причиняют собаке не столько боль, насколько её пугает грохот от удара по моржовине. Это считается последним способом заставить непокорную, по местному выражению «лукавую», собаку покориться хозяину, если же и это не помогает, то собаку стараются кому-либо сбыть или просто убивают её.

Покорившаяся собака после самых тяжёлых побоев подходит к хозяину, если тот её позовёт, и ласкается к нему. Во время обучения собак бьют не ежедневно, а через день, давая один день отдыха. Учить собак рекомендуется с осени. Вообще, осень самое опасное время для собак; испортить её, когда она ещё не втянулась в работу, очень легко: один-два больших переезда, неправильная не в норму кормежка, и собака испорчена на всю зиму в лучшем случае, в худшем — навсегда.

При объезде собак с осени, кроме алыка их привязывают на верёвке за ошейник к потяжному ремню. Делается это для того, чтобы собаки бежали ближе друг к другу и не тратили напрасных усилий, натягивая алык под большим углом в отношении потяжного ремня. Для проезда через кустарники необходимо обучить собак, чтобы они в нём не путались, что возможно только в том случае, если каждая пара идёт, прижавшись друг к другу. Запутавшихся в кустарнике собак при обучении не распутывают, а бьют до тех пор, пока они сами этого не сделают. При езде каюр следит за собаками и если замечает, что какая-нибудь из них перестаёт тянуть, начинает «лукавить», он бросает в неё остолом, а при повторении пристегивает её ближе к барану для удобства избияния. «Лукавство», то есть нежелание здоровой собаки тянуть, необходимо пресечь при самом его появлении, если же не обратить на это внимания, собаку можно испортить.

Щенков обучают ходить в нарте на первом году их жизни, обычно весной, но больше восьми-десяти километров пробега не делают.

Лучшими по возрасту собаками являются трёх-четырёхлетние. В это время они наиболее сильны и выносливы.

Знатоки отбирают их без пробы в пробеге по наружному виду и, главным образом, по форме позвонков. Если позвонки крупные и острые — это обозначает, что собака сильная и лёгкая и годится для быстрой, по местному выражению «хлёсткой», езды. Если позвонок крупный и тупой — значит, собака сильная, грузовая; собаки с мелкими позвонками слабы, маловыносливы и ценятся дёшево. Хорошие собаки ценятся очень дорого, до ста рублей. Среди туземцев хорошей ценой за собаку считается винчестер.

Кормят собак в течение десяти месяцев, июль и август они «промышляют» сами в реках рыбу; в остальное время собак кормят юколой, кислой рыбой, селёдками, нерпичьим жиром и мясом, оленьим мясом и варят суп из сушёной икры, нерпичьего жира и рыбы, иногда примешивая крупу и муку. Нормальной порцией во время работы считается полная юкола и кость, когда же собака не работает, ей дают не более одной юколы или пластину от юколы и кость.

Нерпичий жир употребляется для поправки исхудавших собак. Порция кислой — одна рыба. Оленьим мясом собак кормить не рекомендуется, так как от этого они слабеют, да и самый корм обходится дорого, для прокорма потяга собак требуется не менее одного оленя в день. Кормят собак один раз в сутки, обыкновенно вечером. В дороге корм даётся немедленно по остановке на ночлег, пока собака ещё разгорячённая. Накормить собаку по прошествии десяти минут после остановки — значит её испортить; после такой кормёжки собака начинает потеть, как здесь говорят, «мокнуть», шерсть на животе покрывается сосульками и не греет её, собака начинает зябнуть, а в большие морозы бывают случаи, что и замерзает. Мокнувшая собака становится значительно слабее и менее вынослива. Если собак не накормить немедленно после остановки, то можно это сделать не ранее, как через два-три часа.

Оленья нарта и упряжь

Оленья нарта (фиг. 34) делается из берёзы, длина её 1,75—2,13 м, высота 27—35 см, ширина полозьев различная, обыкновенно меньше ширины собачьей нарты. Полозья n толщиной до 6,6 см прикрепляются в шип к дугам d и привязываются ремнём. Во избежание разгибания дуг d они посередине стянуты ремнями m . Передняя согнутая часть полозьев составная, самый стык a делается в на-

кладку и прикрепляется ремнём. Верхняя часть нарты, на которой сидят и кладут груз, представляет собою как бы решетку (*м, н, о, р*), к которой прикреплены ремнями дуги *д*. Для того, чтобы верхняя часть нарты *м, н, о, р* была устойчива, её укрепляют при помощи боковых дуг *ж* и *з*. Для торможения служит костяной крючок *к*, прикреплённый к одной из основных дуг. На этом крючке имеется перпендикулярная к нему костяная палочка, на которую ездок ставит ногу при торможении, когда же надобность в торможении минует, ногу с крючка снимают, и он свободно волочится около полозьев нарты. Ездок садится на нарту верхом, поддерживая её ногами от переворачивания на кочках и косогорах.

Обыкновенно в нарту запрягают двух оленей. Упряжь состоит из двух ремней с ляжками, которые надевают на оленя через спину, шею и под левую ногу. Оленей связывают на расстоянии 70 см — 1 м, к каждому оленю пристёгивают по одной вожже, одному с правой, другому с левой стороны. Подгоняют оленей при помощи длинного деревянного хлыста с костяным наконечником, похожим на молоточек.

Кроме вышеописанной оленьей нарты у туземцев существуют нарты разных специальных типов: для хранения и перевозки оленьего мяса, для перевозки жердей, из которых составляется каркас юрты, для перевозки оленьих постелей и многие другие. Принцип устройства всех этих нарт почти одинаков; разница, в большинстве случаев, в устройстве верхней части. Оленьи нарты отличаются менее прочным устройством, чем собачьи. Объясняется это очень просто: на оленьи нарты накладывают значительно меньше груза, чем на собачьи, не более 80—96 кг, а потому туземцы в целях экономии не ставят на оленьи нарты хороших пер皮чьих ремней, а заменяют их ларговыми, а некоторые даже употребляют ремни, сделанные из оленьих постелей.

Езда на оленях

Кочующие туземцы для разных надобностей имеют специально обученных оленей. Для весенней и осенней тяжёлой езды выбирают самых сильных, которых зимой не запрягают. Зимние ездовые олени, в свою очередь, разделяются на обыкновенных, запрягаемых для каждодневных поездок, гоночных, предназначенных для перевозки юрты при кочевьи и т. д.

Сравнивая езду на оленях и собаках, должен сказать, что надёжнее передвижение на последних. Едучи на короткое расстояние,

на оленях можно приехать быстрее, чем на собаках, при большом же расстоянии собаки, благодаря своей выносливости, придут раньше. Движение на оленях по уброду почти невозможно, они скоро выбиваются из сил и ложатся, тогда как собаки медленно, но всё же везут. Весной при езде по голой земле олени не могут соревноваться с собаками даже в течение одних суток. Для передвижения на оленях по насту необходим сильный ночной мороз, при котором могла бы образоваться ледяная корка, могущая выдержать тяжесть оленя, тогда как собаки идут при слабом морозе и тонкой ледяной корке.

Тунгусы почти не пользуются нартами при передвижении на оленях, а ездят исключительно верхом, грузы перевозят вьюком. Коряки и чукчи никогда на оленях верхом не ездят, считая это грехом.

Лыжи и хождение на них

Лыжи встречаются двух видов. Величина как тех, так и других одинакова, длина около 106 см, ширина около 18—22 см. Передняя часть лыж загнута вверх очень незначительно. Первый тип лыж (фиг. 35) делается из берёзовых досок и обтягивается сверху и снизу оленьими камусами. Второй тип (фиг. 36) представляет собою что-то вроде решётки, сделанной из тонких жердочек и ремней, ничем не обтянутой, к которой приделано два костяных крючка, служащих для того, чтобы не скользить вниз при подъёме в гору. Лыжа держится на ногах при помощи системы ремешков, обхватывающих ногу за носок и выше пятки; для того, чтобы снять лыжу с ноги, нужно вывернуть носком ногу в сторону, противоположную движению. Более распространён первый тип лыж. Второй употребляют только некоторые туземцы.

Туземец, идущий на лыжах, особенно по уброду, не скользит ими по снегу, а переступает, как будто идёт без лыж. Отмечается большая выносливость в ходьбе. Мне пришлось наблюдать, как один туземец шёл целый день на лыжах по уброду, делая дорогу для нарт, причём делал это добровольно.

Орудия промысла

Гарпун (фиг. 37) употребляется для китового промысла. Сделан он из рогов сохатого (лося. — *Ред.*). Отверстие *в* служит для прикрепления толстого нерпичьего ремня. В гнездо *г* вставляется

каменный острый наконечник *б*. Гнездо *а* служит для вставления деревянной палочки *е*, которая привязывается к гарпуну ремнём *д*. В свою очередь, палочка *е* входит в гнездо *з* жерди длиной около 213 см. Ремень *д* идёт от гарпуна *к* жерди, как показано на рисунке, а затем к байдаре, где привязывается; длина ремня не меньше 128—150 м.

Собранный указанным порядком гарпун бросают в кита и распускают ремень. Когда животное дёрнет, получится следующее: зубец *к* врежется в тело животного, от толчка палочка *е* или выскочит из гнезда *а*, или сломается, самый гарпун, задержанный от вырывания зубом *к*, повернётся в теле животного и станет в перпендикулярное положение по отношению к ремню *д*.

Китобойное копье с каменным наконечником (фиг. 38). Острый конец *а* сделан из камня твёрдой породы. Вставляется он в паз жерди длиной около 213 см, и в таком виде бросается в кита. Самый конец *а*, сделанный из камня, имеет расширенную к низу форму, делается это с той целью, чтобы, если кол выскочит из тела животного, каменный наконечник всё же остался бы там.

Носок (фиг. 39). Носок *а* сделан из железа, имеет форму, указанную на рисунке. Вставляется он в паз *г* длинной жерди *б* и в таком виде бросается в зверя. К носку *а* привязан длинный нерпичий ремень *д*, с помощью которого вытаскивают пойманного на носок зверя на поверхность воды. Этим носком можно ловить нерпу, имеющую прочную толстую шкуру; ларга же вследствие недостаточной прочности шкуры с указанного носка срывается.

Марек (фиг. 40) служит для промысла рыбы. На шесте толщиной 4,4—6,6 см привязывается при помощи ремня *б* железный крючок *а*, хвост которого *д* вставляется в паз шеста *е* и укрепляется в нём ремнем *в*. При ударе в рыбу крючок *а* выскакивает из паза *е*, когда же рыбак потянет за шест обратно, крючок *а* переворачивается в теле рыбы, и последняя оказывается пойманной.

Медвежья доска. Берётся толстая, около трёх дюймов, доска длиной около 70 см, шириной 35 см, в неё набиваются острые прямые гвозди с зубринами, похожими на рыболовный распрямлённый крючок. Попав ногой на острие, медведь вырвать её не может, стараясь освободиться, засаживает остальные.

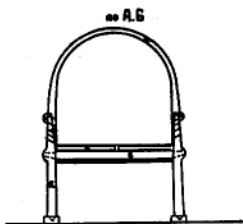
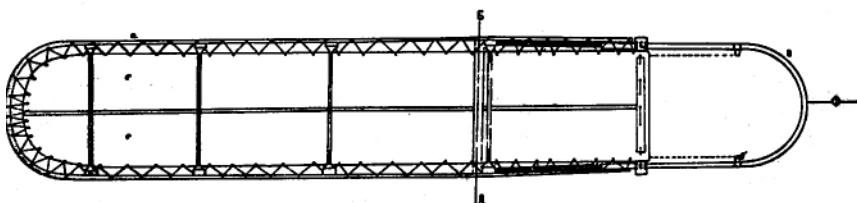
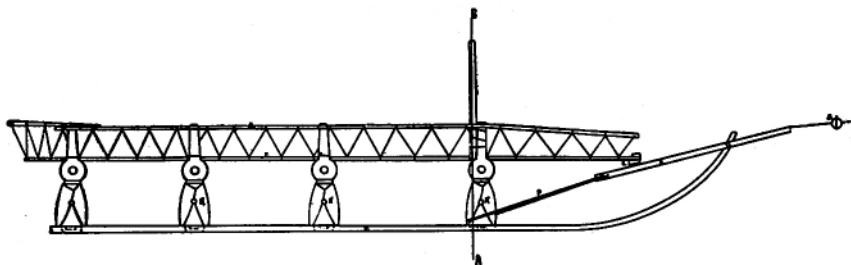
Чалпа (фиг. 41) представляет собою сетяной мешок *е-б-г-д-а-в*, приделанный к деревянной ручке, устройство которого понятно из рисунка. Рыбак держит чалпу за ручку *р* так, чтобы сетяной мешок был открыт, при попадании рыбы переворачивает чалпу и вытаскивает.



Фиг. 23.



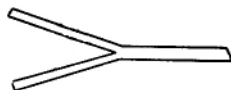
Фиг. 24.



Фиг. 25.



Фиг. 26.



Фиг. 28.



Фиг. 27.



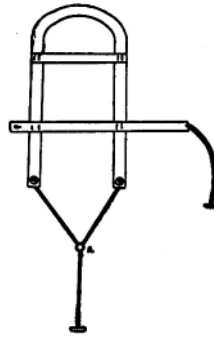
Фиг. 29.



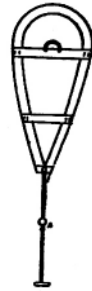
Фиг. 30.



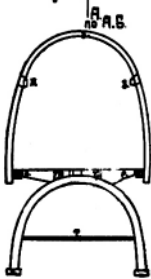
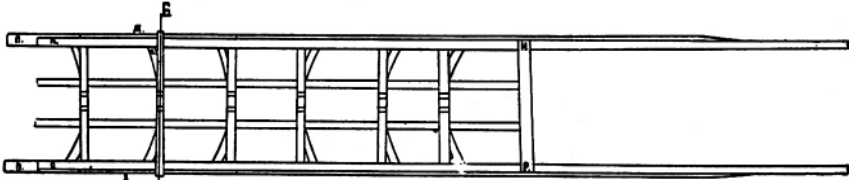
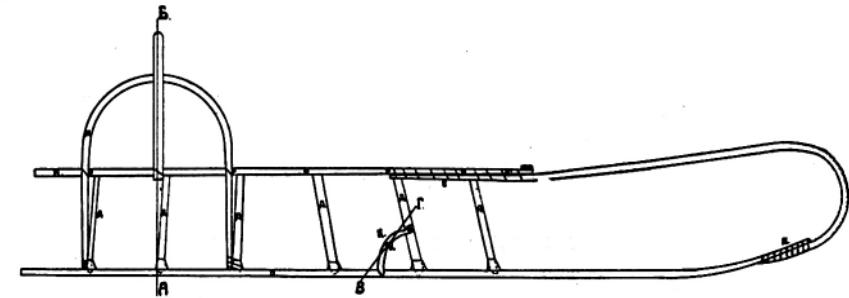
Фиг. 31.



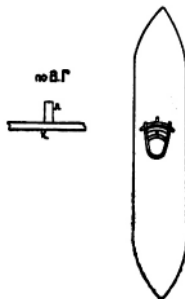
Фиг. 32.



Фиг. 33.



Фиг. 34.



Фиг. 35.



Фиг. 36.

Запор устраивается при помощи сделанных из брёвен и установленных поперек реки угольников, соединённых между собой жердями, на которые наваливается хворост, придавливаемый ко дну реки горизонтальными жердями. В середине запора ставится мережа, сделанная из прутьев или сетки.

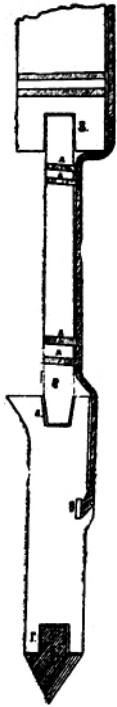
Сети и невода делаются из обыкновенного прядева, конского волоса, крапивы и ларгового ремня. Конский волос для сетей употребляется только белый, так как цветной рыба в воде замечает и обходит сетку. Производством сетей из конского волоса занимаются преимущественно жители селения Пенжино, за поделку сети длиной 21—25 м берут собаку средней доброты.

Нужно затратить массу труда, чтобы сделать сеть из крапивы: прежде всего крапиву нужно растрепать по волокнам, ссучить из волокон нитки и затем сплести сеть. Туземцы считают сети из крапивы прочнее, чем из прядева. Сети из ларгового ремня употребляются исключительно для ловли нерп и ставятся в местах с очень сильным течением.

Промыслы

Нерпичий и ларговый промыслы. У нерпы и ларги есть излюбленные места, куда они заходят во время прилива. С отливом они остаются на камнях, где бьют их палками, костяными молотками или носком. Самыми большими нерпичьими лежбищами является устье реки Таловки. По рассказам жителей, раньше это было очень большое лежбище, теперь стало меньше, так как некоторые жители стреляли там из ружей и распугали всю нерпу. Главное ларговое лежбище расположено в семидесяти пяти километрах южнее Наяхона в устье реки Уйкана.

Весною нерпу и ларгу бьют на плавающих льдинах. Туземцы выезжают в море в байдарках, имея с собой малые байдарки (матов). Увидя с байдары издали нерпу или ларгу на льдине, спускают матов, в него садится человек в белой одежде и начинает подкрадываться к нерпе, подъезжая так, чтобы ветер был от нерпы. Подъехав на близкое расстояние, бьёт её из ружья. Раньше били нерпу носком, тогда на матове человек подкрадывался к льдине, вылезал на неё, бросал носок, привязанный на ремне, сам ложился на льдине и держал ремень. Нерпа соскакивала в воду, к льдине подходила байдара, и нерпу вытаскивали из воды за ремень и убивали ударом костяного молотка по голове. В настоящее время так умеют промысливать нерпу и ларгу только некоторые старики-туземцы.



Фиг. 37.

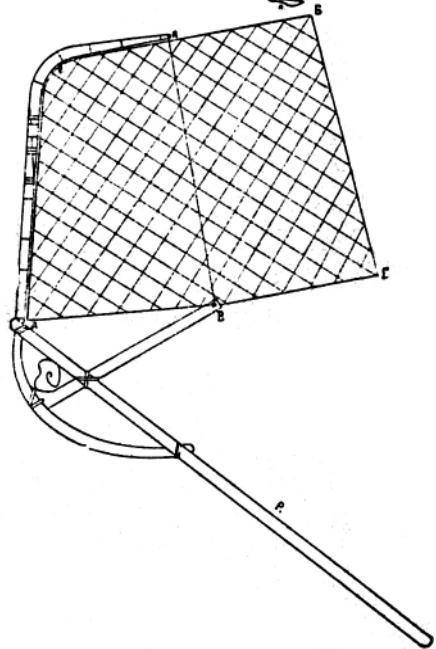


Фиг. 38.



Фиг. 39.

Фиг. 40.



Фиг. 41.

В устьях больших рек нерпу стерегут на мелких местах, где видно, как она идёт в море во время отлива, для чего выезжают несколько батов. Увидев нерпу, гонятся за нею в бате и бросают носок. Когда нерпа поймана, несколько батов соединяются борт о борт между собою и за ремень вытаскивают нерпу из воды и убивают костяным молотком, палкой и т. п. Осенью выезжают за нерпой в море на байдарах, вельботах, лодках и бьют нерпу из ружей в воде, в то время, когда она высовывает голову. Необходимо попасть в нерпу в то время, когда она набрала воздух в себя, так как в таком случае она, будучи убитой, держится некоторое время над водою, к ней можно подойти в лодке и вытащить. Если же нерпу убьют, когда она выпустила из лёгких воздух, она немедленно потонет. По словам знатоков этого промысла, до семидесяти процентов убитых нерп и ларг тонет, прежде чем успеет подойти лодка или байдара. Некоторые бьют ларгу и нерпу прямо с берега из ружья, а затем дожидаются, когда её выбросит из моря. Осенью на берегу моря можно встретить много туземцев, которые ищут нерп, выкидываемых случайно морем. Есть такие удачники, которые за осень находят несколько штук. Найденная нерпа считается собственностью нашедшего.

Нерпу ловят сетями, сделанными из толстого прядева или из тонких нерпичьих или ларговых ремней (последние ставятся в местах с большим течением). Ячейка сети около 35 см. Местами промысел нерпы сетью бывает очень удачным. За год один гижигинский житель поймал 213-метровой сетью около пятидесяти нерп. Многие туземцы имеют небольшие нерпичьи сети, которые во время промысла соединяются вместе. Делёжки добычи между хозяевами отдельной сети не бывает, а зверя берёт тот, в чей кусок сети попала нерпа. Ларгу промыслять сетью нельзя, так как она её прорывает и уходит.

Промысел на акиб (акиба. — млекопитающее отряда ластоногих; то же, что кольчатая нерпа. — *Ред.*). Специального промысла и особенных приёмов на акиб не существует, бьют её теми же приёмами, как нерпу и ларгу, мимоходом во время нерпичьего и ларгового промыслов.

Китовый промысел. Киты встречаются около Тайгоносского полуострова, куда приходят летом стаями по десять-двенадцать штук и держатся в этом месте до двух недель. На промысел выезжают пять-шесть байдар. В кита бросают гарпун, привязанный на ремне в 130—150 м длиною к носу байдары. Испуганное животное начинает быстро ходить кругами, таская за собою байдару.

Остальные байдары стараются как можно скорее подойти к первой и зацепиться за неё ремнем. Постепенно все вышедшие на промысел байдары цепляются друг за друга, и киту приходится таскать на буксире пять-шесть байдар, от тяжести которых он через некоторое время устаёт. В появившегося на поверхности воды кита, захваченного гарпуном и уже достаточно измучившегося буксированием байдар, начинают бросать копыя с каменными наконечниками, стараясь попасть в сердце. Если кит очень свирепеет и не даёт подойти близко байдаре, размахивая хвостом, ему стараются перебить жилы на хвосте теми же копыями. Убитого кита подтаскивают к берегу на том же ремне, к которому привязан гарпун.

При китовом промысле у туземцев есть много суеверий. Туземец, бросивший в кита гарпун, не может бросать в него копыя до тех пор, пока другие, сидящие в байдаре, не попросят его об этом. Туземцы уверены, что охотник, не знающий соответствующего наговора, кита убить не может. Лучшие части кита жертвуются аппапелю. Русское население района охотой на кита не занимается.

Промысел на белуху (белуха — млекопитающее семейства дельфинов подотряда зубатых китов. — *Ред.*). Белуху бьют из ружья в спину с высокого берега, стараясь попасть около головы. Если выстрелить в удачный момент, когда белуха набрала воздух, то она некоторое время не тонет. Охотник, сделав выстрел и убив белуху, немедленно садится в лодку или матов, торопясь к белухе, хватая её на носок и за ремень подтаскивает к берегу. Успеть подъехать к белухе, пока она ещё не утонула, удаётся очень редко. В случае неудачи нужно ждать, пока её вынесет на берег моря, что тоже не всегда бывает. Некоторых море выкидывает очень далеко от места промысла, и они всё равно охотнику не достаются. Бой белухи с лодки очень затруднителен, так как над водою показывается только полоска спины, в которую попасть, принимая во внимание качку лодки, очень трудно, да и ранение получается очень слабое, и зверь уходит.

Отличительной чертой белухи является её пугливость. После первого же выстрела стая белух долго не показывается над водой и уходит далеко, в противоположность нерпе и ларге, которые после выстрела через некоторый промежуток времени и в том же месте выныривают снова. Из общего числа убитых белух охотнику достается не более двадцати процентов. Остальные пропадают, не будучи выкинуты на морской берег.

Соболиный промысел в Апукском районе. Продолжительность промысла по местным условиям незначительная: с 15 октября по 1 января, после чего соболь уходит в скалы, где взять его невозможно вследствие больших сугробов снега и обвалов. Короткое время промысла спасает соболя от окончательного истребления. Местные старожилы говорят, что количество соболя не убывает. В среднем ежегодно промышляется от пятидесяти до семидесяти пяти соболей. Самый промысел производится капканами, переногой и при помощи специально обученных собак.

Капканы ставят в местах, наиболее любимых соболем, где есть его следы; кладётся для приманки убитая куропатка, юкола, кусок мяса и другое. Этим способом промышляется незначительное количество соболей.

Охотник, увидав след соболя, идёт по нему. Наиболее опытные охотники, зная повадки соболя, непосредственно по снегу не идут, так как соболь делает большие зигзаги и круги, а режут закругления напрямик, откуда и происходит название этого способа «переноса». Наконец охотник доходит до места, где след пропадает. Это значит, что соболь ушёл в нору, спрятался между кустами, кореньями, камнями или сидит на дереве. Если соболь ушёл в нору, то, отыскав выходы, затыкают их все, кроме одного, где ставят капкан; после установки тыкают в нору палкой, стараясь не задеть соболя, отходят в сторону и ждут, не шевелясь, появления зверя. Соболь настолько любопытен, что по происшествии минут десяти выходит посмотреть, в чём дело. Если он не попадает в капкан, то его бьют из дробового ружья в голову. Если соболь, выйдя из норы, заметит малейшее движение охотника и последний не успеет дать выстрел или промахнётся, то соболь, уйдя в нору, может просидеть в ней несколько суток.

Если соболь спрятался в кустах, то охотник, держа в одной руке ружьё, другою при помощи длинной палки обшаривает кусты и тем выгоняет его с того места, где он притаился; выгнав, бьёт его из дробового ружья. Охота с собакой производится так же, как переноса. Дойдя до норы, в которую спрятался соболь, охотник, раздражив зверя, тыкая палкой в нору, отходит недалеко от норы и ждёт, держа собаку за ошейник. Когда покажется зверь, собаку спускают, и она хватается зверя. Собаки настолько выдрессированы, что никогда не схватят зверя так, чтобы порвать шкуру, а давят его за горло.

Пойманного в капкан живого соболя никогда не убивают ударами, боясь испортить шкуру. Обычно его душат руками, для

чего ловят за шею левой рукой, правой берут за рот и нос, затем обе руки зажимают между ногами. Для окончательного задушения соболя таким образом требуется десять-пятнадцать минут.

Промысел на лисицу и песца. Промысел производится капканами, пастями, самострелами, ружьём и при помощи собак. Лисица имеет очень острое обоняние, чует запах железа поставленного капкана; многие охотники для уничтожения этого запаха вываривают капканы в растворе кедровника, некоторые обмораживают их тонким слоем льда.

Капканы ставятся на лисьей тропе, причём один капкан ставить нецелесообразно, так как, несмотря на принятые меры, запах железа всё же остаётся, и лисица боится его. Когда стоит несколько капканов, лисица привыкает к запаху и идёт на приманку, которая кладётся в непосредственной близости к капкану с таким расчётом, чтобы, отрывая её ногами, лисица попала в капкан. Самая приманка-рыба примораживается для того, чтобы лисице пришлось дольше возиться с нею, прежде чем съесть, больше рыть снег ногами, доставая её, чем создается большее вероятие попадания ноги лисицы в капкан. Никогда капкан не ставится открытым, его непременно маскируют снегом. На лисью тропу охотник ногой не становится. Некоторые охотники с лета зарывают в глубокие ямы юколу, зимой лисица её найдёт, разроет яму и повадится ходить за рыбой, тогда охотник ставит капканы и ловит лисицу.

Пасти ставят в местах, где во время пурги меньше забивало бы их снегом, главным образом, ставятся они на возвышенностях. Для приманки кладётся рыба. Нитка от насторожки самострела перетягивается через лисью тропу; приманка-рыба примораживается в непосредственной близости, с расчётом, чтобы лисица, откапывая приманку, дёрнула ногой за нитку.

Для охоты на лисицу главным образом применяется винчестер с неразрывными стальными пулями, чем достигается наименьшая порча шкуры. Самая охота производится так называемой «переногой», то есть охотник идёт по следу, срезая закругления следа по прямой линии для уменьшения пути. Спугнув лисицу, охотник стреляет, стараясь попасть в голову. Лисица редко подпускает охотника на близкое расстояние, для того, чтобы её убить, нужно быть хорошим стрелком.

У тунгусов очень распространена охота на лисиц с собаками, специально выученными для этой цели. Увидя свежий след, охотник пускает по нему собаку и сам спокойно идёт сзади по тому же следу. Собака или догоняет лисицу и душит её, или загоняет

в нору и не выпускает оттуда до прихода охотника. Собака не всегда может поймать лисицу, эта охота возможна только при неглубоком рыхлом снеге или же при мокром снеге. При этих условиях собака имеет большее преимущество перед лисицей, благодаря своей силе. Лисица, проваливаясь в снегу, скорее устает, чем собака, кроме того, лисица волочит по снегу хвост, на который набивается снег, хвост становится тяжёлым и затрудняет бег лисицы. Если собака догнала лисицу, она берёт её за горло, никогда не портит шкурку. Задушив лисицу, ждёт на месте хозяина.

Если охотнику каким-либо способом удастся застать лисицу в норе, то достают её оттуда разными приёмами. Как я уже говорил, ставятся капканы, некоторые охотники разрывают нору, докопавшись до лисицы, или бьют её из ружья, или травят собакой. Только тунгусы применяют способ выкуривания дымом лисицы из норы, для чего все выходы из норы, кроме двух, заваливаются; в выходе, находящемся с подветренной стороны, раскладывается костёр, ветер гонит дым в нору, лисица, убегая от дыма, выскакивает в другой выход, где её подстерегает охотник с ружьём или собакой и приканчивает. Приёмы промысла на песца, сиводушку, чернобурую лисицу — те же, что и на красную лисицу. Наиболее распространённая приманка — это голова рыбы.

Промысел на горностаю. Горностаю промышляют капканами и чирканами. Приёмы промысла тем и другим совершенно одинаковы. Ставят капканы и чирканы у нор, на горностаевых тропках. Приманка кладётся с таким расчётом, чтобы, доставая её, горностаю влез в капкан или чиркан.

Промысел на медведя. Охотников, специализировавшихся на этом промысле, в описываемом районе нет. Большинство туземцев питает суеверный страх к медведю; не лишено этого страха и русское население. Промысел бывает интенсивным только в голодные годы, когда занимаются им, главным образом, тунгусы, интересуясь не столько шкурой, сколько мясом. Из приёмов промысла можно указать следующие: осенью подстерегают медведя у рек и, главным образом, у мелких проток и озёр, образовавшихся от понижения уровня воды, и в которых осталась рыба. Сюда медведь приходит по ночам ловить рыбу, причём отмечается, что он ходит в одно и то же место в течение сравнительно продолжительного времени. Здесь его подстерегают охотники и бьют из ружья.

Медведей иногда подстерегают у ям с кислой рыбой, расположенных далеко от селений, куда иногда медведь приходит поздней осенью, когда в протоках и озёрах трудно ему добыть рыбу.

Заметив, что яма с кислой рыбой разрыта, часть рыбы съедена и есть следы медведя, охотник знает, что медведь ещё раз придёт сюда, подстерегает его и бьёт из ружья.

Весною, в конце апреля и в мае, медведь выходит из берлоги. Увидев след медведя, охотник едет по следу на собаках, увидав медведя, запутывает собак около дерева или куста и идёт бить медведя из ружья; иногда бьют прямо с нарты, во время движения последней. Наиболее надежными ружьями для охоты на медведей считаются винчестер и берданы военного образца.

Есть у некоторых туземцев оригинальный, чисто местный приём охоты на медведя. Заметив места, излюбленные медведем, куда он чаще всего ходит, туземцы вешают на деревьях петли из крепкого нерпичьего ремня. Около петли на ремне вешают бревно. Медведь, попав головой в петлю, начинает вырываться, затягивает петлю, отталкивает мешающее ему бревно, которое, возвращаясь, бьёт его, расвирепешшее животное вновь его отталкивает и опять получает удар бревном. Начинается яростная борьба зверя с бревном, которая отвлекает его от петли, и он забывает, что может перегрызть ремень. Наконец, медведь, попавший в петлю, задыхается. Шкура упромышленных таким способом медведей имеет дефект: на шее шерсть бывает вытерта петлёй.

В настоящее время редко встречаются охотники, которые медведя промышляют при помощи доски с острями. Медведь, попав на эту доску одной ногой, другую старается её сбросить, засаживает вторую ногу и т. д. Наконец все четыре ноги на доске, и медведь лёжа ждёт охотника, который, придя, убивает зверя. Доски ставятся на медвежьих тропах.

Промысел на волка. Специалистов-охотников на волка в описываемом районе не существует. Бьют кочующие туземцы во время нападения волков на табуны оленей. У кого есть стрихнин, те травят им волков, причём приёмы травли самые примитивные. В большинстве случаев начинают стрихнином тушу убитого оленя. Особых приёмов промысла не существует.

Промысел на белку. Бьют белку исключительно из ружья. Наиболее распространены кремневые ружья мелкого калибра. За последнее время стали появляться монтекристо 22-го калибра. Ищут белку со специально выученной собакой, которая, почуяв белку, начинает на неё лаять, чем даёт знать охотнику о месте нахождения белки.

Промысел на росомуху. Росомуху промышляют капканами и пастями так же, как и лисицу. Капканы ставятся на тропах

росомах, пасти — на возвышенных местах. Бьют росомаху из ружья; находят её, идя по следу. Промысел на росомаху вследствие небольшого её количества носит случайный характер. Большая часть промышленных росомах попадает в капканы и пасти, поставленные на другого зверя.

Промысел на выдру. Выдру промышляют капканами и из ружья. Капканы ставятся на тропах, которые выдра делает, выходя гулять из воды. Некоторые охотники ставят капканы в воде в полыньях, из которых выдра вылезает на сушу. Отмечаются случаи поимки выдры на капканы, поставленные в мережах, куда она лазит за рыбой. Выдру бьют из ружья, подстерегая её у полыни реки, откуда она обычно выходит и где имеются её следы.

Промысел на зайца. Зайцев ловят капканами, пастями, петлями и бьют из ружья. Капканы и петли ставятся на заячьих тропах. Отмечается, что зайцы очень осторожны по отношению к капкану и редко попадают в него; объясняется это, пожалуй, также и устройством ног зайца. Удачнее всего его ловить пастями, которые делаются меньшего размера, чем на лисицу и других крупных зверей. Бьют зайца из ружья, выслеживая его по тропе. Специально обученных собак для охоты на зайца не имеется. Этим промыслом население не интересуется из-за малой стоимости зайца.

В районе селения Апука годами бывает настолько много зайцев, что их ловят, загоняя в расставленные сети. Сеть ставится в форме квадрата с одной открытой стороной в местах, где имеется наибольшее количество заячьих троп, а затем по этим тропам идут с шумом люди и загоняют. Наблюдать вышеуказанные способы промысла мне не пришлось вследствие того, что в этом году в районе селения Апука было мало зайцев и указанным способом промысла не производилось.

Промысел на птицу. Туземцы промыслом на птиц почти не занимаются. Русское население бьёт гусей и уток из ружей на перелёте. Туземцы подстерегают гусей, сидя в сделанных специально загородках из жердей, и бьют в сидячих. Куропаток бьют из ружья. Некоторые туземцы ловят их петлями, сделанными из кожи рыбы, с которой очищается чешуя. Отъехав километров на пятьдесят от любого селения, встречаешь массу куропаток, которые почти не боятся людей и подпускают к себе на расстояние до десяти-пятнадцати шагов.

Рыбный промысел. Основным средством для существования всего оседлого населения описываемого района является рыбный промысел. Наиболее распространённые породы рыб — это кета,

горбуша, чавыча, харитоны, мальма, гольцы и сельди (название некоторых пород рыб местное). Кета и горбуша главным образом ловятся в реках при помощи неводов и, как исключение, сетями; в море — только сетями.

Невод обычно закидывают, делают по воде круг, держа один конец невода на месте и не протаскивая его обоими концами по воде, вытаскивают.

В большинстве случаев ставятся сетки: один конец к поплавку, другой к колу, вбитому у самого берега. Оба конца сети наглухо привязаны. Чтобы достать рыбу из сети, нужно выезжать в лодке, постепенно продвигаясь, осматривать сеть, вытаскивая её нижний конец в лодку. Очень редко встречается другой, более удобный способ постановки сетей: один конец сети привязан к береговому колу, к другому привязана длинная верёвка, пропущенная в блок, прикрепленный к поплавку. Постановка и снятие установленной таким образом сети очень легка и удобна, производится прямо с берега и без помощи лодки. Сеть просто спускают с берега и натягивают за верёвку, продетую в блок, снимая, тянут сеть к берегу, постепенно травя верёвку.

Харитонов и мальму ловят, главным образом, волосяными сетями. В некоторых местах устраивают запоры. Ставят их в узких протоках и так называемых «горлах», соединяющих озёра с реками. Запоры устраивают также зимой, делая для этого проруби.

Довольно значительное распространение имеет способ ловли рыбы при помощи марека. При прозрачной воде ловить рыбу мареком очень удобно и легко. Для этого рыбак отъезжает от берега на бате и наблюдает идущую рыбу. Увидав, бьёт мареком. При соответствующем навыке и хорошем ходе рыбы таким способом можно поймать до трёхсот-четырёхсот штук в день.

В селении Каменном, кроме обычного приёма ловли рыбы сетями и неводами, распространён способ лова чалпой. В начале зимы и весной наблюдается ловля рыбы в прорубях крючком; при удаче рыбак может поймать на удочку около двухсот штук харитонов или мальмы. Чавыча попадает как исключение, ловят её также, как и кету.

Разделка рыбы для приготовления юколы производится разными способами. Некоторые туземцы считают «грехом» заготавливать юколу с головой и отрезать голову ножом. Они просто отрезают её руками. Сперва вырезается у рыбы пупок и вынимается икра, затем вырезается кость с частью мяса. Собственно юколой называются бока рыбы вместе с хвостом, просушенные на солнце.

Сушка всех частей рыбы производится отдельно. Голову распластывают и нанизывают на прутья, кости и пупки развешивают при помощи травы, юкола просто перекидывается через жердь. Икра сушится различно, некоторые просто складывают её на жерди, некоторые вплетают куски икры в пучки травы в виде косы, складывают в деревянные сосуды, у кого есть старые обрывки сетей, те наполняют обрывки икрой и подвешивают.

Другой способ разделки мало отличается от первого. Разница в том, что голова не отрывается, а вырезается ножом только передняя часть её, остаток головы сушится вместе с юколой. Для собственной пищи юкола готовится тонким слоем мяса, что гарантирует хорошую просушку.

Из горбуши готовят так называемую костянку, то есть её разрезают пополам и в таком виде вешают для просушки. Селёдки сушатся без разрезания, их вплетают хвостами в траву, которая имеет вид косы. Приготовление так называемого «кислого» собачьего корма очень примитивно: пойманную рыбу складывают в ямы и сверху закидывают брёвнами и засыпают землей.

Рыбу, упромышленную после наступления морозов (харитон и мальма), замораживают и в таком виде хранят.

Гольцы складываются исключительно в кислые ямы.

Туземцы рыбу не солят. Камчадалы засаливают в небольшом количестве, причём засолка производится без костей, пупки засаливаются отдельно. Редко можно встретить хозяина, который засаливает икру, в большинстве случаев её или сушат, или выбрасывают собакам.

Кузнечно-слесарное ремесло

У коряков нет разделения на кузнецов и слесарей. Обе эти специальности обычно знает один человек, кроме того, он ещё изготавливает и деревянные части сделанных или починённых им железных предметов.

Приёмы обделки металла до бесконечности примитивны. Техника работы мало сходна с работой на материке. Кузницы устраиваются в земле. Опускается в яму сруб, похожий на колодец, торчащий из земли вершков на десять-двенадцать, на нём делается двускатная крыша, в которой имеется квадратное отверстие, служащее дверью и окном, в него же выходит дым от горна. Высота помещения не более 180 см, площадь около шести с половиной квадратных метров. Никаких верстаков в кузнице нет. Огонь

раскладывается непосредственно на земле, раздувается мехом, похожим на обычный кузнечный мех, бока которого сделаны из ровдуги. Наковальни обыкновенного типа, фабричные и самодельные. Ставятся они не так, как на материке, на вертикальный обрубок толстого бревна, а вделаны в бревно, положенное горизонтально.

Вся работа производится сидя на земле. Кузнец обычно работает вместе с мальчиком лет десяти-двенадцати, на обязанности которого лежит поддержание огня и приведение в движение кузнечного меха. Уголь для кузницы употребляется древесный, кедровый, который выжигается прямо на костре самим же кузнецом в ближайшем кедровнике. Инструмент в большинстве самодельный: небольшие кузнечные щипцы, прямые, не фигурные, кузнечное зубило, самодельные развёртки, насаженные на деревянную ручку, часто встречаются самодельные напильники, плоские и трёхгранные, самодельные свёрла и к ним примитивные станки. Сверло укреплено квадратом к деревянной ручке, круглая верхушка которой вставлена в круглую же дырку несколько большего диаметра верхнего куска дерева.

Работа производится следующим образом: левою рукою держат за верхнюю часть ручки и нажимают на сверло; правой рукою дергают взад и вперед лучок, который при помощи ремня, охватывающего ручку, вращает её. Работа подобным инструментом очень кропотлива, и нужно иметь большую сноровку, чтобы правильно высверлить дырку. Туземцы с этим делом прекрасно справляются.

Пилы, ножовки по металлу — тоже самодельные, материалом для поделки которых служат старые косы-литовки. Для нарезки резьбы у некоторых имеются винтовальные доски, метчики, плашки. У некоторых есть кузнечные тиски, пользуются которыми исключительно при поделке мелких работ, когда обделываемый предмет нельзя удержать в руках без помощи тисков. Отвёртки самодельные. Фабричных точильных камней почти не встречается, обычно — самоделки. Точильный камень добывается около мыса Мамеча, в Пенжинской губе. Камень обделывается круглым, надевается на железный стержень с изогнутой ручкой и вставляется в выдолбленное из дерева корыто, в которое наливается вода. Таких правильно сделанных точил встречается очень мало, обычно точат инструмент на плоском точильном камне, при точке мочат его слюной.

Всякая работа делается сидя на земле. Мне пришлось наблюдать обделку выкованного охотничьего ножа. Мастер зажал между

ногами кусок доски, взял в левую руку ножик, прижав его остриём к доске, и правой рукой при помощи самодельного напильника начал его обрабатывать. Приятно было смотреть, насколько правильно и ровно он работал напильником и как хорошо обработал нож.

Вообще нужно сказать, что между туземцами есть много очень хороших мастеров. Они могут делать любые части оружия и другие мелкие работы. Закалка стали очень хороша; ножи местной работы охотнее покупаются, чем привозные. Мне пришлось видеть разбитое фарфоровое блюдечко, отдельные кусочки которого были соединены и стянуты между собой кусочками жести, причём самые кусочки жести были так расположены, что получался буквально художественный рисунок очень тонкой работы.

Плотнично-столярное ремесло

Основными инструментами являются пила, часто самодельная, сделанная из косы-литовки, имеющей форму обыкновенной лучковой пилы, топор и нож. Редко кто из туземцев употребляет и умеет обращаться с рубанками. Коловороты тоже самодельные, такой же системы, как сверлильный станок, описанный в предыдущей главе. Только за последнее время начинают появляться самодельные долота и стамески. Есть так называемые гатлы и тёслы, служащие: первые — для обтёски дерева, вторые — для выдалбливания батов и разной деревянной домашней посуды. Устройство этих инструментов одинаково.

Никаких верстаков и других приспособлений для обделки дерева у туземцев нет; обычно вещь держат одной рукой, а другой работают. Мне пришлось наблюдать, как туземец пилил довольно толстую жердь: он сел на землю, положил на ноги жердь, держал её одной рукой, а другой пилил.

Обделываемую ножом вещь или держат в руках на весу, или один конец упирают в землю, другой держат левой рукой, правой обделывают; работа получается очень чистая и не уступает таковой на материке, сделанной при помощи всевозможных инструментов.

Выделка мехов и пошивка рухляди

Наиболее распространённый способ выделки мехов следующий: предназначенные к выделке выпоротки, пыжики и олени постели за неделю-полторы до выделки кладут на пол в поlogах для

того, чтобы размять их ногами. Затем мездру шкуры мочат раствором варёного кедровника вместе с оленьим помётом; смоченная шкура лежит одни-двое суток, после чего её кладут на доску и начинают скоблить так называемым аутом — палкой, посередине которой вставлен круглый кусок листового толстого железа или полукруглый плоский камень. Мездру выделанной шкуры варят в растворе варёного ольховника для того, чтобы шкура не боялась сырости. Если шкура жирная, то жир выводится золою, для чего шкуру намазывают золой, часа через два очищают её аутом, вновь намазывают, опять счищают, продолжая это до тех пор, пока шкура не обезжирится.

Для пошивки летней одежды туземцы употребляют ровдугу и дымленину — то и другое выделяется из оленьих шкур. Для ровдуги берут осенние олени постели, чтобы в них не было так называемых свищей, то есть небольших дырок, проделанных личинками, положенными в летние месяцы слепнями под шкуру оленя. Для выделки оленью шкуру мочат в течение двух-трёх дней, после чего сдирают аутом всю шерсть, легко отстающую после соответствующей вымочки; после этого шкуру выскабливают аутом. Выделанная шкура имеет свойства замши, но более груба.

Существует несколько способов приготовления дымленины. Наиболее простой — это когда берут старую оленью шкуру с юрты, служившую уже год и продымившуюся постоянным дымом в юрте от костра; эту шкуру мочат, а затем выщипывают с неё шерсть.

Второй способ — берут оленью шкуру новую, мочат её в течение нескольких дней, затем выщипывают шерсть и растягивают на потолке юрты, где она в течение нескольких недель коптится.

Третий способ более сложный, но зато и сама дымленина лучше. Шкуру мочат, выдергивают шерсть, затем кипятят её в растворе ольховника, пыли от точильного камня, и, кроме того, в котёл, где происходит кипячение, кладут кусок ржавого железа. Проварив шкуру, её натирают пылью точильного камня и в таком виде в течение нескольких недель дымят, растянув под толком юрты.

Дымленина значительно меньше промокает в воде и не так скоро изнашивается, как обыкновенная ровдуга. Наименее промокаемая — это приготовленная третьим способом.

Выделка шкур нерпы и ларги ещё более проста: их просто вымачивают, а затем выскабливают.

Выделкой пушнины туземцы почти не занимаются, многие даже не умеют её выделывать.

Для сшивания мехов туземцы никогда не употребляют обыкновенных ниток, а делают это исключительно нитками, приготовленными из оленьих жил, которые сушат, разбивают молотком, разбирают на отдельные волокна, а затем уже сучат нитки.

Вырезка разных рисунков, квадратиков, угольников для вышивки упованов в большинстве случаев делается на глаз, и нужно отдать справедливость, что глазомер у них развит поразительно. Без всякого вымеривания они очень быстро вырезают правильные однотипные рисунки. Эта работа идёт очень быстро: хороший со сложным рисунком упован женщина может сделать в течение трёх-четырёх дней.

На пошивку кухлянки требуется не более двух-трёх дней. Выделка тоже производится очень быстро: за день женщина может выделать три-четыре выпоротка или два-три пыжика, несмотря на примитивность способа выделки.

Мужчины никогда не занимаются ни выделкой мехов, ни пошивкой рухляди, считая это для себя занятием непристойным.